
9С1
П487

М. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

В САМОМ СЖАТОМ ОЧЕРКЕ

ЧАСТЬ III

XX-й ВЕК

ВЫПУСК I-й

1896—1906

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ“
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ ◇ МОСКВА ◇ 1923

(76—150 тысячъ)

Главлит. № 14605.

„Мосполиграф"—20 типография „Красный Пролетарий", Пименовская ул,. д. 1|16.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Третья часть «Русской истории в самом сжатом очерке» так разрослась, что ее приходится разделить на несколько выпусков. Первый, выпускаемый теперь, охватывает период с конца XIX в. до лета 1906 года—разгона первой государственной думы.

Этот момент представляется автору некоторым естественным рубежом не потому, конечно, чтобы он придавал думе какое-нибудь особенное значение. Вовсе нет, как увидят прочитавшие соответствующую главу. Но вскоре после разгона первой думы явственно сходит на-нет массовое движение, ради которого только и можно говорить о «революции 1905 года». Вторая дума настроена была, конечно, революционнее первой, но, поскольку вторая дума не опиралась на массовое движение, ее революционная значительность была обратно пропорциональна революционности ее настроения. Революция, в сущности, уже кончилась за 8 месяцев до открытия ее заседаний.

Огромные недостатки выпускаемой теперь работы автор сознает не менее любого из своих будущих критиков. Как раз теперь, когда только начинается опубликование гигантского сырого материала по этой эпохе, может быть, всего менее удобно «подводить итоги». В противоположность первым двум частям «Сжатого очерка», перепечатывающимся без изменений (если не считать новых опечаток), третью часть придется, вероятно, перерабатывать для каждого нового издания. Но когда-нибудь и кому-нибудь начать было нужно. Люди уже начинают «учиться» по макулатуре, выпускав-

шейся в 1917 году по случаю низвержения Николая Романова. Это—очень плохая книжка, говорю безо всякой ложной скромности, но это все-таки, не макулатура, а зачаток научного курса.

Дальнейшие шаги по пути создания научной истории великой русской революции мыслимы, конечно, только, как коллективная работа. Я очень рад констатировать, что и в этом отношении моя книжка является «зачатком». В целом ряде случаев она опирается на коллективный труд, работы семинария по русской истории Института Красной Профессуры В частности, здесь использованы доклады тт. Гусева Дубровского, Слепкова и Томсинского. Читатель найдет их в [illegible]ме «Трудов» Института—томе, который когда-нибудь все-таки выйдет в свет, быть может, даже ранее появления этой книжки.

Два слова по поводу плана. Я не имел в виду дать полного описания этого периода, ни хроники первой русской революции. Моей задачей было объяснить процесс в целом. Вот почему масса деталей, которые по своей значительности вполне имели бы право не быть забытыми даже на страницах «сжатого очерка» (но построенного по типу хроники) здесь опущены. для понимания процесса, они ничего нового не давали. Тем не менее, имея в виду, что для некоторых читателей эта книжка может оказаться единственным источником познания по данной эпохе, я присоединяю главу хроникообразного характера о движении окраин, а также хронологический перечень событий 1896—1906 гг., без сопоставления их, однако, с западной историей, как это было сделано для первых двух частей. Здесь (кроме области внешней политики) такое сопоставление ничего не дало бы.

М. П.

25/VIII—1923.

ВВЕДЕНИЕ.

Последний период русской истории, который нам осталось изучить (1897—1922), весь занят подготовкой и ближайшими последствиями одного громадного события—Великой Русской революции. Мы называем ее коротко «Октябрьской революцией», по ее поворотному пункту, свержению правительства Керенского, пришедшемуся на 25 октября по старому стилю 1917 года. Но все предшествующее готовило Октябрь—а все последующее было защитой завоеваний Октября, и эта защита далеко, конечно, не кончена даже теперь. Если бы мы это забыли, одного такого факта, как убийство тов. Воровского, было бы достаточно, чтобы нам это напомнить. Тов. Ленин всегда считал эту защиту труднее самого завоевания. «Если русское самодержавие не сумеет вывернуться», писал он в марте 1905 года, «если оно будет не только поколеблено, а действительно свергнуто, тогда, очевидно, потребуется гигантское напряжение революционной энергии всех передовых классов, чтобы отстоять это завоевание». Именно для этого тов. Ленин и настаивал уже в 1905 году на революционной диктатуре пролетариата и крестьянства, именно для этого эта диктатура и казалась ему необходимой. И только решительная победа пролетариата в Западной Европе могла бы поставить вопрос о конце этой диктатуры—могла бы поставить точку к истории русской Октябрьской революции.

В противоположность первым двум частям «Сжатого очерка», где мы занимались бесповоротно прошлым, теперь нам приходится, таким образом, объяснять себе настоящее. Это имеет свои выгоды и невыгоды. Выгода состоит в том, что

здесь меньше придется рассказывать и объяснять чисто внешние факты. Особенно не приходится рассказывать про самое Октябрьскую революцию—это нужно в учебниках для детей, а в книжке для взрослых смело можно предполагать, что не один читатель и сам видел события собственными глазами. Сжатый, коротенький рассказ ничего ему не даст. Многие, конечно, помнят и империалистскую войну 1914—1918 гг. Фактическую сторону первой схватки пролетариата с самодержавием, в 1905 году, пришлось бы, пожалуй, напоминать, но тут есть такая превосходная книжка, как «1905 год» тов Троцкого. После нее рассказывать об этом годе все равно, что «нести сов в Афины», по древне-греческой поговорке [1]), то-есть делать дело совершенно излишнее.

Но объяснять все эти события дело далеко неизлишнее, даже и после книги тов. Троцкого, ибо не со всеми его объяснениями можно согласиться. И тут начинаются невыгоды и трудности нашего с читателем положения. Легко объяснять событие совершенно законченное, и начало и конец которого лежат перед нами,—тогда все понятно. Но когда пишешь посередине события, то поневоле движешься вместе с ним. И как при перевале через горы с каждого нового поворота дороги открывается новый вид, так и тут—новые, нарастающие подробности события наталкивают на новые точки зрения, которые раньше и в голову не приходили Откровенно признаюсь читателю: это введение к 3-ей части «Очерка» я уже написал однажды, в ноябре 1920 года,—и никуда оно теперь не годится. Пришлось все выбросить; в дальнейшем я воспользуюсь только кое-каким фактическим материалом из написанного тогда. И это вовсе не потому, что я сам «переменил вехи». То, что я думал тогда, я думаю и теперь, но то, что казалось мне тогда самым главным, теперь ясно—не самое главное. Придется то же слово, да не так же молвить, и прибавить, к тому же, много новых слов, тогда не приходивших в голову или казавшихся ненужными.

---

[1]) Сова была священной птицей богини Афины, покровительницы города, а потому была чем-то в роде гербовой афинской птицы, как у нас в царское время орел, оттого изображение совы можно было встретить в Афинах на каждом шагу.

Вот отчего истории революций, написанные их свидетелями и участниками, имеют, обыкновенно, цену воспоминаний, или же являются публицистическими произведениями, где автор, иногда из-за гроба, доканчивает споры со своими политическими противниками. Мы, марксисты, поставлены, впрочем, при этом в более выгодное положение, чем наши буржуазные предшественники: у нас есть то, чего у них не было, есть метод, есть ключ к объяснению всяких событий, случились ли они вчера или три тысячи лет назад. Среди нас, если и возможен спор, то только о правильности применения этого метода. Такие споры возможны, конечно, и по поводу объяснений, которые читатель дальше найдет в этой книжке. Но поле нашего спора будет уже тесно очерчено требованиями марксистского метода. И читателю придется считаться, главным образом, с тем, что незаконченному событию не может быть дано законченного изображения. Новые повороты нашей исторической дороги могут выдвинуть новые стороны «Октября», которых мы не замечали раньше, и отодвинуть в тень то, что вчера нам казалось самым главным.

При всех этих поворотах не изменится, конечно, одно: на какую точку зрения ни встань, Октябрь всегда останется великой русской революцией. Что это значит? Льстивый титул, какие в старину давали царям: Петр «Великий», Екатерина «Великая»? Нет, на этот раз в слово «великий» можно вложить определенный смысл. Революции кончаются либо низвержением старого порядка, либо его уступками тем, кто требует нового: старое от нового откупается. Когда наши буржуазные противники имели перед собою революцию 1905 года в будущем и видели ее неизбежность, они молили своего бога об одном: чтобы это была революция второго из описанных сейчас типов, а не первого. Для ясности они приводили даже цифры: пусть это будет 1848 год, говорили они, а не 1789-й. Вот эти две цифры и дают хороший случай объяснить, в чем разница между «великими» и «невеликими» революциями.

Когда говорят о 1848 годе, то имеют в виду обыкновенно не неудачную рабочую революцию во Франции, больше похожую именно на наш 1905 год, а так называемые «бур-

жуазные» революции в Пруссии и Австрии. Что такое «буржуазная» и «небуржуазная» революция, об этом мы поговорим дальше, а теперь по поводу «1848 г.» и «1789 г.». В Австрии и Пруссии в 1848 году правительства не были свергнуты, в Австрии правительство только сбежало на некоторое время, а потом скоро вернулось, в Пруссии не было и этого. Революции кончились там тем, что правительства вынуждены были дать конституцию (в Австрии скоро взятую обратно и восстановленную только через 20 лет), т.-е. предоставить известную долю участия в управлении буржуазии и зажиточной интеллигенции—вообще, имущим классам. Рабочие и крестьяне, которые, конечно, и делали самую революцию, получили самую ничтожную долю участия в решении государственных дел, больше на бумаге, чем в действительности. Это русским «либералам» 1905 года и казалось самым желательным.

При этом «основы» прежнего порядка—монархия, сословия, дворянство, бюрократическое, чиновничье управление, остались неприкосновенными. Революция пошатнула власть, но не повалила ее. Наоборот, во Франции в 1789 году началась революция, повалившая старую власть на землю. Уже в этом году король, в сущности делал то, чего от него требовало буржуазное Национальное собрание. Дальнейшая борьба велась больше против крупной буржуазии и присоединившихся к ней остатков дворянства и духовенства (большая часть дворянства сбежала за границу). В течение этой борьбы королевская власть и формально была свергнута (10 августа 1792), во Франции была провозглашена республика, скоро превратившаяся в демократическую (конституция 1793 года), в господство городской мелкой буржуазии и крестьянства.

При этом верхние этажи «старого порядка» были сметены начисто. С королевской властью исчезли и сословия, и старая бюрократия; попы прятались по подвалам—в этом последнем отношении Французская революция пошла дальше нашей. Она вообще с внешней стороны работала как-будто чище, в ней было больше резких внешних перемен, больше театральничанья. Мы, например, считаем года по старому—французы великой революции ввели новое летоисчисление,

со дня провозглашения республики, дали новые названия месяцам и дням недели и т. д. Но то были перемены, повторяю, внешние. Сметя верхние слои старой грязи, французская революция не тронула самого плотного, нижнего: частная собственность на землю и орудия производства осталась неприкосновенной. Большая часть дворянских земель и все земли церковные были конфискованы, но не в порядке общего закона, а по каким-нибудь частным поводам: дворянские земли, например, конфисковывались в наказание за эмиграцию их владельцев. Земли эти не были разделены между трудящимися, а проданы новой буржуазии, созданной революцией, которая перепродавала их крестьянам за огромную цену. Условия труда не только не улучшились, благодаря революции, а даже ухудшились: запрещены были, например, стачки, в то время, как фабриканты остались на месте со всеми их правами, фабрики не были национализированы.

Трудящиеся, главным образом, ремесленники и крестьяне, рабочие не выступали, как отдельный класс,—захватив власть в свои руки, не решились ее использовать до конца. Руководившая ими буржуазная интеллигенция—нечто в роде наших «левых эсеров»—только разговаривала о «земельном законе», больше, чтобы напугать буржуазию, но на самом деле чувствовала суеверный страх перед «священной собственностью». В результате диктатура трудящихся была во Франции крайне непродолжительна: они окончательно стали у власти в начале июня 1793 года, а 27 июля следующего 1794 года (по революционному календарю 9 термидора [1]) их вождь Робеспьер был свергнут и казнен буржуазными партиями, соответствовавшими, примерно, нашим правым эсерам и кадетам, быстро упразднившими демократическую республику и восстановившими власть буржуазии (был восстановлен избирательный ценз и т. п.). Чисто революционная власть продержалась во Франции, таким образом, всего четырнадцать месяцев.

Итак, великая французская революция была гораздо менее глубокой и более быстрой, более скоропре-

---

[1]) самого теплого месяца в году, от греческого „термос"—тепло.

ходящей, чем русская. Обе эти стороны тесно связаны между собою. Почему пал Робеспьер? Потому, что народные массы, вначале очень его любившие—он был так же популярен, как наш Ильич—в конце-концов его перестали поддерживать, так как не видели никакого проку от революционной диктатуры. Все богачи, купцы, фабриканты, подрядчики, даже и те помещики, которые подчинились и признали республику, остались на своих местах и только еще больше богатели. А все издержки революции несла народная масса. Немудрено, что последняя довольно быстро разочаровалась и устала бороться. Вот отчего революционная диктатура не продержалась во Франции и полутора года, между тем, как в России она существует уже шесть лет.

Таким образом, крупнейшая из революций, какую видела Европа в прошлом, все же была менее глубокой, чем русская. Вот что надо иметь в виду, чтобы получить верный масштаб для оценки тех событий, свидетелями и участниками которых довелось нам быть. И уж если французскую революцию 1789—1794 годов называют «великой», то наша заслужила этого названия и подавно.

Но сравнение с французской революцией дает попутно ответ и на другой вопрос, затронутый выше: о буржуазной и небуржуазной революции. Термин «буржуазная революция» можно понимать двояко: или это означает революцию, создающую условия, необходимые для существования буржуазного, капиталистического строя, или это означает революцию, которою руководит буржуазия. В первом смысле понималось название «буржуазная революция» в 1905—7 гг. преимущественно нами, большевиками. Во втором смысле понимали его меньшевики и, в особенности, Плеханов, на этом основании настаивавший, чтобы пролетариат всеми силами поддерживал буржуазию, которая де «делает революцию».

Французская революция была буржуазной в обоих смыслах. Во-первых, она устранила все те многочисленные препятствия, которые стояли в старой Франции на пути развития капиталистической промышленности. И страна, и общество в старой Франции были разбиты множеством перегородок на бесчисленное количество мелких клеточек. Одна провинция (губерния) была отделена от другой таможенной чертой—

нельзя было, например, провезти хлеба из одной провинции в другую без особого разрешения начальства. В каждой провинции были свои законы, считавшие сотни лет существования, т.-е. совершенно неприспособленные к современному капиталистическому обороту. В каждой деревне существовали всевозможные «привилегии» помещика, церкви и т. д., тоже существовавшие много веков и совершенно бессмысленные (вроде обязанности крестьян пугать лягушек на барском пруду, чтобы они не мешали барину спать). Конечно, никто такими привилегиями непосредственно уже не пользовался, по их нелепости, но крестьян все же заставляли их **выкупать**, и таким путем огромная доля прибавочного продукта крестьянского хозяйства попадала в руки помещика или попа, в руки непроизводительных классов. «Привилегии» лежали такой тяжестью на трудящихся массах, что революция и началась в 1789 году под лозунгом «долой привилегии!»

Если провинциальные привилегии мешали торговле и приложению капитала вообще, то сословные привилегии, разоряя крестьян, которые постоянно оставались нищими, сколько они ни работали, мешали образованию внутреннего рынка, без которого немыслима крупная, капиталистическая промышленность. Чтобы капитализм во Франции мог развиваться, нужно было уничтожить «привилегии». Это революция и сделала. Средневековые провинции она заменила существующими и по-днесь **департаментами**, чисто административными округами, устроенными совершенно однообразно и не отделенными друг от друга никакими заставами. Все привилегии в пользу помещика и церкви были уничтожены. Сначала упоминавшееся выше «Национальное Собрание» хотело было заставить крестьян все же выкупить—раз навсегда—наиболее крупные из них, это и было толчком для продолжения революции и установления диктатуры трудящихся; упразднение старых привилегий безо всякого выкупа было главным, что дала демократическая республика французскому крестьянину. Крестьянин после этого превратился в свободного мелкого земельного собственника, и французская промышленность получила, наконец, достаточно широкий и емкий внутренний рынок

Как видим, французская революция, действительно, устранила преграды, стоявшие на пути развития капитализма во Франции. И только: основы капитализма, частной собственности на землю и орудия производства она, как мы помним, не тронула. В полном соответствии с этим буржуазная идеология во французской революции решительно господствовала, что мы, опять-таки, видели. Немногие социалисты, которых выдвинула революция, должны были выступать, как заговорщики против революционного правительства, которым и были казнены. Да и выступили они с большим опозданием, уже после низвержения Робеспьера. Последний, впрочем, тоже не жаловал социалистов, несмотря на вырывавшиеся изредка у него социалистические фразы, и беспощадно казнил всех, покушавшихся затронуть «священную собственность».

Великая французская революция, была, таким образом, «буржуазной» во всех смыслах. Такими же были и «невеликие» германские революции 1848—49 гг. Была ли такой же и великая русская революция?

Прежде всего, стояли ли у нас на пути развития капитализма те же препятствия, что в старой, дореволюционной Франции? Стояли, но гораздо меньшие. Местных, областных привилегий, которые бы стесняли торговлю и приложение капитала, у нас к началу XX века совсем не было. Русский торговый капитализм тут широко расчистил дорогу своему младшему брату—капитализму промышленному. Что касается сословных привилегий, то главной из них у нас было крепостное право, отмененное, как мы знаем, в 1861 году. Его остатки, бережно сохраняемые, продолжали болтаться путами на ногах у русского крестьянина и у русского капитализма. Главным из них было искусственное прикрепление крестьянина к поземельной общине, с ее круговой порукой. Насколько эти остатки должны были стеснять развитие русского капитализма, покажет пара цифр: производство 4 главных хлебов в России (ржи, пшеницы, ячменя и овса) за двадцать лет, с 1870-х до 1890-х годов, увеличилось всего на $15^0/_0$—с 270 милл. четвертей до 312, тогда как население за это время увеличилось в полтора раза. Толчка, данного «освобождением» (см. часть II, стр. 89) хватило, таким образом, не надолго. И если наша промышленность все же продолжала быстро развиваться, то это

объяснялось отчасти железнодорожным строительством, отчасти разложением в деревне натурального хозяйства, обнищанием крестьянина (см. часть II, стр. 168). Он, как это еще в 1861 г. предсказывал Чернышевский, переставал носить домотканную холстину—и ткать-то уже не из чего было!—и начинал покупать фабричный ситец.

Как видим, революции было что упразднять в области русских «привилегий». Но разница с Францией все-таки была огромная. Там даже революционная власть—«Национальное Собрание»—не решалось уничтожить привилегии даром; у нас даже старое, царское правительство не особенно дорожило остатками крепостного права в деревне, и круговую поруку, например, отменило еще до начала революции, в 1903 году, а под влиянием первой революции, 1905 года, и совсем приступило к ликвидации сельской поземельной общины. У нас поэтому революция сразу поставила вопрос, о котором робко заговаривали во Франции: вопрос о конфискации всей крупной частной поземельной собственности и передаче ее тем, кто землю обрабатывает, крестьянам. Уже в 1906 году большевики выступили с проектом национализации земли (Ленин о ней писал еще осенью 1905 г.), а как только революция окончательно восторжествовала в октябре 1917 г., был немедленно издан тот самый «закон о земле», которым французские революционеры пугали детей.

Русская революция начинала с того, чем французская не посмела и кончить. Конфискация всех крупных имений—это еще не социализм, но это такой удар по «священной собственности», какого еще никогда не наносилось во всем буржуазном мире. Даже как буржуазная революция, русская является поэтому предельной революцией—дальше итти некуда.

Но мы не ограничились, как известно, конфискацией земли,—в 1918 году были национализированы все крупные промышленные предприятия. Это уже шло, без всякого сомнения, гораздо дальше буржуазной революции, даже самой беспредельной, ибо целью ее является беспрепятственное накопление частного капитала, а отнюдь не превращение этого частного капитала в государственную собственность. Такого превращения всегда и везде требовали только социалисты—никакой буржуазный рево-

люционер не мог бы выставить такого требования. Денационализация промышленности, возвращение национализированных предприятий «законным» владельцам, является лозунгом всей борющейся с нами буржуазии, как нашей белогвардейской, так и заграничной, антантовской. И уже этого лозунга контр-революции достаточно, чтобы охарактеризовать эту часть нашей революции, как революцию социалистическую.

Социалистической была и идеология нашей революции—при чем социалистическую окраску и даже название социалистов принимали у нас революционеры явно буржуазного типа. Таковы энесы—«народные социалисты», в сущности, буржуазные демократы. Левое крыло наших буржуазных демократов имело смелость присвоить себе даже звание «социалистов-революционеров», и только, когда они стали у власти и не сумели сделать ни одного шага в направлении к социализму, люди поняли, что перед ними самозванцы. Но и самозванство их любопытно и выразительно: в прежнее время самозванцы объявляли себя царями, а в России XX века самозванцы объявили себя социалистами.

Итак, наша революция была буржуазной и социалистической одновременно, при чем социалистический элемент в ней преобладал. Он вел движение—он дал ему идеологию. Кто хотел осмыслить нашу революцию, говорил об идеалах именно социализма, а не буржуазной демократии. Это лучше всего выразилось еще до Октября в отношении масс к лозунгу «республика». Вы помните, что французы со дня провозглашения республики стали вести новое летосчисление. Ну, а у нас, кто помнит, в какой день была провозглашена республика?—Я кое-кому скажу новость, если напомню, что это было в сентябре 1917 года. Дня уже решительно никто не помнит. Никому не нужна была у нас буржуазная республика.

И, совершенно естественно, буржуазия у нас иначе отнеслась к революции, чем во Франции. Там буржуазия, летом 1789 года, начала атаку на королевскую власть, решила ей не подчиняться, и, наконец, при помощи восставшей народной массы, подчинила короля своему Национальному Собранию. У нас буржуазия все время старалась сторговаться с самодержавием, поднимая цену по мере успехов народ-

ной массы, которую вела в бой не она. А когда городская масса, пролетариат, был разбит в декабре 1905 г., трудно сказать, кто больше торжествовал—буржуазия или самодержавие и его слуги.

А когда самодержавие неожиданно для буржуазии было опрокинуто пролетариатом в феврале ст. ст. 1917 года, она с необыкновенным упорством стала отстаивать из старого порядка, что еще можно было отстоять. Тут особенно поучительно сравнить поведение русской буржуазии в 1917 и французской в 1792 году. Тогда крайняя левая буржуазная партия, соответствовавшая нашим кадетам, была определенно республиканской и первое время шла во главе республиканского движения; тотчас по низвержении королевской власти было созвано учредительное собрание (Конвент), всего через шесть недель после переворота (королевская власть пала 10 августа 1792 года, а Конвент открылся 20 сентября). Буржуазия упиралась во Франции только в экономическом вопросе—когда революция начинала затрогивать «священную собственность».

У нас после февраля 1917 года буржуазные партии, прежде всего другого, стремились спасти монархию. Только когда выяснилось, что новый царь не усидит на престоле и полчаса, что его свергнут много раньше, чем он успеет короноваться, буржуазия согласилась помириться, на словах, с республикой. На деле она оттягивала, елико возможно, ее установление, отсрочивая созыв учредительного собрания, как будто в России 1917 года с железными дорогами и телеграфами было труднее его созвать, чем во Франции 1792 года, где ездили исключительно на лошадях, и все сношения велись при помощи почты. С момента торжества революции, буржуазия в России становится открыто контр-революционной, реакционной силой. И уже одно это должно было помешать русской революции остаться в рамках революции «буржуазной». Как французская революция не могла ставить имения в руках контрреволюционера помещика, бежавшего за границу и там сговорившегося с иностранцами о нападении на революционную Францию, так русская революция не могла оставить завода в руках контр-революционера капиталиста, шушукавшего-

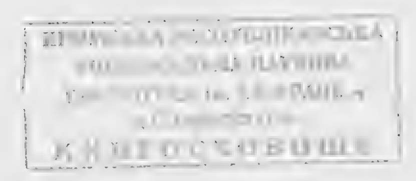
ся с разными иностранными «миссиями» о том, как бы подавить движение рабочих и крестьян. Если бы даже ведший революцию пролетариат и не выдвинул социалистических лозунгов, национализацию крупной промышленности все равно пришлось бы провести из чисто-политических целей, как меру борьбы с буржуазной реакцией. Социалистическая идеология тут оправдывала то, что было делом политической необходимости.

Остается прибавить, что к тому же вела необходимость и экономическая. Созданные войной разруха сельского хозяйства (производство хлеба с 1915 по 1917 год упало на 40% для пшеницы и на 30% для ржи) и разруха транспорта совершенно изменили привычное отношение цен сельско-хозяйственного сырья (главным образом, съестных припасов) и произведений обрабатывающей промышленности. В мирное время на пару сапог можно было променять 4 пуда пшеничной муки, теперь полтора пуда стоили столько же, сколько пара сапог. Содержание рабочего обходилось теперь дороже, чем стоили на рынке произведенные им продукты. Предпринимателю оставалось или обречь своих рабочих на голодовку, сохранив свои барыши—но этого не позволили бы только что одержавшие политическую победу рабочие—или, отказавшись пока что от барышей, закрыть на время фабрику. Если бы пролетариат не победил в октябре, мы имели бы картину колоссального локаута, беспримерного в истории массового закрытия фабрик и роспуска рабочих капиталистами. Чтобы сохранить русскую промышленность хотя бы отчасти, нужно было передать фабрики и заводы в руки хозяина, не нуждавшегося в барышах, а при случае могущего даже приплачивать рабочему из своего кармана. А таким хозяином могло быть только государство.

Таким образом, не только субъективно, в сознании своих руководителей, но и объективно, по ходу вещей, русская революция должна была стать и не могла не быть революцией социалистической.

Но такой она стала далеко не сразу. Описанные нами сейчас объективные условия выступили со всей силой к 1917 году,—а первым днем революции в России было 9/22 ян-

варя 1905 года. Первый взрыв русской революции прошел еще под буржуазными лозунгами—учредительного собрания и демократической республики. На деле революция 1905 года остановилась, не добившись осуществления даже этих лозунгов, и могло показаться, что в России кончилось, как в Германии 1848 года, что самодержавию удалось откупиться от революции конституцией. Только со второго раза самодержавие было окончательно сброшено. Русская революция прошла, таким образом, две ступеньки, что и дает все основания разделить дальнейшее изложение на две части. Предметом первой будет именно революция 1905 года с ее непосредственными причинами и ближайшими последствиями. Предметом второй части—воскресение рабочего движения, начиная с 1910—12 годов, война и вторая революция.



ГЛАВА I.

Экономика первого революционного периода (1900—1910).

Для того, чтобы понять первую русскую революцию 1905—7 годов, необходимо приглядеться ближе к экономической обстановке первого десятилетия XX века.

Если полукрепостнический режим дожил в России до XX столетия, то в этом виноваты были не одни сознательные усилия помещиков и их правительства: если эти усилия имели успех, виноваты были низкие хлебные цены, которые вновь воцарились на мировом рынке. Об этом уже говорилось в другой связи (см. «Русская История в сжатом очерке», ч. II, стр. 162), остается это лишь напомнить. Лучше всего это видно на изменении земельных цен. Начиная с 60-х годов в черноземной полосе, в губерниях: Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и Курской—цены на землю непрерывно росли. В первой они достигли 105 рублей за десятину в 80-м году, и 145 рублей в 83 году.

Но в 1889 году в Орловской губернии десятина стоила уже только 116 рублей. Та же картина наблюдается и в Воронежской губернии, и в Пензенской. В Воронежской губернии земля поднялась с 54 рублей в 60-х гг. за десятину до 133 руб. в 1883 году, чтобы упасть до 124 руб. к 1889 г. В Пензенской—земля стоила 36 р. десятина в 60-х гг., 100 р. десятина в 1883 г., и только 80 руб. в 1889 году.

Кто же являлся главным покупщиком земель в это время? Несомненно, крестьяне. Это видно из того, что среди

владельцев частно-владельческих земель процент крестьян вырос с 5,46 в 1878 году до 19,5% в 1900 году. Если цены на землю стали падать, то это указывает на то, что главный покупщик земель, крестьянство, устало покупать; придавленное низкими хлебными ценами. Как при Николае I застыла на мертвой точке крепостная деревня, то же, повидимому, угрожало и деревне 1890 годов. И вот, повторилось то явление, которое уже сдвинуло однажды с мертвой точки в 1840-х годах. С 1900 года цены на хлеб на мировом рынке снова начинают расти. Если цены 1893—97 годов принять за 100, то в 1898—04 гг. хлебные цены выразятся цифрой 122, а в 1905—12 гг.—165.

Итак, первое десятилетие XX века проходит под знаком высоких хлебных цен, т.-е. под тем знаком, под которым шла Россия перед 14 декабря 1825 года и перед 19 февраля 1861 г. Общая мировая «конъюнктура» (условия рынка) повторяется, и притом даже с большей устойчивостью и настойчивостью, чем прежде, ибо подъем хлебных цен перед 1861 г. далеко не достигал максимального процента—65%, какого он достиг сейчас. Тогда максимальный подъем был 20—25%. Дело в том, что в конце XIX века Соединенные Штаты Северной Америки участвовали в хлебном экспорте более, чем наполовину: 52% потреблявшегося Европой хлеба выбрасывалось на рынок Соединенными Штатами. А в 1908—12 гг. Соединенные Штаты дали только 18% хлебного экспорта. Произошло это, конечно, не от упадка земледелия Соединенных Штатов, а потому, что в Соединенных Штатах появилось, чего не было в 70-х годах. грандиознейшая крупная промышленность; появился пролетариат, которому понадобился покупной хлеб. Эта перемена и определила мировую конъюнктуру, которой в значительной степени объясняется то, что происходило в русской деревне в течение первого десятилетия XX века. Само собою разумеется, что повышение хлебных цен вызвало усиленное производство хлеба в России и увеличение посевной площади. Если мы возьмем посевную площадь первого четырехлетия XX века за 100, то пятилетие 1909—13 годов выразится цифрой 110. То же самое мы увидим, если припомним, что рожь сеется у нас преимущественно для собственного потребле-

ния, а пшеница для продажи; в то время, как посев ржи за первое четырехлетие составлял 31% всего посева, за последнее отмеченное пятилетие 1909—13 года процент посева ржи составлял только 28. В то же время посев яровой пшеницы с 18,6 поднялся до 21,4.

Другими словами, хлебная продукция (производство хлеба) не только увеличилась сама по себе, но она стала более товарной, т.-е. больше хлеба стало сеяться для продажи. При этом хлебная продукция в целом увеличилась с 5½ миллиардов пудов до 6,2 миллиардов пудов в последнее пятилетие. Если вы вспомните, что прежде за двадцать лет, с 1877 до 98 года, наша продукция увеличилась только на 15 процентов, а теперь за 8 лет на 23%, то вы оцените тот толчок, какой изменение мировой конъюнктуры дало русскому сельскому хозяйству.

Подавляющее большинство посевов по переписи, правда, весьма неполной, приходилось на крестьянство—92,1%, а на частно-владельческие земли только 7,9% всей площади.

Таким образом, производство хлеба держалось, главным образом, на крестьянском хозяйстве. Из товарного хлеба, т.-е. хлеба, шедшего на рынок, на продажу—приблизительно 1 миллиард 100 миллионов пудов—на долю крестьян приходилось 78,4%. Вы видите тут довольно значительное расхождение между размерами площади крестьянских земель и количеством хлеба. Эти две цифры отступают одна от другой.

Это объясняется более низкой урожайностью крестьянских земель. Если мы возьмем урожайность 61—71 годов за 100, то получим следующие цифры:

Для	70 годов	крестьянские земли	107,	владельческие	112.
„	80 „	„ „	117,	„	127.
„	90 „	„ „	134,	„	142.
„	900 „	„ „	148,	„	164.

Вы видите, как крестьяне изо всех сил тянутся за помещиками. Вы видите, что крестьянское хозяйство, несомненно, прогрессирует, но все же отстает от помещичьего. Чем это объясняется? Первое, что приходит в голову, это более совершенные приемы обработки помещичьих земель. Но мы знаем, что на всю Россию, из 70-ти миллионов десятин

помещичьей земли, только 3 миллиона обрабатывались усовершенствованными способами. Это такой ничтожный процент, который не мог оказать заметного влияния на разницу между количеством хлеба, выбрасываемого крестьянами и помещиками.

Дело не в том, что помещики лучше обрабатывали свою землю: это было лишь в немногих случаях, и притом не в черноземной полосе, а преимущественно в районах крупных центров, возле Москвы и Питера; а дело в том, что помещики при «освобождении» отрезали у крестьян лучшие земли, так что крестьяне все равно должны были отставать от помещиков. Таким образом, в то время, как снабжение хлебного рынка, и внутреннего, и внешнего, держалось, главным образом, на плечах крестьянства, наибольшие выгоды получали помещики

Крестьяне распахали все, что было возможно: выгоны, и даже земли, признанные неудобными в 1861 году, но они все-таки не могли угнаться за помещиком, и помещичьи поля, покрытые густой щеткой хлебов, должны были страшно дразнить крестьян. Они были бы не прочь купить у помещика земли, но помещики так вздули цены на землю, что крестьяне не могли их покупать. Если цены 1900 года принять за 100, то по Харьковской губернии мы имеем следующие цифры: в 1898 году—85; в 1902 году—132. В Курской губернии в 1898 году 122; в 1902 году—207

В самом деле, если помещик мог получать с своей земли хорошую ренту, то что за смысл был продавать землю крестьянам? Он предпочитал обрабатывать ее сам и нажимал на крестьянина при помощи отрезков. Вы догадываетесь, что это должно было оказывать существенное влияние на отношение крестьян к помещику. Между крестьянами и помещиками получилось теперь противоречие, которое ничем нельзя было смягчить или затушевать: противоречие в области производства. Помещик мешал крестьянину производить хлеб для рынка, крестьянское хозяйство не могло развиваться—поперек дороги ему стояло помещичье. Одно из этих двух хозяйств должно было умереть, чтобы другое могло жить.

Мы видим, как изменяется сущность противоречия между

крестьянином и помещиком, в связи с развитием капитализма в России: раньше это было противоречие сословное, между «барином» и «мужиком». Экономическая сторона была затушевана этой сословной, юридической стороной. Теперь экономическая сторона выступала открыто—борьба шла между крупным привилегированным производителем хлеба и мелким непривилегированным. И только эта привилегия напоминала о феодальном происхождении всего спора. На самом деле крестьянин шел не столько против вымиравших остатков феодализма, сколько против нарождавшегося аграрного капитализма. Но так как восставал-то он против капитализма не во имя сельско-хозяйственного социализма (который пыталась подсунуть крестьянину безо всякого успеха городская интеллигенция), а во имя частного, буржуазного же, только мелкого хозяйства, то выходило вот что: сам не будучи социалистом, крестьянин объективно (т.-е. на самом деле, независимо от того, хотел он того или нет), оказывался союзником социалистически настроенного пролетария.

Это отражалось, конечно, и на классовом характере крестьянского движения. Но об этом ниже—пока остановимся на других следствиях изменившейся мировой конъюнктуры.

Изменившаяся конъюнктура отразилась не только на судьбах деревни. Русское туземное накопление держалось, главным образом, на хлебном вывозе: и естественно, что в период низких хлебных цен накопление шло крайне медленно. Если бы не приток иностранного капитала, то в последние два десятилетия XIX века в России наблюдался бы полный экономический застой. В четырехлетие 1893—96 гг. средняя ценность всего русского вывоза за год составляла 661,4 миллиона рублей, а накопление за эти 4 года составляло 104 миллиона: а за четырехлетие 1905—08 годов, несмотря на происходившую в это время революцию и кризис, о котором вопила буржуазия, средний годовой вывоз оценивался в 1 миллиард 55 миллионов рублей (золотых, разумеется, как во всех этих подсчетах), а накопление дало 339 милл. рублей. Какую роль здесь играло повышение хлебных цен, видно будет, если мы сравним рост хлебного выво-

за в пудах, с одной стороны, и рост его стоимости в золотых рублях, с другой. В 1900 г. из России вывезено было хлеба 418,8 милл. пудов, а в 1910—847,1 милл. пудов. Если мы возьмем вывоз 1900 года за 100, вывоз 1910 г. будет 196. А стоил весь вывезенный хлеб в 1900 году 304,7 милл. руб., а в 1910—735,3 милл. руб.; если мы первую цифру возьмем за 100, вторая будет равняться 245. Вывоз хлеба вырос менее, чем вдвое, а доход от вывоза в 2½ раза

Очевидно, что накопление должно было пойти быстрее, и мы имеем в первое десятилетие XX века очень любопытное явление, которое можно назвать национализацией русского капитализма. В конце XIX века русская промышленность жила, главным образом, иностранными капиталами: только 21% всего ее капитала был туземного, русского происхождения, остальное, так или иначе, получилось из-за границы. А уже в 1901—1904 годах заграничных капиталов было вложено в русскую промышленность только 182 милл. руб., а русских 209 миллионов. К концу первого десятилетия роль иностранного капитала в русской промышленности упала до совсем ничтожной доли: в 1910 году капитал всех разрешенных иностранных компаний (их было 17) составлял только 33,7 милл. руб., тогда как русских компаний в этом году было разрешено 181, с капиталом в 190,4 милл. руб., в шесть раз больше. Если бы не государственные долги и не капиталы, раньше вложенные иностранцами в русскую промышленность, последняя с некоторым правом могла бы назвать себя «отечественной».

Если в деревне политическим последствием повышения хлебных цен было обострение противоречия между крестьянином и помещиком, то здесь это отразилось политическим последствием не меньшей важности: изменением отношения буржуазии к правительству. Давно известно, еще со времен Энгельса, что чем дальше на восток Европы, тем буржуазия подлее. На эту подлость русской буржуазии указывалось и в первом манифесте нашей партии. Но какими же таинственными причинами объясняется это прогрессивное оподление? В крови что-ли русской буржуазии было такое свойство?—Нет, причины этого были экономиче-

ские. Капиталистическое накопление в России шло на счет иностранного кредита. Даже русские, номинально, предприятия существовали часто на иностранные деньги, полученные правительством в виде иностранного займа и переданные фабриканту в виде субсидии. Но заграничный кредит оказывался государству, а не частным предпринимателям. Начнешь бунтовать против правительства, без кредита останешься, должен был рассуждать русский капиталист; и, действительно, в первую же революцию 1905 года, приток иностранных капиталов чрезвычайно сократился, начался даже отлив—иностранцы стали массами продавать русские ценные бумаги. Тем не менее, тон русской буржуазии в ее разговорах с правительством как раз в эти годы чрезвычайно поднялся: еще никогда русская буржуазия не «дерзила» так царю, как в эти годы. Этого явления мы не поймем, если позабудем, что, одновременно с иссякновением золотой реки, текшей с запада, золото стало бить фонтаном из русской почвы.

А если вы прибавите к этому, что сама русская промышленность колоссально выросла за это время (ее производство с 1 миллиарда 800 миллионов золотых рублей в 1897 г. возросло до 4½ миллиардов в 1912 году), то вы поймете, что и удельный вес этой группы должен был во столько же раз увеличиться. Промышленники стали и либеральнее, и сильнее. Только благодаря высоким хлебным ценам наше сельско-хозяйственное производство держалось на той же высоте, а если бы хлебные цены были те же, что и в конце XIX века, то промышленность шла бы в своей производительности далеко впереди по сравнению с сельским хозяйством.

Если Россия конца XIX века была более буржуазной страной, нежели в середине этого века, то в начале XX она стала в два с половиной раза более буржуазной, чем в конце XIX. А приемы управления в стране «Романовы» старались сохранить те же, что были в 1861 году; уже этого достаточно, чтобы, в самой грубой форме, объяснить революцию 1905 г. Наша промышленность развивалась чрезвычайно бурно, и по своему характеру развития носила даже не европейский, а американский характер. Если мы возьмем самые мелкие предприятия с количеством рабочих не бо-

лее 100 на каждом, то увидим, что в России в начале XX века в таких предприятиях было занято всего 10% всех рабочих, а в Германии 22%. А если мы возьмем крупные предприятия, с количеством рабочих от 500 до 1.000, то в России найдем в них тоже 10% всех рабочих, в Германии всего 6%. Наконец, если мы возьмем предприятия гиганты, с числом рабочих более 1.000 на каждом, то увидим, что в Германии они занимали 8% всех рабочих, а в России 24%. Концентрация производства в России начала XX века была выше, чем в Германии. По своему строению русский промышленный капитализм был одним из самых передовых в Европе; а его пытались держать в старой политической коробке, приспособленной даже еще не для промышленного, а только для торгового капитала (см. ч. II, стр. 89 и след.).

Но это же высокое, относительно, совершенство русского промышленного капитализма и создавало лишнюю помеху для перехода русской буржуазии от либерализма к революционности. Высоко развитая промышленность предполагает и более интенсивную эксплоатацию рабочего предпринимателем—и большую глубину и остроту классовых противоречий.

Хорошо поясняет здесь картину сравнение положения русского рабочего в бурно развивавшемся русском промышленном производстве с положением рабочих старой, медленно развивавшейся капиталистической страны — например, Англии.

Если мы примем за 100 ту заработную плату, какую английский рабочий получал в 1850 г., то заработная плата 1900 года выразится цифрой 178, значит, увеличилась больше, чем в полтора раза. А если мы примем цены съестных припасов в Англии 1850 года за 100, то для 1900 года мы получим 97. Денежная заработная плата выросла, а цена жизни уменьшилась, значит, реальная заработная плата, другими словами, жизненная обстановка английского рабочего за эти 50 лет улучшилась. Английский капиталист ему приплачивал. Откуда же? Из своего кармана, от своей доброты? Ничего подобного—наоборот, эксплоатация рабочего капиталистом и в Англии, конечно, уси-

личивалась, а не уменьшалась. Пользуясь увеличением производительности труда, предприниматель все меньшую и меньшую долю из цены продукта уступал рабочему, все больше оставляя себе. В 1819—21 г. г. в каждом фунте обработанного в Англии хлопка, заработная плата составляла 15,5 пенса [1]), а в 1880—82 г.г., только 2,3 пенса—почти в 7 раз меньше. Но заработная плата при этом все же увеличивалась, потому что в первом случае рабочий вырабатывал в год всего на 322 фунта стерлингов [2]), а во втором на 4.039. Чем это достигалось? Конечно, улучшением техники производства, усовершенствованием машин: английские машины этого периода были первыми в мире. А это делало первыми в мире и продукты английских фабрик. Англия завоевала себе в XIX веке монополию на всемирном рынке, она торговала всюду и всюду устанавливала цены такие, чтобы и капиталисту не было «обидно», но чтобы и рабочему кое-что оставалось. Как только, под влиянием конкуренции с Германией, дела изменились, Англия стала терять мировую монополию, быстро стали портиться и отношения английского рабочего с его хозяином. Мы это увидим в своем месте.

Но вы скажете: все-таки, значит, хозяин не такой уже был жадный, делился с рабочими, хоть и не из своего кармана, а из чужого? Для полной ясности надо сказать два слова о том, что же побуждало английского предпринимателя к такой относительной щедрости.

Дело в том, что население Англии исключительно быстро росло в первой половине XIX столетия (за 20 лет, с 1821—по 1841 год, оно увеличилось на треть—с 12 миллионов душ до 16). Но по мере того, как росло хозяйство Соединенных Штатов и английских колоний (Канады, Австралии), и увеличивался там спрос на рабочие руки, «избыточное население» Англии стало отливать туда. С 1853 по 1906 г. в том числе из самой Англии туда эмигрировало более 5½ миллионов. Эмиграция эта не ослабела и в начале XX века: в 1903 году из Англии выселилось 178 тысяч человек, а в 1906—220 тыс.

---

[1]) Пенс—около 4 копеек на довоенные деньги.

[2]) Фунт стерлингов—около 10 рублей на довоенные деньги.

Если в первой половине века у английского фабриканта было под рукою сколько угодно рабочих рук, и он мог с ними не стесняться, чем дальше, тем ему больше приходилось думать, как бы рабочие от него не разбежались. Для этого их и приходилось «подкармливать». Вот в чем была, таким образом, экономическая подкладка английских «свобод» и «щедрости» английского капиталиста; английский рабочий, сам того не сознавая, имел такое средство укрощения своего предпринимателя, каким не располагал ни один из его континентальных товарищей.

И вот это-то условие в России совершенно отсутствовало. У нас в конце XIX века предпринимателю не приходилось задумываться над вопросом: будут ли у него всегда в достаточном количестве рабочие руки? Пролетаризация крестьянства, т.-е. образование «резервной армии труда», шло у нас чем дальше, тем быстрее. Кое-какие примеры этого мы уже видели (см. ч. II, стр. 164), вот еще один—другой. За пятилетие 1888—1893 гг. в 9 центральных черноземных губерниях число лошадей у крестьян упало почти на 25% (убыла 931 тысяча из общего числа 4 миллиона); посев на 1.000 душ населения составлял в 60-х годах 825 десятин, а в 1900 г. уже только 547. Выселение крестьян в Сибирь систематически задерживалось из-за интересов помещиков, не желавших терять дешевых батраков и выгодных арендаторов. Крестьяне выселялись «самовольно», в 90-х годах $^4/_5$ уходило таким путем, но это «самовольное» выселение, при котором дети поголовно вымирали, да и из взрослых до места доходило не больше половины, было таким ужасом, что на него можно было пойти только с отчаяния. Более или менее благополучно переселялись только зажиточные крестьяне, у которых был скот, был инвентарь и т. п., т.-е. как раз не *пролетариат*. Сельский же пролетариат предпочитал маяться в батраках—поступить же на фабрику считалось счастьем. Гибнущая деревня прямо оживала, когда рядом открывалась фабрика. Немудрено, что *из промышленных губерний почти не было переселений в Сибирь*.

Тогдашняя статистика по 21 губернии считала по крайней мере 5 миллионов «лишних» рабочих, которые не на-

ходили никакого применения своему труду в земледелии. Общее же число рабочих, занятых в промышленности, составляло тогда около 2½ миллионов: «резервная армия» составляла, таким образом, ровно 100% армии «действующей». При таком соотношении сил, фабрикант считал себя, да считался и сельскими пролетариями, ищущими работы, «благодетелем», ежели он вообще что-нибудь платил; мы видели, какие порядки создавались на этой почве даже в Москве и московской губернии (см. ч. II, стр. 173). Немудрено, что у русского фабриканта не было никаких побуждений «прикармливать» своего рабочего, и он платил ему всегда в обрез. Если мы примем заработную плату русского фабричного рабочего 1892 года за 100, то заработная плата 1902 года выразится цифрой 105, а если мы возьмем за 100 хлебные цены середины 90-х годов, то для 1902 года получим 125. Реальная заработная плата русского рабочего все время уменьшалась, тогда как английского увеличивалась. От английского рабочего жизнь замаскировывала, скрывала буржуазную эксплоатацию, русскому жизнь самым безжалостным образом напоминала о ней каждую минуту. Не мудрено, что русский рабочий, как только становился сознательным, начинал понимать свои классовые интересы, так становился революционером, что в России «сознательный рабочий» и «революционер» стали значить одно и то же.

ГЛАВА II.

Промышленный кризис и массовое рабочее движение.

Такое положение русской рабочей массы давало определенные политические последствия уже в половине 1890-х годов. Уже в промежуток 1895—97 г. г. число стачечников по отчетам фабричной инспекции увеличилось вдвое. Еще в 1895 году, в самом конце, министр финансов в секретном циркуляре фабричным инспекторам писал: «в России, к счастью, не существует рабочего класса в том смысле и значении, как на западе, и потому не существует и рабочего вопроса, и тот, и другой не будут и не могут иметь у нас почвы для своего рождения»—если только фабричная инспекция не будет дремать. А меньше, чем через два года министр внутренних дел писал, столь же секретно, губернаторам: «...забастовки фабричных, заводских и даже цеховых рабочих сделались заурядным явлением во многих городах с более или менее значительным рабочим населением. При этом обращает на себя особое внимание образование в последнее время среди рабочих так называемых «боевых дружин», т.-е. групп наиболее революционно настроенных рабочих, которые путем угроз и насилий принуждают менее решительных рабочих присоединиться к стачке или препятствуют желающим стать на работу, а также подвергают всякого рода насилиям, до убийства включительно, рабочих, влияющих на товарищей в смысле прекращения забастовки или заподозренных в обнаружении перед полицией или фабричной администрацией главных зачинщиков стачек».

Мы привели обе эти выдержки не как образчики правильного изображения действительного положения вещей—оба министра, и финансов, и внутренних дел, писали явную чепуху—а как образчик того впечатления, какое производили на царское правительство стачки. За два года утверждали, что в России никакого рабочего движения и быть то не может, а через два года стали кричать, что вся Россия охвачена рабочим заговором. Так ударила по министерским мозгам больше всего питерская забастовка мая—июня 1896 года, во время коронации Николая II (коронация и была формальным поводом к забастовке: во время празднеств фабрики стояли, и рабочие требовали уплаты за эти «прогульные», не по их вине, дни, а фабриканты отказывались). Забастовка по казенным сведениям охватила 19 фабрик и около 15.000 рабочих; в Петербурге считали забастовщиков 35.000. «Правительственное сообщение» уверяло, что остальные питерские рабочие «держались в стороне» от осмелившихся забастовать ткачей и прядильщиков, а рабочие говорили, что их стачка потому и продержалась так долго (некоторые фабрики бастовали более двух недель—а более недели бастовало большинство), что «заводские», рабочие металлургических предприятий Петербурга, поддерживали из своей заработной платы стачечников. За время забастовки было выпущено 25 прокламаций «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», «Рабочего Союза» и «Московского Рабочего Союза». Но начальство было испугано не столько этим, сколько другим проявлением сознательности движения. «...Отличительными признаками всех этих стачек», писал в помянутом выше циркуляре министр внутренних дел о забастовках 1896—97 г. г., «представляются: предъявление рабочими одних и тех же, точно формулированных, требований, единодушное упорство в отстаивании своих домогательств и сохранение стачечниками внешнего порядка и спокойствия».

Последнее было особенно ужасно, ибо ставило в совершенный тупик полицию, привыкшую «усмирять» рабочие «беспорядки». Пока солдаты слушались, «усмирение» еще могло итти, хотя любопытно, что уже в середине 90-х годов солдат приходилось «поощрять». В апреле 1895 года забастовала в Ярославле Корзинкинская мануфактура. Произошли «бес-

порядкп», т.-е. рабочие по-просту собрались толпой. Губернатор вызвал фанагорийский гренадерский полк, который стоял гарнизоном в Ярославле, и солдаты залпом в толпу уложили 13 человек рабочих. Только что, меньше чем за год, вступивший на престол Николай написал на донесении об этом: «Весьма доволен поведением войск во время фабричных беспорядков в Ярославле». Вот еще когда этот царь начал расстреливать рабочих!. Царское «спасибо» немедленно же передали всем войскам московского военного округа,— в назидание и поощрение. Расстрел забастовщиков не был, надо прибавить, средством, выдуманным правительством Николая II: его союзники, французские буржуа, были его учителями в этом деле. Во Франции, во время забастовок, вся тактика полиции заключалась в том, чтобы раздразнить толпу всяческой провокацией. При увлекающемся, южном характере французов это достигалось довольно легко, и первый же камень, полетевший в полицию или войска, был сигналом к расстрелу: «беспорядки» были налицо, а затем все остальное—аресты, высылки—шло, как по маслу. Эту нехитрую механику легко усвоили и у нас. Но что делать с рабочими, когда они никаких «беспорядков» сознательно не хотят производить?

Питерские забастовки 1896 года произвели такое сильное впечатление на начальство, что оно—первый случай в русской истории—решило удовлетворить основное требование забастовавших. Требование платы за коронационные дни было лишь поводом к стачке—затем рабочие выставили пункты общего характера, и первым из них было с о к р а щ е н и е р а б о ч е г о д н я, в текстильных предприятиях тогда неимоверно длинного—до 14 часов. Питерские ткачи требовали 10½ часов—закон 2 июня 1897 г. определил для всей России 11½-часовой рабочий день. Разрешение фабрикантам применять «сверхурочные» сводило закон почти на-нет, но в русском законодательстве XIX века остался все же закон, вырванный стачкой.

Но если фабрикантов и можно было уговорить на сокращение рабочего дня (хотя и это не без труда: в комиссии, обсуждавшей проект нового закона, фабриканты все толковали о той «тяжести», которой этот закон «ляжет на нашу

промышленность», да ссылались на Францию и т. п.)—то уговорить их поднять заработную плату было совершенно невозможно. Между тем, большая часть забастовок вызывалась именно спорами о заработной плате—даже и в знаменитой питерской забастовке 1896 года ближайшим поводом, мы видели, была она. Из 1765 стачек, которые насчитывала фабричная инспекция за 10 лет, с 1895 по 1904 год, 1071, т.-е. 61%, имели причиной столкновения из-за размеров заработной платы или способов ее выдачи, и только 284, или 16%, из-за продолжительности рабочего дня. Рабочим уступали как раз не по самому важному для них, а по самому дешевому для фабрикантов пункту. Потому что фабрикантам к концу 1890-х годов и без всяких требований рабочих приходилось подумывать о сокращении производства.

Развитие русской крупной обрабатывающей промышленности сделало огромные успехи как раз в течение этого десятилетия. Ни в одной стране мира крупное производство не шло так быстро вперед. Цифры мы отчасти уже видели (см. ч. II, стр. 89 и 184—5). Напомним их и дадим коекакие сравнения. По числу веретен Россия уже к 1890 году шла, как мы знаем, впереди других стран Европы, кроме Англии. За десятилетие 1889—1899 гг. прирост числа веретен в Европе составил только 33%—а в России 76%. Выплавка чугуна в наиболее быстро развивавшихся странах земного шара, в Америке и в Германии, увеличилась: в Соединенных Штатах С. Америки на 50%, в Германии на 72%; в России увеличение составило 190%. В 1889 г. Россия по выплавке чугуна занимала 7-е место в мире—в 1899 уже четвертое. Но развитие промышленности сказывается не только в увеличении производительности фабрик, но и в увеличении массы того, на чем эти фабрики работают—промышленного сырья. И тут мы видим опять-таки, что добыча каменного угля за этот период увеличилась в России на 131%—тогда как в Германии она увеличилась на 52%, в Соединенных Штатах на 61%; добыча нефти увеличилась на 132%, тогда как в Соединенных Штатах всего на 9%: по добыче нефти в 1899 г. Россия стояла на первом месте во всем мире.

Мы видели в своем месте (см. ч. II, стр. 168), что это

развитие промышленности опиралось на расширение внутреннего рынка—а это последнее объясняется пролетаризацией крестьянства: переходя от положения самостоятельного хозяина к положению наемного батрака, крестьянин, не имея своего, домашнего, все больше должен был покупать на рынке и увеличивал, таким образом, спрос. Но этот спрос не для всех отраслей промышленности расширялся одинаково равномерно. Из крупных фабрик непосредственно потребности народной массы обслуживают, главным образом, текстильные: ткани идут почти исключительно, для личного потребления. Металлургия лишь в самых незначительных размерах обслуживает это личное потребление: пряжки, пуговицы, гвозди для сапогов и т. под. Главным же образом металлургия обслуживает хозяйство, крупное и мелкое: дает плуги, грабли, косы, топоры, железо для кровли, подковы для лошадей и т. д., и т. д. Если для ситцевого фабриканта «рынком» является пролетаризованный крестьянин, у которого нет более домотканной холстины, то для металлургической промышленности рынком является, наоборот, сельская буржуазия.

Мы видели (см. ч. II, стр. 164), что образование сельского пролетариата и возникновение деревенской буржуазии—две стороны одного и того же явления, классового расслоения деревни. Но два эти процесса не шли нога в ногу, совершенно параллельно один другому: а именно, образование пролетариата обгоняло у нас образование мелкой земельной буржуазии. Как медленно развивалась у нас эта последняя, покажут две цифры. При помощи крестьянского банка с 1882 по 1895 год крестьянами было куплено около 2 миллионов десятин земли. Крупные покупки решительно преобладали: на них приходилось более 80% всей купленной земли. Не может быть сомнения—это росла сельская буржуазия. Но как медленно она росла! За десять слишком лет крестьянской буржуазии удалось скупить менее 2 милл. десятин помещичьей земли (считая за «помещичьи» владения крупнее 500 десятин), а в руках помещиков осталось 62 миллиона десятин. За 10 лет слишним помещики этим путем не потеряли и 4% своих владений. А это был еще период исключительно низких цен на хлеб, когда крупное землевладение не окупало себя,

и помещик, на словах, иногда не знал, как «развязаться» с землей. Но со второй половины 90-х годов хлебные цены начали, как мы помним, «крепнуть». Если мы возьмем хлебные цены пятилетия 1893—1897 гг. за 100, для семилетия 1898—1904 мы получим 128. У помещика все меньше и меньше было побуждений «развязываться» с землей, которая начинала приносить доход. Если с конца 80-х годов цены на землю повышались в России очень медленно, менее, чем на 18% в пятилетие, то за пятилетие 1898—1902 гг. те же цены вспрыгнули вверх сразу на 36%. На черноземе повышение цен было еще значительнее: в Полтавской губ. со 103 до 207 р. за десятину, в Харьковской с 85 до 138, в Курской со 122 до 207 и т. д.

Если бы у нас в деревне были только, с одной стороны, батрак, а с другой крупный собственник, на такой основе начало бы развиваться буржуазное крупное землевладение. Но наличность обделенного землей при «освобождении» (см. ч. II, стр. 163) и нуждавшегося в земле крестьянства, с одной стороны, требовательность русского капитала, привыкшего в промышленности к высокому барышу [1]), с другой, направляли жадность помещика по другой линии, которая была «линией наименьшего сопротивления». Не продавая своей земли и не заводя на ней дорого стоящего капиталистического хозяйства, помещик просто отдавал землю в аренду нуждающимся крестьянам. Благодаря этому, арендные цены росли—притом быстрее, чем росли цены на хлеб. Цены на хлеб с середины 90-х годов до начала 900-х повысились, как мы помним, на 28%, арендные же цены на 113%. Так спешил использовать барин мужицкую «жадность». Другими словами, крестьянин не только должен был отдавать помещику весь «барыш», который мог у него очиститься, благодаря высоким хлебным ценам, но приплачивать еще из своего кармана. Где же тут было «прикопить» и из середняка сделаться «сельским буржуа»? Это удавалось разве 1 из 1000.

[1]) Для 50 приблизительно % наших крупных фабрик и заводов прибыль, по официальным данным, превышала 5%,—т. е. средний тогдашний % на капитал. Но по другим, официальным же, данным предприниматели никогда не называли настоящей своей прибыли...

Как такое положение вещей влияло на крестьянское движение, мы увидим несколько ниже. Пока остановимся на его влиянии на положение русской промышленности Совершенно ясно, что бурное развитие русской металлургии, которое мы только что видели, не могло опираться на развитие «внутреннего рынка» в настоящем смысле этого слова, т. е. на покупную способность крестьянского хозяйства. Потребление железа на душу населения была в России ниже, чем в какой-бы то ни было другой стране—всего 1,6 пуда в год, тогда как даже во Франции, оставшейся позади нас по общей металлургической производительности, душевое потребление железа составляло 4,2 пуда на душу в год, а в Англии оно доходило до 8,1 пудов, в Соединенных Штатах даже до 9,7, в шесть раз больше, чем в России На чем же держалась наша железоделательная промышленность? Ответ на это мы получим очень легко и скоро, если присмотримся к тому, что выделывали из огромных масс выплавлявшегося чугуна наши заводы. Тогда мы увидим, что от одной четверти до одной трети вырабатываемых ими продуктов составляли рельсы. Если прибавить к этому другие железнодорожные принадлежности—бандажи, скрепления, буксы, колеса, и т. д.,—то окажется, что наша металлургия обслуживала, главным образом, железнодорожное строительство.

Наш промышленный капитал еще раз, и самым наглядным образом, обнаруживал свою зависимость от капитала торгового. Открытием для русских займов всемирного денежного рынка, в лице парижской биржи, и посыпавшимся оттуда золотым дождем (см. ч. II, стр. 163) воспользовался, прежде всего, торговый капитал, чтобы докончить начатую им в 1860-х годах постройку русской железнодорожной сети. К началу 1892 г. длина этой сети была немного менее 32 тыс. верст—к началу 1902 она превышала 60 тыс. верст. Правда, и при этом на 1.000 квадр. верст пространства у нас приходилось железного пути в 4 раза менее, нежели даже в Соединенных Штатах, где еще достаточно пустырей—сравнение с густо населенными странами Западной Европы было бы для России еще менее выгодно (в Англии, напр., на 1.000 кв. верст имелось 119 верст жел.-дор., а в России всего $9^1/_4$ версты). Но в

капиталистическом обществе постройка железных дорог сообразуется не с потребностями массы населения—об них, об этих потребностях, только говорится, для «красоты слога»—а с возможными барышами частных предпринимателей или казны, если она является предпринимателем, или же со «стратегическими» (военными) и другими «государственными» надобностями. А так как буржуазное государство есть государство капиталистов, то «государственные» потребности суть потребности всего класса капиталистов в целом, в отличие от барышей каждого отдельного капиталиста.

Уже с конца 1880-х годов эта «государственная» точка зрения в русском железнодорожном строительстве брала верх над чисто-коммерческими соображениями—непосредственными интересами отдельных капиталистов и групп капиталистов. И уже тогда «государственные» соображения вывели русскую железнодорожную сеть за пределы Европейской России. В 1887 году была решена постройка Сибирской железной дороги. Образованное для этой цели совещание единогласно признало, что «в общегосударственном и, в особенности, в стратегическом отношениях ускорение сношений Европейской России с отдаленным Востоком становится с каждым годом все более неотложным», а потому дорогу надо строить, хотя никаких барышей «в ближайшем будущем» она и не обещает. На Сибирскую дорогу приходится отнести едва ли не половину всего роста русской металлургии 90-х годов. Целые новые заводы воздвигались специально для обслуживания этой линии. По мере приближения к концу ее постройки рельсовая производительность русской металлургии явно падает: в 1897 г. рельсы составляли 28,1% готового продукта этих заводов, в 1898—29,1%—а в 1899 только 26,5%. Особенно резко упала производительность главного поставщика рельсов, южно-русской металлургии: доводя до тех пор в среднем до 60% рельсов на весь «готовый продукт», поднимаясь иногда до 70% (1895 год), в 1899 году она вдруг спустилась до 44,5.

С окончанием железнодорожных построек начинался кризис русской металлургической промышленности. С 1901 года падает не только производство рельсов, но и общее количество выплавляемого чугуна, хотя и не-

значительно (с 177½ до 173 миллионов пудов). Число рабочих-металлистов на юге России с 45 тыс. в 1899 г. упало до 39 тысяч в 1901 г. Заработная плата, и до тех пор падавшая, как реальная заработная плата, т.-е. в переводе ее на продукты, какие можно было на нее купить, теперь начинает падать и номинально, по числу рублей. В 1901 году в среднем для всех производств на всю Россию она составляла еще 201 р. 37 коп. в год на человека—а в 1903 уже только 200 р. 33 коп. А хлеб все дорожал.

Массовое рабочее движение, самую возможность которого еще в 1895 году отрицал русский министр финансов, становится таким же неизбежным спутником русского капитализма, каким оно давно стало для капитализма западного. С чрезвычайной быстротой проходит это движение те ступеньки, по которым оно медленно взбиралось в более старых капиталистических странах, в десять лет вырастая из «мирной» борьбы рабочего за свои повседневные, будничные «интересы («за пятачок», как презрительно выражалась иногда мелкобуржуазная революционная интеллигенция, от этой необходимости бороться за пятачок судьбою избавленная) в настоящую рабочую революцию.

Уже в промежутке 1896—1903 годов, который мы теперь изучаем, в нем можно наметить три фазы (последовательных изменений). В первой фазе профессиональные («пятачковые») интересы еще решительно господствуют—как господствовали они в английском рабочем движении в течение целых 40 лет (примерно с 1850 по 1890 г.). Ядро забастовочной массы в это время составляют текстильщики: в 1897 году их бастовало, по официальным сведениям, до 47 тысяч (из общего числа забастовщиков в 60 тыс. человек)—тогда как металлистов в этом году бастовало лишь с небольшим 3 тысячи. Официальные цифры, конечно, и в том, и в другом случае ниже действительности, но так как они ниже действительности всюду, то взаимоотношение разных групп рабочих по ним можно установить довольно правильно [1].

---

[1]) Главная масса текстильных фабрик была сосредоточена в центральном промышленном районе, где рабочий являлся наполовину крестьянином, каждый рабочий имел свое хозяйство в деревне. Поэтому, предприниматель мог не доплачивать рабочему по сравнению с настоящим городским рабочим. И

Стачки в это время, как и полагается чисто «профессиональным» стачкам, стараются сохранить мирный характер—как мы видим, ставивший в тупик начальство. Если и в этом периоде встречаются нам забастовки, принимавшие бурный характер, сопровождавшиеся «уничтожением фабричного и другого имущества», как гласили правительственные сообщения, иногда даже разгромом фабрик, поджогами, убийствами особенно нелюбимых рабочими директоров, мастеров и т. д. (таков был ряд стачек в московской и владимирской губерниях в 1897—99 годах), то это было признаком невыдержанности, плохой организованности движения, а не его революционного характера. Чем лучше были организованы рабочие во время этих «профессиональных» стачек, чем они были сознательнее, тем спокойнее они себя держали: у питерских ткачей и следа не было того, чем ознаменовались стачки но «раскрестьянившихся» еще рабочих владимирской губернии.

На этом «мирном», переволюционном характере первых больших забастовок 90-х годов возникали различные иллюзии (обманчивые мнения, заблуждения) современной им революционной интеллигенции. Мы видели, что кружки революционеров-интеллигентов, пытавшихся в своей борьбе с царским правительством опереться на рабочие массы, сделать главным средством этой борьбы рабочее движение, стали возникать еще в первой половине 1890-х годов (так называемые «Союзы борьбы за освобождение рабочего класса», см.

действительно, в 1890 году заработная плата текстилей была ниже средней заработной платы по всей России: она равнялась 166 рублей в год, в то время, как заработная плата по всем производствам в среднем составляла 179 рублей. Что касается петроградских текстилей, они не были крестьянами из соседних деревень. Это были типичные городские пролетарии. Но поскольку цены устанавливались московским районом, петроградские предприниматели отказывались выплачивать своим рабочим такую же плату, какую выплачивали хозяева металлисты. В то время, как металлист получал в Питере в среднем 363 рубля в год, текстильщик получал только 205 рублей, при чем у металлистов был 11—10-часовой рабочий день, у текстильщиков был 14-часовой рабочий день. Это должно было создать стимул для недовольства среди питерских текстильщиков, и нет ничего удивительного, что среди них вспыхнула забастовка. Конечно, кроме экономического момента тут должен был сыграть роль известный политический момент: непрерывное существование рабочих кружков почти на всех фабриках Петербурга должно было подготовить известную почву.

ч. 2, стр. 191). Первоначально эти кружки, верные последователи марксизма «Группы освобождения труда», сплошь стояли на почве революционной, классовой борьбы. В погромах фабрик они видели проявление бессознательной революционности пролетариата. Популярная в этой среде брошюра «Царь-Голод» писала: «История погромов показывает нам, какая громадная сила заключается в соединенном протесте рабочих. Необходимо только позаботиться о том, чтобы эта сила употреблялась сознательнее, чтобы она не тратилась даром на месть тому или другому отдельному хозяину, на погром той или другой ненавистной фабрики или завода, чтобы вся сила этого возмущения и этой ненависти направлялась против всех фабрикантов и заводчиков вместе, против всего их класса и шла на постоянную упорную борьбу с ним. Сталкиваясь с начальством, рабочие поймут, что правительство и его чиновники держат сторону хозяев, а законы составляются так, чтобы хозяину было легче прижимать рабочего. Понявши это, рабочие поведут борьбу не только с хозяевами, но и с теми несправедливыми порядками, которые установлены законом». Но кажущаяся нереволюционность как раз наиболее развитых умственно рабочих скоро стала сбивать с этого правильного пути часть—и большую—нашей революционной интеллигенции. Среди нее стало складываться, последовательно, два новых течения. Одно, укрепившееся, главным образом, в Петербурге, после ряда разгромов Петербургского «Союза борьбы» (только в течение весны 1897 г., потерявшего 64 человека, благодаря арестам) и нашедшее себе выражение в газете «Рабочая Мысль», начало видеть в экономической борьбе главную задачу рабочего класса, чем снова, по образцу народников 1870-х годов, политика сама собою оказывалась «буржуазным» делом. Явные успехи профессиональной агитации, все увеличивавшееся число все более крупных экономических стачек (как раз у текстильщиков стачки носили наиболее крупный характер—в среднем за десятилетие 1895—1904 г. 692 рабочих на 1 забастовку, тогда как металлисты давали только 348 человек, остальные еще меньше) кружили голову этим «экономистам», совершенно заслоняя от них, отодвигая в их глазах на третий план политическую классовую борьбу. Совершенно естествен-

но, что, когда политическая борьба, помимо их желания и предвидения, началась, большая часть их вождей (Прокопович, Кускова и др.) оказались не в рядах пролетариата, а в рядах буржуазии.

Но тот же неправильный вывод о неполитическом, будто-бы, характере рабочего движения у людей иного склада, по своему характеру напоминавших народовольцев 1870-х гг., создал совсем другие стремления. Рабочий—нереволюционер, рассуждали эти люди—опираясь не только на примеры русского рабочего движения, но и на то, что они знали об английском, например, рабочем движении (отчего английские рабочие, в течение XIX века, были нереволюционны, мы уже знаем). От него революционной инициативы не дождешься. Значит, эту инициативу должна взять на себя интеллигенция. В чем же может выразиться этот революционный почин интеллигенции? Как она может своим примером показать путь рабочему к революции? Очевидно, одним путем—путем личного террора. Убить какого-нибудь губернатора, который особенно свирепо усмиряет стачки, вот рабочие и поймут, что надо делать.

Из этого второго интеллигентского течения, складывавшегося позднее, вышла в первые годы XX века партия социалистов-революционеров. Если «экономистов» их тактика отводила в сторону от политики, социалистов-революционеров их тактика вела в сторону от рабочего класса. Но она еще не сближала их пока и с крупной буржуазией, боявшейся террора не меньше, чем забастовок. Классовой опорой социалистов-революционеров стали, естественно, те группы населения, где был силен хозяйственный, экономический индивидуализм, где люди работали не в строю, как фабричный пролетариат, а в одиночку. Такой группой была, прежде всего, мелкобуржуазная интеллигенция, в первую голову студенчество, давшее больше всего бойцов возродившемуся терроризму, затем земский «третий элемент», статистики, агрономы, учителя. А когда движение охватило широкие массы, социалисты-революционеры должны были искать опоры в крестьянстве. Когда мы перейдем к массовому движению мелкой буржуазии, городской и сельской, мы и займемся ими подробнее.

Все эти внутренние трения среди русских марксистов сильно мешали образованию в России политической рабочей партии. Номинально, российская социал-демократическая рабочая партия возникла в марте 1898 года, на съезде в Минске, где были представители организаций Москвы, Петербурга, Киева, Екатеринослава и «Всеобщего Еврейского Союза» (теперь больше известного под именем «Бунда»). Съезд издал манифест, и уже одно то, что этот манифест был написан не одним из руководителей революционного рабочего движения, а «легальным марксистом» [1]) Струве (будущим министром Врангеля, теперь одним из вождей русской монархической реакции), который одновременно «обслуживал» литературным путем и земских либералов, показывает, как слабы были силы новой партии на первых шагах. Ее лучшие работники были в это время в тюрьме, в ссылке или же за границей. Только в конце 1900 года, с образованием за границей основной руководящей группы, в лице редакции газеты «Искра», начинается планомерная и широкая работа по подготовке рабочей революции—при чем стоит отметить, что уже в объявлении об издании «Искры» редакции пришлось отмежевываться от автора первого партийного манифеста Петра Струве. «Основные идеи манифеста мы разделяем»,—говорила редакция,—«но со Струве у нас нет ничего общего». И только на втором съезде С.-Д. партии (в августе 1903 г.), который, фактически, и был первым, партия получила свою настоящую, боевую организацию [2]).

Но было бы, конечно, полным противоречием историческому методу марксизма объяснять эту перемену исключительно влиянием издававшейся за границей газеты. Газета «Искра» могла явиться организующим центром, но она должна была иметь, что организовать. Этот материал для организации и дала новая фаза рабочего движения, вторая по счету, и близко следовавшая за ней третья, все яснее и яснее указывавшие, что рабочее движение в России может и долж-

---

[1]) О „легальном марксизме“ см. ниже, по поводу движения мелкобуржуазной интеллигенции вообще.

[2]) Мы касаемся истории партии лишь постольку, поскольку это необходимо для понимания общего хода событий—подробности читатели найдут в специальной[?]ке, посвященной истории Р. К. П.

но быть политически организовано. Это настолько било в глаза, что за организацию принимались не только революционеры, но и царские чиновники: ибо наиболее проницательные из последних не могли не видеть, что, если не перехватить рабочей организации во время и не направить ее по «законному» руслу, она пойдет непременно по руслу революционному.

Внешним признаком второй фазы движения было, во- первых, то, что она опиралась теперь не на текстильщиков (хотя и они далеко не сошли со сцены), а на металлистов. Мы видели, что в 1897 году последние дали немного более 3 тысяч забастовщиков из 60 тысяч—а текстильщики 47 тысяч. В 1899 году из общей массы, немного меньшей, металлисты дали почти 20 тысяч, а текстильщики только 15 тысяч; а в 1903 году, из 87 тысяч бастовавших, металлистов было 31 тысяча, а текстильщиков менее 20. Все это опять таки, повторяем, цифры казенные, которые далеко ниже действительности (в 1903 году на одном только юге России бастовало до 225 тысяч человек), но соотношение между отдельными группами рабочих они дают правильное.

Что же обозначало это появление на сцене армии металлистов? Во-первых, что движение захватило наиболее хорошо обставленный и наилучше оплачиваемый слой рабочего класса России. В то время, как среднее вознаграждение текстильщика в 1900 году составляло у нас 170 руб. в год, средняя заработная плата металлиста равнялась 341 руб., ровно вдвое больше. В то время, как для текстильщиков рабочий день до закона 1897 года колебался между 12 и 14 часами, для металлистов он и тогда не превышал 11, спускаясь не слишком редко и до 10. В комиссии 1897 года даже фабриканты-металлисты соглашались на 10½ часов, тогда как фабриканты-текстильщики вопили, что меньше, чем при 12 часовом рабочем дне, они погибнут. Теперь дело шло уже не о профессиональных интересах какой-нибудь одной группы рабочих, хотя бы и очень крупной, а о страданиях всего рабочего класса, страданиях, чувствительных и для наилучше обеспеченных представителей этого класса. Образовывалась почва для общеклассового движения, которое не могло ни в каком случае остаться «экономическим», потому

что классовая борьба есть всегда борьба политическая, борьба за власть. Это прекрасно понимали английские фабриканты, и для того, чтобы удержать своих рабочих на «экономической» стадии движения, они не только «прикармливали» их, но и старались раздробить, распылить рабочее движение, заботливо поддерживая мелкие рабочие союзы, число членов, которых иногда не превышало сотни человек (был в Англии в XIX в. даже один союз, где считалось всего 6 членов). Переход английского движения в революционную фазу, в XX веке, и отмечен окрупнением рабочих союзов, мы потом займемся этим подробнее. У нас союзы и стачки в то время были просто напросто запрещены, но помешать окрупнению рабочего движения не могли никакие запреты.

Другое, на что указывает вступление металлистов, это было прямое влияние того промышленного кризиса, о котором мы говорили. В текстильной промышленности кризис почти не почувствовался: количество переработанного русскими фабриками хлопка с 1897 г. по 1900 г. даже увеличилось, с 14 до 18 милл. пудов. Здесь, таким образом, борьба шла за улучшение обычного положения рабочего, и исход борьбы зависел от того, какая сторона сильнее, фабрикант или эксплоатируемый им пролетарий. Но последнему для победы вовсе не нужно было ломать всего буржуазного порядка—оттого во всех европейских странах такая борьба и носит вполне легальный (допускаемый законом), «экономический» характер. У нас дело было иначе, так как стачка была преступлением, караемым законом, но иначе больше на бумаге. Когда забастовавших в 1898 г. рабочих ткацкой и бумагопрядильной фабрики Нечаева-Мальцева попробовали отдать под суд, суд не нашел в деле «состава преступления», и рабочие были оправданы. Полиция расправлялась, поэтому, со стачечниками вне-судебным порядком—но так расправлялась и французская, и немецкая полиция, по крайней мере в случаях больших стачек, охватывавших целое производство, например, или разразившихся в каком-нибудь очень большом предприятии. Разница между Россией и заграницей была, главным образом, в большей грубости русской расправы—у нас забастовщиков и высечь иной раз могли, чего во Франции, конечно, делать не смели

(хотя избиения в участках и там были заурядным явлением). Словом, разница между легальным, «экономическим», и нелегальным, революционным, рабочим движением была не столько в том, что первое на бумаге может быть дозволено, а в том, что первое сталкивается с интересами отдельного буржуа, а второе со всем буржуазным строем. Таким всегда и бывает рабочее движение во время кризиса.

Кризис создает не злая воля отдельного буржуа, а весь буржуазный строй. Никогда рабочий не чувствует так тяжести этого строя, как во время кризиса, и ничто не делает рабочего движения так прочно-революционным, как кризис.

Изменение характера движения тотчас же выразилось в новых требованиях бастовавших: на место прежних, узко «практических» требований, доходивших до мелочей, иной раз смешноватых (в роде спора о том, кто должен платить за истребление клопов в рабочих «каморках», хозяин или сами рабочие), появляется принципиальное, общепролетарское не только для России, а для всего мира требование 8-часового рабочего дня. Металлистам просто физически легче было его выдвинуть, ибо 10-часовой день у некоторых из них был уже завоеван к 1901 году, а текстильщикам даже в Петербурге еще в 1903 году приходилось бороться за 13-часовой. Из металлистов раньше всего выступили с этим требованием рабочие железнодорожных мастерских (в Тифлисе, в октябре 1901 года; но уже очень скоро, в марте 1902 г., за ними последовал Воткинский завод), и это тоже не случайность. Дело в том, что железнодорожные мастерские имели наименее постоянный состав рабочих—рабочие там постоянно менялись, передвигаясь по мере надобностей железнодорожной сети из одних мастерских в другие. Оттого движение по мастерским вспыхивало в одних за другими, распространяясь, как по зажигательной нитке. В 1901 году бастовали саратовские мастерские (2 раза), тамбовские и тифлисские; в 1902 г. красноярские и Владикавказской жел. дороги (в Ростове на Дону)—подавшие сигнал к одной из самых громадных забастовок этой эпохи в России; в 1903—«Варшавские» (в Петербурге) и «Юго-восточные» (в Борисоглебске), и т. д., и т. д.

Требование 8-часового дня было вызовом, брошенным

уже всему капиталистическому строю—недаром первый международный конгресс поставил его в число очередных лозунгов 1-го мая. Это одностороннее требование пролетаритата—заявление им своего права, совершенно не считающееся с интересами хозяев, как неизбежно считалась с ними всякая «экономическая», нереволюционная забастовка. Для отдельного предпринимателя 8-часовой день объективно (в силу вещей) неосуществим—разве что налицо есть какие-нибудь исключительно благоприятные обстоятельства. Так, после 1905—7 гг. иные крупные русские предприниматели в частных разговорах соглашались на 8-часовой день, под условием дальнейшего увеличения таможенных пошлин: налогом на всех покупателей их товара они надеялись заткнуть ту дыру, которую образовал бы в их барышах 8-часовой рабочий день. Вообще же говоря, это такое понижение предпринимательской прибыли, что даже говорить о нем буржуа соглашается лишь под угрозой худшего: после октябрьской забастовки и декабрьских баррикад 1905 года программа кадетской партии залепетала о 8-часовом рабочем дне «по возможности». Как будто есть возможность отнять у буржуа выжатый им из рабочего рубль иначе, как силой?

Явно революционный характер, принятый теперь рабочим движением, заставил задуматься над ним и царское правительство, в лице тех его чиновников, на которых ложилась забота об охране «порядка». Уже в 1901 году Святополк-Мирский (будущий, во время русско-японской войны министр «доверия», а в это время шеф жандармов, т.-е. начальник всей политической полиции) писал: «Поставив себе конечной целью создать из рабочих организованные массы для борьбы с правительством за осуществление своих идей, агитаторы, к сожалению, значительно успели в этом. В последние 3—4 года из добродушного русского парня выработался своеобразный тип полуграмотного интеллигента, почитающего своим долгом отрицать религию и семью, пренебрегать законом, не повиноваться власти и глумиться над ней. Такой молодежи, к счастью, имеется в заводе еще немного, но эта ничтожная горсть террористически руководит всей остальной инертной массой рабочих». Естественно, что

жандарму рабочий-революционер рисовался в самых мрачных красках, но важно признание этого жандарма, что рабочий революционер теперь руководит массой. И когда перед жандармами вставал вопрос, как же быть? Как же с этим бороться? Ответ получался весьма неожиданный— делать то самое, что делают агитаторы, только, так сказать, с обратным знаком, не против царя, а в пользу царя. Одесский градоначальник Шувалов еще в 1899 году, поставив самому себе вопрос: «Что же делать?», отвечал на него: «Необходимо открыть пути для образования, нужно облегчить устройство читален и библиотек, организовать народные чтения, возможно широко распространять среди рабочих дешевые книги, даже бесплатно, могущие им представить как местный, так и общий интерес...» Эти книги, по мнению Шувалова, могли бы успешно конкурировать с «подпольной литературой, занятой гораздо более отрицанием». А главное «нужно сократить рабочее время. Обязательно создать выборных от рабочих для наблюдения за исправным приготовлением пищи, построить хорошие жилища», и т. д.

Так уже в последние годы XIX века набрасывалась программа того, что расцвело, сначала в Москве, а потом и по всей России, в первые годы нынешнего столетия, под всякому известным теперь именем зубатовщины. Начальник московской охранки, давший всему «учреждению» свое имя, вовсе не был единолично его изобретателем. Идея «носилась в воздухе». 14 февраля 1902 г. в Москве был утвержден устав «Общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве». Общество должно было быть чисто-пролетарской организацией—в его ряды отнюдь не допускалась «мелкая интеллигенция» (иначе «агитаторы»): в виде исключения только членами-соревнователями могли быть чины фабричной инспекции и полиции, лица, принадлежащие к составу администрации фабрик и заводов, а также священно-и церковно-служители [1]). Изолированные таким путем от всяких «вредных» влияний, московские метал-

---

[1]) Буржуй, шпик и поп, как видим, объединены в одно целое вовсе не злодеями-большевиками в 1917 году—за 16 лет до этого они сами себя объединяли в трогательном содружестве, как товарищи по общей работе.

листы были за то окружены самым близким, самым нежным, можно сказать, попечением главного начальника московской полиции—тогда знаменитого обер-полицеймейстера Трепова. Обер-полицеймейстер следил за сохранностью кассы общества, предварительно просматривал и утверждал все издаваемые им инструкции, посылал на все заседания своих представителей—мог ставить на этих заседаниях любые вопросы, и, если удостаивал явиться сам, получал... двадцать голосов. После этого совершенно ясно, что полицеймейстер не мог оставить общества на кого-нибудь, что он должен был следить и за выборами в правление, и для простоты дела он это правление по-просту назначал, из выбранных общим собранием кандидатов.

14 февраля был утвержден этот устав, а 19 февраля того же 1902 года 50.000 рабочих присутствовали в Кремле при «торжественном молитвословии» у памятника Александра II. «Такая громада»—как с гордостью называл это сборище Зубатов—даже несколько испугала министерство внутренних дел, которое разослало особый циркуляр, где говорилось, что это очень хорошо, конечно, но чтобы больше не повторялось.

Опасения министерства внутренних дел, как очень скоро обнаружилось, были отнюдь не без оснований. Для малосознательной политически массы,—а политически в это время малосознательно было еще большинство рабочих,—не смущавшейся фигурой полицеймейстера (прикрытой, вдобавок, более «почтенными» фигурами профессоров московского университета, которые занимались «просвещением» рабочих и вообще непосредственно «вели дело») зубатовщина была огромным толчком вперед в деле развития классового сознания—понимания классовой противоположности интересов рабочего и фабриканта. Аляповато подражая революционным агитаторам—мы помним, что вся затея была сплошной подделкой под социал-демократическую агитацию, в этом была суть дела—агенты Зубатова договаривались до обещаний, что правительство скоро велит отобрать фабрики у хозяев и передаст их рабочим. Правительство-де готово все сделать для рабочих, если те не будут слушать «мелких интеллигентов». В отдельных забастовках полиция прямо поддерживала стачечников, выдавала им пособие и т. под. Под влиянием

всего этого рабочие-зубатовцы начинали говорить, что «прошло теперь время, когда были рабовладельцы и рабы, и когда рабы, уподобляясь пчелам, кормили своих господ даром: теперь и рабы будут жить, как господа». Английские предприниматели, в числе прочих средств для сохранения своего господства, между прочим, тщательно оберегали рабочих от развития у них классового сознания—всячески поддерживали в рабочих мысль, что интересы их и предпринимателей не противоположны, что работник и хозяин всегда могут столковаться. Русский предприниматель, не идя ни на какие уступки, толкал как раз в противоположном направлении.

Эта неуступчивость российского предпринимателя и сорвала окончательно «зубатовщину». Казалось бы, нетрудно было понять, что «полицейский социализм», будучи страховкой от социализма настоящего, требует страховой премии—за страховку надо платить. Тем не менее, как только фабриканты почувствовали зубатовщину на своем кармане, они завопили. Мы помним, что у нас всячески старались привлекать в русскую промышленность иностранные капиталы. Их владельцы смотрели, разумеется, на Россию, как на дикую страну, население которой на то и существует, чтобы своим трудом набивать их, капиталистов, карманы. Когда случалась забастовка на их заводе, и полиция ее «усмиряла», они еще терпели—это была картина им знакомая. Но когда полиция поддерживала забастовку, этого они ни понять, ни стерпеть не могли. Зубатовская забастовка на фабрике, принадлежавшей «французским гражданам», вызвала огромный скандал, доходивший до вмешательства французского посла и т. п. Московские текстильщики, принадлежавшие, как мы уже знаем, к самым жадным и тупым эксплоататорам, воспользовались скандалом и усилили свои вопли. Страх «полицейского социализма» сделал их даже на минуту европейцами—пусть уж лучше у нас, как во Франции, рассуждали они, российская манера дороже обходится. Под их давлением министерство финансов выступило с проектами учреждения ф а б р и ч н ы х с т а р о с т, выбираемых рабочими—и даже с проектом узаконения в России стачек. Первый закон и был издан (10 июня 1903 г.), проект второго остался памятником паники, охватившей предпринимательские круги. Но панику

успокоили более простым средством: в том же 1903 году Зубатов был уволен. Как всегда, неудачу отнесли на счет отдельного лица. С идеей не расстались—и зубатовщина была даже перенесена в Петербург, где для нее нашлись более «надежные руки», в лице священника Георгия Гапона...

Какую роль сыграла эта новая попытка полицейского социализма в развитии рабочей революции, мы увидим ниже. Роста классового сознания, на почве все обострявшегося промышленного кризиса, зубатовщина остановить не могла—напротив, помимо своей воли она способствовала этому росту.

С первых же лет нового столетия рабочее движение делает два новых шага вперед. Во-первых, оно выходит за стены фабрик и за пределы рабочих кварталов и поселков, выходит на улицы больших городов. Во-вторых, оно принимает характер открытой борьбы уже не только с фабрикантами и их слугами, а со слугами царского правительства. Стачки начинают осложняться демонстрациями. Кто не видал этих первых выступлений русской народной массы против вооруженной силы, против полиции, казаков и жандармов, тот с трудом представит себе то впечатление, какое производили демонстрации и на самое массу, и на ту буржуазную и интеллигентскую толпу, которая была (кроме студентов) больше свидетельницей, чем участницей движения. Точно плотину какую-то прорвало, ледоход какой-то пошел. «Да, кажется, у нас дело пойдет по-французски, а не по-немецки!»—говорили среди интеллигентской публики. Вид толпы, которая явно не боялась казаков, которая не разбегалась при первом же явлении «защитников порядка», но отвечала им удар на удар, уступив, наконец, силе оружия, являлась на следующий и еще на следующий день все в большем и большем числе, эта картина сразу унесла куда-то вчера еще всеобщую веру в несокрушимость самодержавия. Все понимали, что падение этого последнего теперь только вопрос количества: то же движение раз в пятнадцать-двадцать «погуще», помассивнее и пошире—и революция налицо. И даже буржуазия, для которой невозможность революции в России была догматом, оправдывавшим и ее холопскую трусость перед царской властью, и ее бесстыдство и

жадность по отношению к рабочим, даже она усумнилась в прочности ее идолов—и заговорила... о конституции.

Демонстрации начались харьковской, 19 февраля 1901 года, по поводу сорокалетия освобождения крестьян, но особенно внушительны были московские демонстрации 23—26 февраля того же года. В них-то именно и почувствовалось впервые дыхание революции. Организованы они были студенчеством, но революционными их сделали рабочие, в Москве участвовавшие в демонстрациях десятками тысяч и отбившие целый ряд казацких атак «в нагайки». Впервые на улицах Москвы появились баррикады,—отдаленные предвестники декабря 1905 года. Демонстрации продолжались потом в Петербурге (в марте и в особенности в мае, когда дело дошло до грандиозного побоища рабочих Обуховского завода с войсками, при чем было 6 убитых и 8 раненых со стороны рабочих). Но досталось и полиции, в Тифлисе (в апреле), в Екатеринославе (в декабре) и в ряде других городов. Это были лишь первые порывы шквала; поздняя осень следующего 1902 года была свидетельницей события, которое в истории русского рабочего движения может считаться таким же переломным пунктом, как морозовская стачка 1885 года в свое время. То была знаменитая ростовская забастовка ноября 1902 года, начавшаяся, как водится, в железнодорожных мастерских и захватившая скоро все крупные предприятия города. Настроение рабочих было таково, что целую неделю начальство не решалось к ним приступиться. «Происходило нечто невиданное и неслыханное в России», рассказывает один современный отчет: «ежедневные многолюдные митинги под открытым небом, многотысячная толпа, с замиранием сердца внимающая смелым речам о самодержавии, о чиновничьем произволе и насилии, о пристрастии судов, о капиталистической эксплоатации, толпа, громкими криками отвечающая «да» на вопрос оратора: «нужна ли нам политическая свобода?» Тут же самая разнообразная публика, сбегавшаяся со всего Ростова на невиданное зрелище: рабочие, оставлявшие мастерские, чтобы пойти «послушать» на сходку, мещане, купцы, чиновники, дамы в экипажах с лорнетками в руках. И тут же растерянное начальство, не знающее, что предпринять, полиция

и казаки, слушающие речи социал-демократического оратора». Придя в себя понемногу, начальство поняло, что тут нужны уже не нагайки и шашки—а пули: залпом в толпу казаки положили 6 убитых и 12 тяжело раненых. Но сейчас же ускакали, а расстрел даже не положил конца митингам. Русский рабочий уже в 1902 году решительно переставал быть верноподданным...

Год спустя, летом 1903-го, этот рабочий встал на ноги уже не в одном городе, а на всем юге России, от Одессы до Баку. Это был первый пример в России всеобщей стачки, во всех производствах захватившей, как мы уже говорили, более 200 тысяч человек. Если весною 1901 года перед московскою публикой впервые промелькнула тень будущих декабрьских баррикад, то теперь Одесса, Киев, Екатеринослав и Баку имели перед собою первый набросок картины, окончательно дорисованной октябрем 1905 года. «Своеобразен был вид больших городов во время стачки»,—рассказывает тот же, цитированный нами выше современный отчет. «Все магазины, конторы, пекарни, мастерские закрыты; конки и трамваи не ходят; извозчиков почти не видно; газет нет; поезда стоят на станциях; горы товаров заваливают платформы; пароходы и шхуны стоят в рейдах приморских городов без движения. Продукты дорожают. Нет ни хлеба, ни мяса. Небольшое количество хлеба берут с боя. Нет ни электричества, ни газа, вечером на улицах темно, а в квартирах плохое освещение свечами. Улицы не подметаются, нет ни разносчиков, ни носильщиков, ни даже чистильщиков сапог (!). Полный застой торговой и промышленной жизни в городе, но зато огромное оживление и возбуждение города в общественном отношении. Тысячные толпы рабочих ходят по улицам, устраивают сходки, митинги, на которых социал-демократические ораторы произносят речи, демонстрации с красными знаменами в руках. Раздаются революционные песни и крики. Масса патрулей, полиции, городовых и солдат».

В Москве в 1901 году была еще толпа почти исключительно рабочая по составу, но шедшая рядом и отчасти за мелкобуржуазной интеллигенцией. В Петербурге, в обуховской стачке, налицо были уже восставшие рабочие, но пока еще одного города, и даже одного—двух пред-

приятий (кроме обуховцев, в выступлении участвовали ткацкие фабрики Выборгской стороны). На юге России летом 1903 года был класс, были уже не «рабочие», был пролетариат. И как бы для того, чтобы подчеркнуть его полное классовое единство, в Одессе чрезвычайно деятельное участие в подготовке стачки приняли местные зубатовские организации, возглавлявшиеся там некиим Шаевичем. Когда этот последний выступил перед рабочим собранием, и, пытаясь вразумить своих недавних «птенцов», спросил их: «чего вы хотите? головой об стену или сверлить ее?». Раздался единодушный ответ: «головой об стену». Полицейский социализм сам выкопал себе могилу...

ГЛАВА III.

Массовое движение мелкой буржуазии в городе и в деревне.

Демонстрации 1901 года напомнили широким кругам интеллигентской публики, что революция в России вовсе не «снята с очереди», как казалось упылым «восьмидесятникам». Слово «революция» начинает носиться в воздухе и повторяться все чаще. Начинают,—разумеется, не в России, где царская цензура еще не была «снята с очереди», а за границей—появляться журналы под выразительными заглавиями, как «Вестник русской революции» (издававшийся социалистами-революционерами). Революция в городе заставляла пересмотреть заново и вопрос о деревне. Со времени неудачи «хождения в народ» привыкли думать, что там все тихо и мертво. Но, собрав кое-какие сведения, один из сотрудников только что называвшегося «Вестника русской революции» пришел к иному выводу. «Крестьяне непрерывно борются своими средствами: потравой, порчей орудий, красным петухом за улучшение арендных условий, за повышение заработной платы...». «Бывают случаи, когда аграрные отношения обостряются до такой степени, что крестьяне, потеряв терпение, разносят помещичьи усадьбы: например, 7 мая 1898 г. крестьяне «Золотой Балки», Херсонской губ., толпой в 200 человек, вооруженные кольями, являлись выручать загнанный скот. С криками: «долго-ль нам терпеть, разорим все», толпа произвела полный р а з г р о м помещичьего дома и служб».

Автор, писавший осенью 1901 года, за последние перед этим годы нашел, даже на основании только газетных сведений,

примеры крестьянских волнений на всем юге и западе России и, кроме того, в центральных губерниях, Московской и Костромской; а в газеты попадали далеко не все случаи. В августе 1901 г. из Воронежской губернии писали: «У нас в воздухе висит что-то зловещее: каждый день на горизонте зарево пожаров; по земле стелется кровавый туман, дышится и живется трудно, точно перед грозой. Мужик угрюмо молчит, а если и заговорит иногда, то так, что мороз по коже подирает».

Деревня была уже не та, что за двадцать лет раньше. Причины этого мы отчасти уже видели (см. выше, стр. 20 и сл. И ч. II, стр. 164 и сл.). Из мертвой петли, накинутой на шею крестьянина «освобождением с землей», удавалось высвободиться лишь небольшому меньшинству: от 6 до 9 десятых всей купленной крестьянами земли и от 5 до 9 десятых аренды сосредоточивались в руках одной пятой доли дворов. Наиболее зажиточная часть этого меньшинства прямо наживалась на разорении большинства. По отчетам сберегательных касс за 1899 год, в руках крестьян было 640 тысяч сберегательных книжек, на которые было записано 126 милл. рублей. Но всего крестьянских семей считалось тогда в России около 10½ миллионов, так что счастливцы, обладавшие «вкладами», составляли не много более $^1/_{20}$. Зато каждый из русских «сберегателей» был крупнее даже французского: во Франции на каждого владельца сберегательной книжки приходилось около 160 рублей, а у нас на каждую «крестьянскую» книжку—197 рублей. При этом быстрее всего шло накопление вкладов в русских сберегательных кассах именно в голодные годы, 1891 и 1892.

Так уже в конце XIX века намечался в русской деревне тот слой «крепкого крестьянства», сельской буржуазии, на который должна была опереться впоследствии столыпинская реакция. Но пока наличность этой сельской буржуазии только резче подчеркивала разорение крестьянской массы: направлена была пока крестьянская революция не против кулаков. Сельский буржуа все же еще сам работал в поле со своей семьей, хотя и принанимал батрака: для крестьянина он был еще свой брат, и до поры до времени у него были с крестьянином-бедняком даже общие интересы. Завистливые глаза этого бедняка легко было отвести на со-

седнюю помещичью землю, в двадцать раз обширнее кулацкой (мы видели, что сельской буржуазии, удавалось скупить лишь ничтожную часть помещичьей собственности), владелец которой «ничего не делал», по представлению крестьян,— да по большей части ничего не делал полезного и в действительности. Он был настоящим тунеядцем не только для бедняка, но и для кулака. Последний в своей ненависти к тунеядцу-помещику шел даже впереди крестьянской массы. Еще наблюдатели 70-х годов заметили, что кулаки— «первые либералы в деревне». Революционные агитаторы начала XX века должны были убедиться в этом еще раз. И социал-демократы, и социалисты-революционеры одинаково легче всего находили приют в зажиточных крестьянских семьях. Рассуждения социалиста-революционера на ту тему, что земля общая, нисколько не смущали кулака. Земля, конечно, божья,—но бог может у одного за грехи отнять, а другому за его добродетели прибавить. Коли у меня четыре лошади, так как же мне не иметь вчетверо больше земли, чем тому, у кого лошадь всего одна? И только, когда агитатор из социал-демократов начинал напирать на классовую борьбу, лицо его хозяина-кулака, темнело, и он мрачно спрашивал у своего гостя: «Так что же я буржа, по-твоему?»

Случаи поджога кулаков, случаи бойкота [1]) кулаков изредка нам встречаются и в эту пору; но то были редкие исключения. Пока не была поделена помещичья земля, иными словами, пока в деревне не исчезли остатки феодализма, там было мало места для классовой борьбы и для социал-демократической пропаганды. А феодальная собственность, хотя и сильно уменьшившаяся с 1861 года (на черноземе помещики сохранили только 70% земли, бывшей в их собственности на другой день крестьянской реформы, а в нечерноземных губерниях даже только 58%), все же составляла больше половины крестьянской надельной земли (около 70 милл. десятин, а под крестьянскими наделами

---

[1]) Отказ наниматься на работу, отказ продавать что бы то ни было и т. под. Таким путем ирландские крестьяне в 1880-х гг. выжили своего помещика Бойкота,—отсюда и название.

было 137 миллионов десятин). Каждый крестьянин-бедняк мог, таким образом, рассчитывать в $1^1/_2$ раза увеличить свой надел насчет помещика. И притом для крестьянина то была уже его земля, политая его потом, которую он уже обрабатывал или в качестве арендатора, или на условии отработок за «отрезки». Переход этой земли в непосредственное распоряжение крестьян был бы успехом не только для них, но и для народного хозяйства самого по себе. 70 миллионов десятин, являвшихся остатком крепостного права, составляли всего $3^0/_0$ всех земельных владений в России: и если на сельскую буржуазию приходилось в среднем всего по 47 десятин на двор, на каждого помещика приходилось по 2.333 десятины. В очень редких случаях обработка такой площади могла быть поставлена как следует, по-капиталистически. В подавляющем большинстве случаев эта земля была лишь орудием ростовщичества: владелец, не внося в нее ничего сам, только выжимал при ее помощи из крестьян доходы, являвшиеся по сути дела продолжением или заменой старого оброка или барщины. Пока этот остаток крепостничества не был изжит, направлять деревенскую бедноту против кулачества, или предоставлять этому кулачеству расширять свои владения насчет падавших мелких хозяйств—было одинаково искусственно. Социалистическая пропаганда в деревне начала 90-х годов была еще так же не ко времени, как и сменившее ее столыпинское законодательство с его «ставкой на сильного», т.-е. на кулака. И то, и другое должно было потерпеть неудачу.

Социал-демократическая партия—по крайней мере левое ее крыло—прекрасно видела это с самого начала. «В современной русской деревне совмещаются двоякого рода классовые противоположности», писала «Искра» весною 1901 года: «во-первых, между сельскими рабочими и сельскими предпринимателями, во-вторых, между всем крестьянством и всем помещичьим классом. Первая противоположность развивается и растет, вторая—постепенно ослабевает. Первая—вся еще в будущем, вторая—в значительной степени уже в прошлом. И, несмотря на это, для современных русских социал-демократов именно вторая противоположность имеет наиболее существенное и наиболее практически важное значение... Наши

сельские рабочие еще слишком тесно связаны с крестьянством, над ними слишком еще тяготеют общекрестьянские бедствия, и поэтому общенационального значения движение сельских русских рабочих никак не может получить ни теперь, ни в ближайшем будущем. Наоборот, вопрос о сметании остатков крепостничества, о вытравлении из всех порядков русского государства духа сословной неравноправности и принижения десятков миллионов «простонародья»,—этот вопрос уже сейчас имеет общенациональное значение, и партия, претендующая на роль передового борца за свободу, не может отстраниться от этого вопроса».

Царское правительство чуяло опасность и, по-своему, спешило ее предупредить. В правящих кругах говорили, что студенческие волнения (они как раз обострились перед этим—об этом мы еще скажем ниже)—пустяки, и с рабочими справятся, но вот, если поднимется деревня, может быть плохо. 22 марта 1902 г. было учреждено «Особое совещание о нуждах сельско-хозяйственной промышленности», под председательством министра финансов Витте, самого умного и способного из царских слуг не только этого времени, но и вообще всей эпохи после 1881 года. К счастью для революции и к несчастью для «Романовых», Николай не выносил Витте,—как вообще тупые и ограниченные люди не выносят всего, чего они не могут понять: а проекты Витте, хотя сами по себе довольно простые, были слишком сложны и трудны для такой головы, какой была голова последнего русского самодержца.. Революционное движение, стачки, демонстрации, напоминали Николаю, прежде всего, о другом, о 1 марта 1881 года и об участи его деда Александра II. Им начинал овладевать панический страх бомбы. Самыми нужными ему людьми казались ему теперь не экономисты и финансисты, а шпионы и полицейские. Корпусу жандармов он прямо объяснялся в любви. Принимая высших чинов этого корпуса в свои именины, 6 декабря 1901 г., Николай говорил им: «Я очень рад вас видеть, господа. Надеюсь, что союз, установившийся сегодня между мною и корпусом жандармов, будет крепнуть с каждым годом». Скоро после этого, когда его министр внутренних дел Сипягин, верный продолжатель дворянской политики Толстого, был

убит студентом Балмашевым (в апреле 1902 года), ближайшим к Николаю человеком стал новый министр внутренних дел Плеве—директор департамента полиции в эпоху расправы с народовольцами и организатор первых в России еврейских погромов. Это был своего рода гений сыска и провокации—при нем расцвела зубатовщина—но, главным образом, благоволение царя он снискал чрезвычайно ловкой борьбой с эсеровским террором. При Плеве полиции удалось провести своего человека—инженера Азефа—в начальники боевой организации партии социалистов-революционеров: весь террор, казалось, был теперь в руках царских шпионов. Правда, куплено это было чрезвычайно дорогой ценой,—чтобы поддержать доверие партии к Азефу, пришлось ему разрешить устраивать покушения на всех, кроме царя; и ненадежно это было—Азеф мог изменить; в конце-концов, сам Плеве пал жертвою эсеровской бомбы (в июле 1904 года). Но все же еще никогда «революция» (как понимал революцию Николай) не была до такой степени под контролем царской полиции.

Плеве сделался таким любимцем Николая, каким был Аракчеев при Александре I. Как и Аракчеев в свое время, Плеве старался оттереть от Николая всех мало-мальски способных людей, которые могли бы делать ему конкуренцию, и в первую очередь использовал отвращение Николая к Витте. Ушел окончательно последний, собственно, в связи с внешней политикой (об этом мы будем говорить в следующей главе), но уже тотчас по назначении Плеве, в 1902 г., влияние Витте стало падать. Уже одно это не обещало, чтобы совещание под его председательством могло дать какие-нибудь важные последствия. Вдобавок, помещики, тоже, как и их царь, больше полагавшиеся на полицейские меры, совсем не склонны были итти на какие-нибудь экономические уступки в пользу крестьян. Предвидя это сопротивление помещиков, земства,—мы помним, что это было теперь, более чем когда-либо, чисто помещичье учреждение,—устранили от участия в местных комитетах о нуждах сельско-хозяйственной промышленности, дав в этих комитетах перевес чиновникам. Этим достигли только того, что помещики, все же в комитеты попавшие, использовали их для либеральных демонстраций против режима Николая II. В общем, более передо-

вая часть помещиков признавала, что нужно улучшить правовое положение крестьян, т.-е. уничтожить остатки крепостного права, как такового, сравнять крестьянина в правах со всеми «свободными» обывателями российской империи, и уменьшить подати. Но о земельной прирезке говорили очень немногие и очень неопределенно. Либеральные демонстрации были, конечно, использованы Плеве против Витте—доверие к последнему Николая еще больше упало. Пожелания либеральных помещиков нашли себе довольно слабое отражение в отмене круговой поруки (12 марта 1903 г.). А большинство помещиков было удовлетворено и успокоено усилением сельской полиции—в мае 1903 года в 46 губерниях, были введены сельские стражники.

Помимо всего прочего, к лету 1903 г. все эти меры являлись уже совершенно запоздавшими. Еще в 1902 году крестьянское движение приняло такие формы и такие размеры, что против него пришлось пустить в ход уже не полицию и даже не казаков, а прямо войска, пехоту целыми дивизиями. «Особое совещание» не успело еще начать своих заседаний, как в конце марта 1902 года началось массовое крестьянское движение—первое в новейшей русской истории, впервые в таких размерах со времени волнений, сопровождавших «волю» в 1861—62 гг.

Почин положила Полтавская губерния, где было в несколько дней разгромлено 54 усадьбы; оттуда движение перекинулось в Харьковскую, где той же участи подверглось 25 усадеб, затем в Волынскую, Черниговскую, Воронежскую и Саратовскую, где движение продолжалось до июля и закончилось здесь со стороны крестьян настоящими «военными действиями». Крестьяне собственными средствами смастерили из железной трубы пушку, зарядили ее порохом и пулями и выстрелили из нее в окно одной помещичьей усадьбы. Проявленная именно саратовскими крестьянами в этом деле настойчивость, как сейчас увидим, не была случайностью.

Первые шаги движения ясно показывали, насколько его идеология была далека от идеологии фабричного пролетариата. Рабочие протестовали не только против хозяев, но и против самодержавия,—агентам последнего пришлось, мы видели, буквально пуститься «во все тяжкие», чтобы хоть на

время сбить с толку рабочих и лишить стачечное движение его политического смысла. В крестьянском движении с самого начала этого смысла вовсе не было. Крестьяне были совершенно убеждены, что, «разбирая» помещичье имущество, они действуют в полном согласии с волей и намерениями царя. Когда к ним попадали революционные прокламации, где говорилось о передаче земли крестьянам и т. под., они и их приписывали царю. Ходили целые легенды, что царь бежал от помещиков за границу, оставив власть наследнику,—а тот дал власть мужикам. Крестьяне действовали поэтому совершенно спокойно, с полным сознанием своей правоты. Когда появлялись войска, и командиры их угрожали стрельбой, толпа уверенно отвечала: «брешешь, не смеешь стрелять: царь не велел». И когда все-таки раздавались залпы, и толпа рассеивалась, оставляя на месте убитых и раненых, крестьяне, собравшись на другой день, толковали, что офицеры строго ответят за происшедшее «перед государем императором».

В этой уверенности крестьян, что царь на их стороне, любопытнее всего, что одна из первых «разобранных» усадеб принадлежала как раз лицу из царской фамилии, герцогу Мекленбург-Стрелицкому. И эта подробность нисколько не раскрыла глаза крестьянам: что «Романовы», прежде всего другого, тоже помещики, это не приходило крестьянам в голову. Побуждения, ими руководившие, были настолько наивно-экономические, что «лучшего» не мог бы себе вообразить ни один «экономист». «У нас нет ступни земли, пусть дадут нам есть, а то возьмем все сами; дайте нам по пять пудов хлеба и столько же земли» (т. е. по 5 десятин), говорили восставшие. На самом деле земля у них была, но всего по 2 десятины на двор. Приходилось приарендовывать, и та земля, за которую 5 лет назад платили 6—8 рублей, стоила теперь 12—19. Даже «правительственное сообщение» по случаю полтавских «беспорядков» должно было признать, что хозяйственное положение полтавских крестьян было «не вполне удовлетворительно». Но главную причину «сообщение» видело все же в «противоправительственной пропаганде».

По отношению собственно к Полтавской губернии это было довольно большой нелепостью: мы видели, что там крестьяне

и революционные прокламации приписывали Николаю II,— так что для них это была не «противоправительственная», а правительственная пропаганда. Но в менее темных местах пропаганда, несомненно, играла некоторую роль. В Саратовской губернии «с ранней весны между крестьянами шли толки о том, что земля отойдет от помещиков к ним. Нелегальная литература, в которой выяснялось положение крестьян и причины их бедствий, появилась в таком изобилии, что не было глухого уголка, где бы крестьяне не читали ее. Читали они иногда, не скрываясь, а собираясь толпами в ригах и сараях. Слухи о движении в Полтавской и Харьковской губерниях глубоко интересовали их, но еще до этих слухов крестьяне ранней весной начали самовольно разбирать хлеб из запасных магазинов. Крестьяне являлись по приговору всем миром, привязывали веревку к замку и засовам и тянули веревку все вместе, чтобы всем быть в ответе. Составлялись приговоры о том, чтобы запахивать помещичьи земли и косить в свою пользу их луга, и во многих местах это приводилось тотчас же в исполнение. Частновладельческие же стога сена и хозяйственные постройки поджигались. У особенно ненавистных помещиков поджоги повторялись по нескольку раз» [1]).

Движение 1902 года было подавлено с обычной для «романовского» режима жестокостью. После расстрелов уцелевших «бунтовщиков» беспощадно пороли, пороли целыми деревнями поголовно,—пороли так, что по словам крестьян, «куски мяса отваливались». Особенно отличался по этой части харьковский губернатор князь Оболенский. «Это вам, мерзавцы, тридцать ударов за то, что грабили,—приговаривал он,— а еще 30 от меня». Несмотря на все эти зверства, крестьянские волнения повторялись, перебегая из губернии в губернию, и в 1903, и в 1904 годах. Мало-по-малу к ним привыкали,—внимание, как всегда, притуплялось,—и известия о деревенских «бунтах» не вызывали больше среди интеллигенции того оживления, какое можно было видеть на Пасхе 1902 года, после первых известий из Полтавской гу-

---

[1]) П. Маслов, „Аграрный вопрос в России", II, стр. 120—121

бернии. Но на местах было наоборот: первоначальная уверенность, что «справятся», что «потушат», начала сдавать. «Жизнь в деревне стала до крайности напряженной», писали из Пензенской губернии. «Деревенская тишина почти каждую ночь нарушается тревожным звоном набата. Горят молотильные сараи, стоги сена, клади ржи и даже хлеба на полях... Помещики так напуганы, что предсказывают революцию...».

Помещики были правы. Рядом с пролетарской революцией в городах и на фабриках, выдвигалась другая—мелкобуржуазная революция в деревне. Слившись вместе, два движения были бы несокрушимы. Вопрос жизни и смерти для «романовского» режима был в том, удастся ли их разделить. В 1907 году казалось, что это удалось—1917 год опроверг эту иллюзию.

Мелкобуржуазное движение в деревне должно было оживить мелкобуржуазное движение вообще. Мелкобуржуазная интеллигенция, увидя воочию то, чего ей не хватало в 70-х годах, восставшую крестьянскую массу, не могла не воскреснуть, как революционная сила—не могла не попытаться воскресить и того идейного содержания борьбы, и тех форм борьбы, какие были ей привычны. В 1902 году возникает из бывших марксистов и уцелевших старых революционных народников партия социалистов-революционеров, которая главную опору революции видит в крестьянстве, а главный метод революции в терроре.

Мелкобуржуазная интеллигенция давно переживала свой политический подъем, параллельно с рабочим движением. Но она не имела в политической борьбе своего угла. Ее передовым отрядом, уже с конца 80-х годов решавшимся выходить на улицу и открыто вызывать начальство на бой, было, мы помним, студенчество. Но до конца 90-х годов студенческое движение было очень узко по своим политическим задачам. Сначала это был просто протест против устава 1884 года и введенной им в жизнь высшей школы невиданной даже при Николае I полицейщины. Потом к этому отрицательному лозунгу присоединились положительные, но не шедшие пока дальше узко-студенческих интересов. Движение шло под флагом землячеств, студенческих круж-

ков взаимопомощи, где группировались уроженцы одной губернии: студенчество боролось, в сущности, за право иметь свою организацию (устав 1884 г. гласил: «студенты суть отдельные посетители университета»), и, не получая этого права, самоорганизовалось явочным порядком, тайно. Так из московских землячеств вырос много шумевший в середине 90-х годов в Москве **союзный совет** землячеств. Полиция тщательно разыскивала это учреждение, арестовывала и высылала один его состав за другим, вызывая тем все новые и новые студенческие «волнения». Это обещало разрешить задачу «вечного движения», задавшую столько безысходных хлопот механикам, но не вело ни к какой определенной цели ни начальство, ни студентов-«революционеров». Лучшие студенческие силы проходили через «землячества» и «советы», как через **школу**, где они обучались элементарным приемам подпольной революционной борьбы, но затем уходили туда, где шла эта борьба уже в настоящем виде, не в виде пробы,—уходили к рабочим.

Идеологией студенческих кружков середины 90-х годов был марксизм—«Капитал» был настольной книгой среди руководителей московских землячеств с 1887 года. Но русский революционный марксизм, т.-е. пропаганда «Группы освобождения труда», доходила в эти кружки, как и вообще в Россию, очень плохо. Гораздо популярнее в студенческой массе было то, что впоследствии окрестили «легальным марксизмом»,—в сущности пересказ плехановских идей журналистами, писавшими в России открыто и, благодаря чисто теоретической форме своих писаний, успевавшими проводить их через царскую цензуру. Но, как очень скоро должно было обнаружиться, сутью легального марксизма было вовсе не это уменье придавать цензурную форму революционным взглядам: смысл его был глубже. То была попытка приспособить учение Маркса к запросам и потребностям массы русской интеллигенции.

Мы уже несколько раз останавливались на вопросе, что такое была интеллигенция, как общественная группа. Мы видели, что это был слой **промежуточный** между капиталистами и рабочими—служивший **орудием** капитала, но орудием живым, которое этот же капитал и эксплоатировал.

По мере усложнения капиталистического аппарата, становилось все сложнее и важнее это орудие. Торговый капитализм нуждался еще в очень небольшом числе интеллигентных сил, и они играли у него подсобную роль (точные науки, однако, и тогда уже имели огромное экономическое значение: астрономия и механика были совершенно необходимы в развитии искусства мореплавания, на котором держалась мировая торговля с конца средних веков; над разрешением задачи «устойчивости корабля» работали лучшие математики XVIII столетия). Промышленный капитализм нуждается в целой армии инженеров и техников, и без них его дело совсем не может итти. И масса интеллигенции, и ее общественное значение быстро растут с ростом промышленного капитала. Промышленный подъем конца XIX века дал огромный толчок развитию интеллигенции в России, а промышленный кризис должен был сильно отразиться на ее настроении.

Эта связь интеллигенции с промышленным капиталом и была той основой, на которой развивался «легальный марксизм». Массе будущих инженеров, техников и экономических работников, статистиков, финансистов, нужна была идеология, которая осмысливала бы их общественную роль, оправдывала бы их существование в их собственных глазах. Народническая идеология, отрицавшая надобность и даже возможность капитализма в России, этой цели не достигала. Она сложилась в ту пору, когда наша промышленность,—еще небольшая по объему настолько, что поверхностный взгляд мог, мы видели, промышленного капитализма в России и не заметить,—обслуживалась всецело еще иностранными инженерами и техниками. Их в изобилии застали первые фабричные инспектора, в своих отчетах приводящие множество забавных анекдотов, которые создавало незнание русского языка первыми организаторами русской промышленности: расплачивалась за эти анекдоты, конечно, все та же широкая спина русского рабочего. Теперь капитал этой промышленности был по большей части заграничный, но организаторы были уже свои, русские.

Поскольку марксизм учил, что капитализм своим развитием подготовляет социализм, это учение вполне подходило

для молодой «промышленной» интеллигенции 90-х годов. Предприниматель так же эксплоатировал инженера, как и рабочего, и так же им помыкал. Инженер имел все основания ненавидеть предпринимателя и вдобавок находить его лишним: ведь, управлял-то предприятием на самом деле именно он, инженер. «Снять» предпринимателя, это было вполне понятно. Еще более было понятно, когда марксизм изображал промышленный капитализм, как высшую ступеньку экономического развития, сравнительно с мелким производством. Народничество выводило социализм прямо и непосредственно из последнего, и это совсем не отвечало запросам «промышленной» интеллигенции. А мы-то при чем же? Инженер не мог не видеть, что двигателем промышленного прогресса является именно он, и именно потому, что он стоит во главе крупного предприятия. Когда «легальный марксист» повторяя Плеханова, громил народничество, доказывал его отсталость и невежество, его «ненаучность», и восхвалял прогрессивное значение промышленного капитала, интеллигенция 90-х годов бурно аплодировала. Апология (защита) капитала против нападавших на него народников до такой степени выпячивалась в «легальном марксизме», что кто-то пошутил тогда: «во всем мире марксисты—партия рабочего класса, только в России это партия крупного капитала». Нелегальные марксисты пробовали давать легальным отпор по этому поводу еще в первой половине 90-х годов, но цензура сейчас же вмешивалась, и до публики «нелегальные» писания не доходили.

Но солидарность «промышленной» интеллигенции с марксизмом очень скоро и оканчивалась. Марксизм учил, что освобождение рабочего класса есть дело самого рабочего класса, что оно совершится в форме массового рабочего восстания, в форме революции. Это уже опять для «промышленного интеллигента» не подходило. Революцию он признавал или не признавал в зависимости от своего темперамента (натуры)—этим определилось позднейшее деление передовой интеллигенции на кадетов и эсеров. Но во всяком случае он признавал только интеллигентскую, организуемую и управляемую интеллигентами, революцию, которую и власть оставила бы, разумеется, за интеллигенцией. Но в учении Маркса

была еще более неприятная для интеллигента подробность: вся непролетарская часть капиталистического мира, по этому учению, живет на прибавочную стоимость—живет эксплоатацией пролетариата. То привилегированное положение, которое занимает в промышленности интеллигент, покупается за счет этой эксплоатации: инженер получает в десять, в двадцать раз больше простого рабочего, откуда? Из прибавочной стоимости. На этом представлении об эксплоатации зиждется учение марксизма о непримиримой классовой борьбе между пролетариями и капиталистами. В отношении к классовой борьбе устанавливалось полное единодушие между старой, народнической, и новой, марксистской, интеллигенцией; классовой борьбы быть не должно. Общество должно быть едино—так как, подразумевалось, оно должно управляться единой интеллигенцией.

Вожди «легального марксизма», если они хотели оставаться «на высоте требований» своей публики, должны были искать выхода в этом направлении. На выручку им пришел ревизионизм, та разновидность германской социал-демократии, которая, под давлением бурно вливавшейся в ряды социал-демократической партии мещанской массы, приспособляясь к ее интересам, вкусам и привычкам, старалась сгладить «резкости» ортодоксального (настоящего) марксизма. Оттуда Струве и его коллеги почерпнули счастливую для них мысль, что теория прибавочной стоимости, т.-е. идея эксплоатации, как основы всего капиталистического строя, подлежит «пересмотру», а то и вовсе устранению. Что классовая борьба вовсе не обязательна, возможен и социальный мир. Что, наконец, и необходимость социалистической революции вовсе не «доказана».

Гвоздем всего было признание возможности существования «надклассового государства»—основная мысль Струве в его докладе о причинах падения крепостного права в России, докладе, доставившем Струве бурную овацию со стороны московской учащейся молодежи в 1898 году. Что эта мысль является мостиком в лагерь буржуазных либералов, мостиком, по которому Струве уходит сразу и от рабочего движения, и от революции вообще, этого молодежь не замечала. Она опомнилась лишь тогда, когда Струве в 1905 году

объявил все революционное движение «возрастной категорией», болезнью, свойственною именно только молодежи. Но в это время он уже был одним из вождей крупнобуржуазной политической организации, и в своей прежней публике более не нуждался.

Мелкобуржуазная революция, начавшаяся в деревне, дала теперь этой прежней публике Струве новую точку опоры, сразу и освободив ее от докучного марксизма, и дав простор революционной энергии ее более левых элементов. К концу 90-х годов студенческое движение достигло крайней степени остроты. Подталкиваемое и поощряемое массовой рабочей борьбой, оно усвоило ее формы и вылилось, после избиения петербургских студентов полицией в феврале 1899 года, во всероссийскую студенческую забастовку, охватившую до 25 тысяч студентов разных городов. Начальство, давно заметившее роль студенческих организаций, как рассадника, откуда выходили организаторы революционного движения, решило принять крутые меры: в июле того же года были опубликованы знаменитые временные правила, угрожавшие отдачей в солдаты участникам «беспорядков» на будущее время. Попытка применить эти правила (в Киеве, осенью 1900 года) немедленно же и вызвала новый взрыв, нашедший себе на этот раз выход в весенних демонстрациях 1901 года, которые приобрели огромное политическое значение благодаря всколыхнутой ими рабочей массе, но застрельщиками которых являлись по большей части студенты.

Демонстрации окончательно слили узкое первоначально «академическое» течение с широким революционным потоком, но лишь меньшинство студенчества усвоило себе при этом и идеологию рабочего движения. Большинство оставалось «ревизионистами», т.-е. не верило в безвыходную революционность пролетариата, а социалистическую революцию представляло себе по-народнически, а не по-марксистски. Для отдельных, наиболее революционно настроенных единиц выходом был террор: первой его ласточкой было убийство студентом Карповичем министра просвещения Боголепова после издания «временных правил» о сдаче студентов в солдаты. Правительство в своих официальных сообщениях очень

наивно старалось скрыть, что покушавшийся был студент, именуя Карповича по его происхождению «мещанином». Но масса мелкобуржуазно-настроенного студенчества не могла принять участия в терроре—этой массе нужна была массовая работа. Еще в 1898 году будущие социалисты-революционеры смотрели на крестьянство с почти-плехановской безнадежностью. «Систематическую деятельность среди крестьянства мы оставляем на будущее»,—писалось тогда в брошюре «Наши задачи»,—«не отказываясь лишь пользоваться всеми удобными поводами для ознакомления крестьян со своею программой и привлечения сознательных сторонников из наиболее развитой его части». Как сторонники «вне-классовой» революции, социалисты-революционеры и после, разумеется, не могли стать классовой партией сельской мелкой буржуазии; и после они старались привлечь на свою сторону фабрично-заводской пролетариат (с очень малым обыкновенно успехом), завязывая в то же время связи с настоящей капиталистической буржуазией. Эта последняя охотно давала «не-марксистам» и денежную помощь, и молодых энтузиастов из богатых семейств, столь же нередких в рядах эсеровских террористов, как в свое время выходцы из помещичьих и сановнических семейств в рядах народовольцев. Но серьезное политическое значение социалисты-революционеры получили именно благодаря тому, что со своею «внеклассовой» идеологией они легче могли подойти к сельской буржуазии, нежели марксисты. От эсера кулак не рисковал услыхать, что он «буржа», и естественно, что эсера кулаку было приятнее слушать, чем социал-демократа. Интеллигенция и мелкая буржуазия нашли смычку своего фронта, на котором они держались пока р я д о м с пролетариатом, но о т д е л ь н о от него, ожидая времени, когда они станут п р о т и в пролетариата.

ГЛАВА IV.

Промышленный кризис и внешняя политика.

Японская война.

Рабочее движение, крестьянское движение, движение городской мелкобуржуазной интеллигенции подтачивали крепостническое государство снизу, но верхушка казалась еще крепкой и обещала простоять долгие годы. «Восьмидесятники» были уверены, что в России, по крайней мере на глазах живущего поколения, никакая революция невозможна. Молодежь 90-х годов не без тоски смотрела в ближайшее будущее: придет ли когда-нибудь революция? После 1901 года близость революции чувствовалась всеми. Но как и с чего она начнется? Как подступиться к этому гранитному утесу, называемому самодержавием? Волны давно бьют о его подножие, но вершина его так далека от верхушек самых высоких волн. Каждая стачка, каждая демонстрация неизменно кончались разгоном, арестами, ссылками. И ни одна не могла получить до сих пор общенационального значения — всколыхнуть всей народной массы. А с частичными выступлениями, казалось, правительству всегда легко будет бороться.

В разгар управления Плеве, в 1903 году, вне собственно-революционных кружков, неутомимо продолжавших свою организаторскую и пропагандистскую работу, в широких кругах интеллигенции настроение иногда падало до уровня «восьмидесятничества». Проповедь «легальных марксистов», в это время окончательно усвоивших себе ревизионистскую идеологию и «научно» доказывавших, что никаких револю-

ций быть не может, что период, когда они были возможны, давно прошел, с одной стороны, несомненные успехи зубатовщины среди серой рабочей массы, с другой, действовали на интеллигенцию самым разлагающим образом. И никому из этих «маловеров» не приходило в голову, что «Романовы» уже вырыли сами себе могилу, и что величавая вершина самодержавного утеса держится только по инерции: достаточно только одного хорошего удара волны, чтобы утес дал трещину во всю длину.

«Романовых» погубило то, что создало их силу и славу. Основатели «Российской империи» сорвались на попытке еще раздвинуть ее пределы; великие накопители миллиардов оступились, протянув руку к еще новому миллиарду, который, казалось, лежал совсем плохо и сам просился в «романовский» кошелек.

Прежде, чем перейти к иностранной политике Николая II, ставшего именно благодаря этой политике могильщиком и своим собственным, и всей династии, нужно сказать несколько слов о политике его предшественников. Мы оставили Александра II на неудачной попытке захватить Константинополь и на «скандале» Берлинского конгресса 1878 года (см. ч. II, стр. 155). Мы помним, что надежды Александра основывались на секретном договоре с Германией, обещавшей России «помочь» и уклонившейся под разными предлогами от исполнения обещания, когда дошло до драки. Русский царь не мог простить руководителю германской политики, канцлеру Бисмарку, этой «измены»,—как в свое время он не простил Франции парижского мира 1856 г. Поссорившись теперь с Германией, царь имел все основания повернуться именно к Франции: на маневрах 1879 года французские военные были приняты с особою лаской и почетом. Бисмарк поспешил в том же году заключить союз с Австрией, только-что едва не воевавшей с Россией, но, как расчетливый человек, не хотел сразу портить отношений и к России. Отношения оставались прохладными, но русско-германский союз все-таки возобновляли еще 3 раза, в 1880, 1884 и 1887 годах. Последние два договора были заключены уже с Александром III. Бисмарк и его манил Константинополем, который в договоре 1887 года был

назван уже прямо,—чем избегалось «недоразумение» 1873 года, когда говорилось о какой-то неопределенной войне с какой-то неизвестной державой,—но зато германская помощь упоминалась гораздо более глухо: сказано было только, что Германия обещается России «не мешать» в этом случае. Другими словами, Бисмарк обещался так же надуть, в случае новой войны на Ближнем Востоке, Австрию, как в 1877 году он надул Россию (русско-германский договор 1887 года от Австрии держали в секрете).

В том же году, однако, Александр должен был убедиться, что Австрию-то Бисмарк когда еще надует, а его уже надувает. За неимением Константинополя, Россия должна была удовлетвориться тем, что получила «Задунайскую губернию», в образе Северной Болгарии (от Дуная до Балкан), полунезависимого по Берлинскому конгрессу княжества, на бумаге вассала (подручного) Турции, а на деле зависевшего от России; князем был назначен племянник Александра II, тоже Александр, принц Баттенбергский. Русский капитализм, не получив большой добычи, решил выжать, что можно, хоть из доставшегося ему маленького куска. С Болгарией обращались как с русской вотчиной—сбывали ей всякую заваль: заставляли, например, болгарское правительство покупать старые русские ружья, оказавшиеся негодными еще во время русско-турецкой войны, притом по цене, какую они стоили новые. Делать все такие штуки было тем легче, что во главе болгарского правительства стояли русские генералы, присланные из Петербурга. Болгарская буржуазия, быстро развивавшаяся еще при турецком господстве, а теперь росшая еще быстрее, терпела. Но, наконец, пришел предел и ее терпению. Главное предприятие, на котором рассчитывал «нажить» русский капитал, была постройка в Болгарии сети железных дорог, которые должны были строиться русскими инженерами и обязательно из русских материалов, при чем план сети был составлен так, что болгарские железные дороги должны были быть непосредственно связаны с русскими, и только с ними: если бы это удалось, положение Болгарии, как «Задунайской губернии», было бы закреплено на долгие годы.

Что «русский» план стоил вдвое дороже всякого другого, что Болгария им совершенно отрезывалась от Западной Европы, это все, конечно, не принималось во внимание: Болгарию «мы» освободили, «мы» ее облагодетельствовали,—она должна «нам» служить. Но болгарская буржуазия, увидав мертвую петлю, которую ей хотят накинуть на шею, решительно взбунтовалась и обнаружила самую черную неблагодарность. Болгаре заявили что они будут строить железные дороги сами так, как им выгоднее, и туда, куда им нужно Александр Баттенбергский стал на сторону болгарских капиталистов, и за то, конечно, сейчас же в Петербурге попал в «изменники», но в Болгарии приобрел огромную популярность. Александр III на этом деле выказал всю ту грубость и неуклюжесть, которые были ему свойственны. Он выгнал своего двоюродного брата из Болгарии, не постеснившись для этого устроить там «заговор против законного государя» (не нужно забывать, что на бумаге Болгария была «независимым княжеством», и просто сместить Александра, как русского губернатора, нельзя было), попытался предать Болгарию сербам, отозвав во время войны Сербии с Болгарией из последней русских офицеров, командовавших болгарской армией,—оставив, значит, эту армию без командного состава и без «спецов» в самую критическую минуту,—но всем этим добился только того, что Болгария бросилась в объятия к Австрии, и из ее рук приняла своего нового князя, Фердинанда Кобургского, правившего страной, потом под именем уже не «князя», а «царя», до 1918 года.

Тем временем Александр III должен был окончательно убедиться в ненадежности Германии против Австрии. Единственным местом, откуда русский царь встретил некоторую поддержку, был Париж. Вся остальная Европа, не исключая и Берлина, явно тянула руку болгар. Уже это должно было воскресить старые мысли о русско-французском союзе, бродившие когда-то в голове Александра II. Экономические условия натолкнули на этот союз уже окончательно.

Кризис хлебных цен больно ударил не только русского помещика: еще больнее он ударил прусского юнкера, хо-

зяйство которого было более капиталистическим и, значит, больше зависело от рынка. Прусский помещик завопил о «покровительстве отечественному земледелию» не хуже, чем русский фабрикант вопил о «покровительстве отечественной промышленности». Бисмарк, представлявший в германском правительстве интересы именно помещичьего класса, не мог не пойти навстречу своим. В 1880 году в Германии были введены пошлины на хлеб, в 1885 они были утроены, в 1887 упятерены. Между тем, германский рынок имел для русского хлебного вывоза огромное значение: рожь вывозилась только в Германию, а мы помним, что в 90-х годах из России вывозилось ржи до 90 миллионов пудов.

Бисмарк был уверен, что экономически Россия у него в руках: он знал, что «истинно-русское» правительство Романовых не может обойтись без заграничных займов,—а займы эти до тех пор заключались преимущественно в Берлине. Когда Петербург стал ворчать и из-за болгарских дел, и из-за пошлин, Бисмарк распорядился не принимать русских процентных бумаг в германские банки. Но тут он ошибся. Деньги в это время в Европе (благодаря продолжительному мирному периоду: в Западной Европе с 1871 года больше не было войн) были дешевы, как никогда. Прогнанный с берлинской биржи министр Александра III, Вышнеградский, обратился в Париж—и там его приняли с распростертыми объятиями. Все русские займы были в конце 1880-х годов «конвертированы» (обменены) в Париже на чрезвычайно выгодных условиях.

Этим помещением русских займов в Париж был уже в сущности создан русско-французский союз: французская буржуазия, купившая русские бумаги, была теперь кровно заинтересована в том, чтобы дела русского царя процветали и внутри, и вне его страны. Поперек дороги настоящему, формальному союзу, стояли две причины. Первой было то обстоятельство, что во Франции была республика. Для нас, знающих теперь, что такое буржуазные республики, покажется удивительным—что же это за препятствие? Кулаки у французских городовых не хуже, чем у русских, рабочий день двенадцати-часовой, стачечни-

ков разгоняют так, что, мы видели, даже царскому правительству было чему поучиться у демократической республики,—чего же, казалось бы, «Романовым» стесняться было такой «приличной» союзницы? Но надо опять вспомнить, что такое был Александр III. Он никак не мог переварить, что при республике управляют адвокаты, что адвоката Греви, французского президента, он должен будет принимать, как равного. Нужно вспомнить, что адвокат, разночинец-интеллигент, в «романовских» кругах расценивался до чрезвычайности низко,—когда при Александре II обсуждался проект введения земских гласных в государственный совет, одним из главных возражений было: а вдруг адвокатов станут выбирать? И с этим возражением очень приходилось считаться [1]). А тут вдруг адвокат рядом с царем сядет! В минуту раздражения Александр III даже французскому послу однажды сказал: «Что за сволочь ваше правительство, однако!» Посол был не адвокат, а военный генерал, значит, для Александра все же «свой человек».

Это с русской стороны. А с французской долго никак не могли приладиться к некоторым вкусам и привычкам нового союзника. В Петербурге союз понимали, конечно, так, что, значит, и внешние, и внутренние враги общие. Мы тебя будем защищать от немца, а ты нам русских «нигилистов» выдай, которые во Франции «скрываются». Основатель французской республики—настоящий основатель—Гамбетта, это прекрасно понимал: собираясь заключить с Россией союз, который был Гамбетте и его партии очень нужен—сейчас мы увидим зачем—он прямо намеревался безо всякой церемонии всех находящихся во Франции русских революционеров выдать Александру III. Но Гамбетта умер, не успев заключить союза, а его наследники не были людьми таких «широких» взглядов. Республика была еще внове, массы относились к ней довольно серьезно, рабочие снизу напирали, только что, в 1880 году, вынудили амнистию коммунарам (а в 1884—свободу коалиции);

---

1) Это относилось не только к адвокатам, а ко всем „разночинцам“ вообще: Николай II долго не мог понять, что доктору можно подать руку, как офицеру.

правившие Францией адвокаты «стеснялись». Они делали достаточно подлостей в угоду царскому правительству: держали в тюрьме Крапоткина, выслали из Франции Плеханова,—но до выдачи «нигилистов» на царскую расправу не доходили. Обеим сторонам приходилось приспособляться—постепенно они и приспособились: русские жандармы завели в Париже свое охранное отделение со штатом провокаторов при нем, с тою специальною целью, чтобы подбивать русских революционеров, неопытных или наиболее бестолковых, на поступки, которые были запрещены и французскими законами: тогда их беспрепятственно можно было сажать в тюрьму. А французы, не выдавая революционеров прямо, наиболее активных из них стали, как «нежелательных иностранцев», высылать в Германию,—а там уже германская полиция их подбирала и отправляла «на родину». Дело-то и было в шляпе, а республиканская конституция в неприкосновенности. Но пока все это наладилось, прошло довольно много времени, и в течение этого времени было не мало трений.

Но было и еще одно обстоятельство, отпугивавшее Александра III от слишком тесного сближения с французской республикой. Александр, как и все «Романовы» и до, и после, готов был серьезно воевать только из-за Константинополя [1]). Но этому было еще не время: черноморский флот только строился, русскую пехоту стали перевооружать новой винтовкой (малокалиберной трехлинейкой—берданка успела уже устареть) только за три года до смерти Александра III. Между тем французы, как только увидали вдали русский союз, сейчас же забряцали саблями, и тогдашний их военный министр, генерал Буланже, великий друг русских черносотенцев, вел дело явно к «реваншу»—к расплате с немцами за 1870 год. Один из французских министров того времени, правая рука Гамбетты, Фрейсине, признается в своих воспоминаниях, что французы из кожи лезли, чтобы заставить царя подписать военное соглашение с Францией, обращались даже к покровитель-

---

1) Японская война, о которой мы будем рассказывать ниже, в счет не идет: на нее именно и не смотрели, как на „серьезную“.

ству такого высокопоставленного лица, как известный шпион и провокатор Рачковский, заведывавший личной охраной особы Александра III, но даже такое влиятельное заступничество не помогло, и секретное военное соглашение с Францией Александр подписал только в 1893 году, когда шумиха, поднятая Буланже, давно прошла.

В итоге всех этих трений и недоразумений, всего теснее и искреннее оказывался союз Зимнего дворца с парижской биржей. Настоящим другом Александра III в Париже были не президенты и министры, а был парижский банкир Госкье, который потом даже хвастался, что Александр III поручил его заботам по финансовой части своего сына, Николая II. Так это или не так, но влияние парижской биржи в Петербурге было чрезвычайно сильно, и если к воинственным зазываниям французских генералов Александр III оставался глух, то за французскими банкирами и он, и сменивший его на престоле в октябре 1894 года Николай послушно шли на веревочке, пока не пришли к первой «романовской» катастрофе, 1904—5 года, в Манчжурии.

Французский капитал, или, точнее, всеевропейский, за вычетом Англии, капитал, сосредоточившийся к концу XIX века в руках парижских биржевых учреждений, на русских займах 80—90-х годов только разлакомился итти на восток. Русский процент, конечно, самый высокий в Европе, но нельзя ли еще больше получить в Азии? Не случайно постройка сибирской дороги, решенная как раз в 1887 году, быстро приобрела огромное политическое значение. «Закладывать» восточный конец нового пути в 1891 году послали самого Николая, тогда еще наследника (тут-то он и натолкнулся в первый раз на японскую саблю— событие, которое суеверные люди могли бы счесть предзнаменованием [1]). А когда в 1895 году на восточном берегу азиатского материка появилась Япония, с совершенно неожиданной для европейской буржуазии быстротой покончившая с китайской армией и китайским флотом—а вместе с тем и с легендами о китайском «возрождении»

---

[1]) При посещении одного японского храма, какой-то японец ударил Николая саблей по голове.

при помощи европейских подрядчиков—Россия, в союзе с Францией и Германией, поспешила вмешаться. Схваченные внезапно за шиворот японцы не получили ни одного клочка земли на материке и должны были удовольствоваться контрибуцией. А чтобы Китаю легче было заплатить последнюю и вообще обладить свои финансовые дела, заключать займы и тому подобное, в том же 1895 году был основан русским министром финансов Витте, совместно с крупнейшими парижскими банкирами, русско-китайский банк.

Что это были не случайные события, а часть некоторого общего плана, показывают слова того же Витте, написанные им за три года до этого, в 1892 году. «Сибирская магистраль,—писал тогда только что занявший свое место новый министр финансов,—открывает новый путь и новые горизонты и для всемирной торговли, и это значение ее ставит сооружение ее в ряд мировых событий, которыми начинаются новые эпохи в истории народов и которые нередко вызывают коренной переворот установившихся экономических сношений между государствами».

Что сделало компаньонами Витте при этом «мировом событии» парижских банкиров, понятно само собой, правильнее только будет сказать, что не они были компаньонами Витте, а он их, потому что Россия избытком капиталов отнюдь не страдала, и ежели в ее кармане начали бренчать деньжонки, то не свои, а французские. Нетрудно понять, что толкнуло в общую компанию и Германию: и товаров для вывоза на Дальний Восток у России было немногим больше, чем денег; ясно было, что сибирская дорога гораздо больше будет возить произведений немецких фабрик, чем русских: когда русские заняли Порт-Артур, о чем мы скажем сейчас ниже, агенты немецких фирм появились там гораздо раньше, чем представитель хоть одного русского фабриканта.

Но неужели Россия была на Дальнем Востоке только орудием парижских банкиров и германских фабрикантов? Конечно нет—и то, что мы рассказали о сопротивлении Александра III задорной политике Буланже, показывает, что там, где не было никакого «национального» интереса,

где русскому капиталу совсем нечем поживиться, и царскому правительству будущее ничего не сулило, кроме шишек и синяков, это правительство сумело упереться. Если на Дальний Восток шли послушно, не упираясь, то не только потому, что там шишек и синяков не опасались (какие-то «япошки», какие-то «ходи» [1])—чего тут бояться?), но и потому, что видели в этом выгоду, а с последних лет XIX века стали видеть в этом даже единственный выход.

Мы уже видели (см. выше стр. 34), что российская крупная промышленность конца XIX века лишь в одной своей части—текстильной—опиралась исключительно на широкое потребление; в другой, металлургической, ее опорой было более государственное хозяйство, чем частное. Отсюда, интересы нашей металлургии гораздо скорее принимали «государственную» форму, чем какие-либо другие. Образчик мы опять-таки только что видели, на примере болгарской политики Александра III,—любопытно, что и она развертывалась на фоне кризиса начала 80-х годов. В конце 90-х годов опять был кризис—и снова больше всего и прежде всего—металлургический. И на фоне этого нового кризиса мы опять видим вполне определенную и сознательную попытку выбросить русское железнодорожное строительство за пределы политических границ империи, в широкий мир

Уже «московским договором», заключенным знаменитым китайским «реформатором» Ли-Хун-Чжаном во время коронации Николая II (22 мая 1896 года), России было предоставлено право строить железные дороги на Китайской территории. Ссылаясь на этот договор, министерство финансов в 1902 году писало о «громадном значении этой уступки для наших интересов в Китае», так как, очевидно, «какую исключительно важную роль в экономической борьбе играют пути сообщения» «Можно было надеяться, что через посредство учрежденного в 1895 г. Русско-Китайского Банка нам удастся достигнуть еще и дальнейших успехов в этой последней области. Благодаря значительным денежным рессурсам и предоставленному уста-

---

[1]) Презрительная кличка китайцев среди дальневосточных русских.

вом праву участвовать в железнодорожных предприятиях повсеместно в Китае, банк этот, при условии поддержки со стороны нашей миссии, имел все данные, чтобы играть видную роль в сфере железнодорожных предприятий Китая. Очевидно, в сознании этого, с первых же годов деятельности Русско-Китайского Банка в Китае к услугам его стали обращаться различные железнодорожные предприниматели, как китайцы, так и иностранные подданные».

Конкурентом русского капитала в деле железнодорожного строительства в Китае был капитал английский. Благодаря вмешательству англичан не удалось получить монополии на постройку сети железных дорог в Китае к северу от Желтой реки—т.-е. дорог, связывавших китайскую столицу, Пекин, с лежащими южнее центральными областями империи. Но об этом не очень жалели, ибо достаточно было дела и к северу от Пекина. Сибирскую дорогу сначала было решено вести на Владивосток по русской территории, вдоль реки Амура. Потом нашли это направление неудобным и невыгодным и решили сократить путь, выпрямив его: вместо амурской дуги, дорога должна была пойти по хорде этой дуги, через северную Манчжурию, принадлежавшую уже Китаю. Так как северная Манчжурия—редко населенная, полупустынная страна, где, по русским понятиям, настоящего порядка не было, для железнодорожной кампании было выхлопотано полнейшее самоуправление и даже право держать войска—на китайской территории—для защиты пути и станций. Иными словами, северная Манчжурия подверглась форменной военной о к к у п а ц и и со стороны России, ибо войска железнодорожной кампании это были, конечно, те же русские солдаты под командой русских офицеров. Это было уже в 1896 году: конечным пунктом дороги все еще признавался Владивосток. Но через два года сообразили, что не только направление дороги, а и ее конечный пункт надо изменить. Владивосток лежит далеко ото всех торговых путей Дальнего Востока. Климат там весьма суровый, и порт на несколько месяцев в году бывает закрыт льдом. Порты южной Манчжурии почти не замерзают и расположены на бойкой торговой дороге, ведущей к самой сердце-

вине Китайской империи, к Пекину,—железную дорогу было решено свернуть на юг. Для этого у Китая были «арендованы» в 1898 г. две самые южные гавани Манчжурии—Порт-Артур и Далянь-Вань (по-русски перекрещенный в «Дальний»). Коммерческая «аренда» и тут сопровождалась военной оккупацией: Порт-Артур был крепостью; он должен был получить русский гарнизон и стать, старанием русских инженеров, неприступной; здесь должна была быть стоянка всего русского тихоокеанского флота, который предполагалось очень усилить. Торговой гаванью собственно должен был стать Дальний, где были построены доки, магазины, электрическая станция и т. д. На все это было истрачено 16 миллионов золотых рублей.

Так Витте—он был душою дальневосточной политики конца XIX века—предусмотрительно расширял рынок русской металлургии. С этою разницей, что дело шло теперь о металлургии, а не о текстильной промышленности, политика Витте точка в точку напоминала политику Николая I на Ближнем Востоке (см. ч. II, стр. 85). Только прямой захват, при помощи штыка, играл в политике Витте меньшую роль, чем в политике Николая: Витте был человеком больше буржуазного мира, чем феодального. Рано или поздно до вооруженного столкновения и тут могло, конечно, дойти. Россия исподволь и готовилась к войне: с 1892 г. по 1902 ежегодные русские военные расходы увеличились на 48%, а расходы в частности на флот—слишком на 100%, с 48 милл. зол. рублей до 98. Эта последняя цифра ясно показывает, что на этот раз дело шло не о Константинополе: черноморский флот был построен при Александре III, и за 90-е годы к нему почти ничего не прибавилось. Русские военные расходы росли, притом, быстрее, чем у какого бы то ни было другого государства в Европе: следом за Россией в этом деле шли Германия и Австро-Венгрия, но первая увеличила с 1892 по 1902 год свои военные расходы только на 36%, а вторая—лишь на 32%. Россия готовилась к войне энергичнее, чем какое бы то ни было другое государство. Но Витте надеялся войну оттянуть, елико возможно, дальше.

Русская дальне-восточная политика была, несомненно, зачатком империализма, но это был империализм, так сказать, «нормальный», «естественный». Его целью был захват рынков, а не покорение земель и народов. Но поперек дороги этому «нормальному» капиталистическому империализму Витте стал дикий, первобытно-торгашеский и феодальный империализм его коронованных господ «Романовых».

У этих последних тоже был своего рода кризис. К началу XX века царский дом расплодился невероятно «Романовых» с боковыми родственниками было далеко больше полусотни. Пришлось «великих князей» разделить на разряды, и настоящими «великими князьями» стали признаваться только дети и внуки царствующего императора: остальные были лишь «князья крови императорской» и назывались просто «высочеством», а не «императорским высочеством». Пришлось—что было еще более чувствительно—ввести пайки и «карточную систему» Прежде всякого члена царского дома обеспечивали в меру его «потребности» каждого снабжали так, что не только он мог жить «прилично», но и вся окружавшая его куча праздной челяди была сыта до отвалу. Теперь, как ни богаты были «Романовы», для «приличного» житья всех без исключения уже не хватало. Обеспечение «в меру потребности» сменилось еще при Александре III определенной выдачей из семейных доходов: надо было по одежке протягивать ножки. При этом «князьям крови» доставалось уже содержание не выше дохода обыкновенного богатого помещика. Этим «по царски» жить уже не приходилось.

И вот, первому миллиардеру вселенной приходилось подумывать об увеличении своих миллиардов. Удельное ведомство, на которое ложилась обязанность кормить и поить «Романовых», стало пускаться в разные предприятия: завело, например, торговлю винами из царских виноградников. Вино было—для русского вина—недурное и шло ходко, но увеличение доходов было от этого ничтожное. За границей стали помещать «романовские» капиталы в разные предприятия. Между прочим, упорно ходили слухи, что английская фирма Виккерс, изготовлявшая военные корабли,

пушки, броню, и т. под., имела «Романовых» в числе своих крупнейших пайщиков. Это любопытно в том отношении, что именно эта фирма снабжала японский флот, который мог, таким образом, расстреливать русские броненосцы из «романовских» пушек: все-таки некоторого рода «отечественное производство». Но в общем и это были пустяки: широкая пасть «Романовых» могла бы проглотить десять Виккерсов с их доходами. И вот, как это часто бывает с разоряющимися помещиками, явился бес-искуситель и стал манить предприятием, выгодным выше всякого воображения. Это был некий отставной полковник Вонлярлярский—имя, никому, конечно, из читателей этой книжки неизвестное, но вполне заслуживающее стать историческим; Витте определял этого отставного полковника, как «дельца самого низкого сорта»,—попросту это был жулик и аферист, какие всегда ютятся около разоряющихся богатых бар. Явился он в 1898 г., как раз, когда Дальний Восток, благодаря Витте, вошел в моду, и подал через царского зятя, великого князя Александра Михайловича (как видим, мы в самом интимном «романовском» кругу), записку, где высказывалось: 1) что в Корее [1]) действует обычное право, на основании которого в стране частной собственности нет, и все земли принадлежат императору (корейскому); 2) что *есть возможность завладеть Кореей*, получив концессию на различные ее богатства, которые еще не расхищены иностранцами (!); 3) указывалось «на важность лесной концессии Бринера, которая даст возможность отправить экспедицию в Корею *под предлогом осмотра лесов*».

Что такое Корея? Это в те времена была наиболее близкая соседка России, непосредственно граничившая с уссурийской областью, столица которой Владивосток лежит всего в нескольких десятках верст от корейской границы. Прежде полу-независимое королевство, вассал Китая, с 1895 года, после японско-китайской войны, Корея стала «независимой империей», на самом деле не имевшей уже ни-

---

[1]) Самый крайний северо-восточный выступ Китая, полуостров, связывающий азиатский материк с группой островов, на которых расположена Япония.

какой самостоятельности: в ней сменялись господства то русского, то японского влияния. Русское министерство иностранных дел признавалось позже, в одной секретной записке, что «судьба Кореи, как будущей составной части Российской империи, в силу географических и политических условий, была заранее нами предопределена». На этом основании, рассказывает дальше та же записка, русские дипломаты и отклонили предлагавшийся Японией в 1896 г. раздел Кореи: это значило бы «добровольно связать свою свободу действий в будущем». Правда, два года спустя, после захвата Россией Порт-Артура, пришлось пойти на уступки. Россия обязалась «не создавать препятствия» «преобладанию Японии в сфере торгово-экономических предприятий» в Корее: но, как с торжеством сообщает та же записка, это было явное надувательство со стороны русской дипломатии. Ибо никакими русскими «торгово-экономическими предприятиями» в Корее тогда и не пахло, Россия отдавала, можно сказать, один воздух,—а получала в обмен столь реальные вещи, как незамерзающие гавани южной Манчжурии.

И вот, как нарочно, «торгово-экономическое предприятие», да еще принадлежащее самим «Романовым», в это самое время и появилось на свет в Корее. Притом «предприятие» вовсе не сводилось к какой-то жалкой лесной концессии на р. Ялу, о чем так много шумели в 1905—6 годах русские газеты: эта концессия была только предлогом к захвату Кореи,—о такую мелочь, как лесная концессия, «Романовы» не стали бы и рук марать. Дело шло о захвате целой страны, немного меньше Италии, в 200 тысяч квадратных верст пространства, с населением больше 10 миллионов человек. Но «Романовым» нужны были, собственно, не земли и не люди—и того, и другого было и в России достаточно. Чудеса рассказывались о минеральных богатствах Кореи, о золотых россыпях, о залежах руды, каменного угля и т. под. На разработку этих всех богатств крупному чиновнику дворцового ведомства—все дело велось, как «семейное» дело Романовых,—стоявшему во главе экспедиции, и удалось получить от корейского императора концессию. В этом, по признанию русской ди-

пломатии, заключалась «основная цель», к которой стремился названный чиновник: «привлечением в Корею русских и иностранных капиталов для разработки богатейших рудников и россыпей дворцового ведомства (корейского) помешать переходу этих угодий в японские руки».

Итак, официальная дипломатия формально обещала «не создавать препятствий», а не состоявший ни в каких дипломатических списках личный доверенный Николая II явился в Корею, чтобы «помешать». Это двуличие не могло не быть тотчас же разгадано японцами, и не могло не обострить отношений между двумя странами до крайности. В воздухе тотчас же запахло войной: это было еще в 1899 г. Следующее, до начала войны, пятилетие наполнено отчаянными попытками и русского министерства иностранных дел, и, в особенности, Витте—оттянуть войну: а Николай II, со свойственным ему тихим упрямством, все напирал, да напирал на свое «торгово-экономическое» предприятие. Вонлярлярского давно оттерли на задний план люди более ловкие, но той же самой породы: придворный хлыщ Безобразов, возведенный Николаем в звание «статс-секретаря» (нечто вроде министра без портфеля), и морской офицер Абаза, которого Николай сделал адмиралом. В Корею понемногу вводились русские войска—солдаты под видом «рабочих», офицеры под видом «приказчиков» или смотрителей за работами. Все это делалось, конечно, в довольно мизерных размерах: большой отряд замаскировать было бы нельзя, японцы со своей стороны ответили бы посылкой отряда, и столкновение было бы неизбежно. Не удавалось пробраться и далеко вглубь от русской границы: о россыпях и рудниках только, пока-что, говорили, а на деле разрабатывали именно лесную концессию вдоль р. Ялу (отделявшей Корею от Манчжурии). В то же время Япония вооружалась не менее лихорадочно, чем Россия. Ясно было, что без настоящей, большой войны, одним мелким мошенничеством, Кореи не получишь.

Безобразов и К° на эту войну и толкали, заранее уверенные в ее «победном конце». Но Витте держался довольно долго, находя себе поддержку в военном министре Куропаткине. Тот, участник русско-турецкой войны 1877—

1878 г.г., хорошо помнивший, к тому же, русско-германское столкновение (см. выше), понимал одну войну, из-за Константинополя, на дороге к которому видел одного врага— немцев. Каждый батальон, каждая батарея, отправленные на Дальний Восток, ослабляли оборону на Висле—этого Куропаткину было достаточно, чтобы быть противником всякой дальне-восточной авантюры [1]). К несчастью своему и Витте, Куропаткин не отличался решительностью ни на поле битвы, ни в многочисленных «совещаниях», которые Николай созывал по поводу своего любимого «предприятия». У него хватало мужества объяснить царю, что война с Японией обойдется почти в миллиард рублей золотом и в 30 тысяч человеческих жизней (на самом деле она обошлась вдвое дороже), и намекнуть, что таких жертв Корея не стоит. Но когда он видел, что Николай стоит на своем, он, как послушный солдат, вытягивал руки по швам и говорил: «а впрочем, как прикажете!». А у Николая насчет миллиардов—казенных, собранных с народа, а не из собственного «романовского» кармана—и человеческих жизней, крестьянских или рабочих, было свое мнение. У него слюнки текли при мысли о тех миллиардах, которые потекут в этот самый «романовский» карман из Кореи, и он даже в умиление впадал, созерцая будущую картину своего обогащения. Он заранее соглашался поделиться доходами и, совершенно уподобляясь старозаветному купцу, который после удачного мошенничества вешает колокол на свою приходскую церковь, Николай письменно обещал «излишки» своих корейских доходов употребить на «постройку православных храмов».

Целый ряд причин задерживал, однако же, и Николая— помимо нерешительного сопротивления Витте и Куропаткина. Сибирская дорога не была еще вполне закончена: даже в 1904 году, когда война уже началась, самый трудный участок, кругом Байкала, только еще достраивался, и через Байкал войска приходилось перевозить на ледоколах. Большой русский флот—ясно было, что войну с Японией,

---

1) Рискованное, озорное предприятие, не основанное на правильном расчете, начатое на удачу.

морской державой, вести без флота нельзя—также не был еще готов: четыре самые сильные броненосца поспели только к маю 1905 года, чтобы погибнуть в водах Цусимского пролива. Порт-Артур также далек еще был от того, чтобы стать «неприступной крепостью»: такой оценке он, опять-таки, не соответствовал еще и в 1904 году. Наконец, очень скоро после начала корейского «предприятия» обнаружилось, что мы и в Манчжурии-то еще не стоим твердой ногой. Одних договоров и концессий оказывалось мало, чтобы стать хозяевами в этой китайской провинции. Смирные китайцы, лопотавшие что-то па каком-то непонятном языке, возбуждали презрение у русских «колонизаторов». С ними не «церемонились»—даже Витте в своем всеподданнейшем отчете Николаю II о поездке на Дальний Восток не мог скрыть, как безобразничают русские войска в Манчжурии: грабежи, убийства, насилия над женщинами были здесь самым обычным делом. Надо сказать, что русские здесь не были исключением,—Китай грабили понемножку все: одновременно с захватом русскими Порт-Артура англичане захватили Вей-хай-Вей, а немцы—Киао-Чау. Когда, летом 1900 года, в Китае разразилось восстание против «иноземных дьяволов», оно сейчас же передалось и на Манчжурию. Построенная часть железной дороги была почти начисто разрушена. Манчжурию пришлось завоевывать. Завоевание это сопровождалось жестокостями, уже совершенно неописуемыми: тысячи китайцев были утоплены в р. Амуре, масса деревень разграблена, сожжена—словом, после этого китайцы, до тех пор бывшие врагами японцев, готовы были оказать этим последним какую-угодно услугу, лишь бы те выгнали русских. Даже то, что японцы в эту, так-называемую китайскую войну 1900 года, тоже «усмиряли» китайцев (японские войска бок о-бок с русскими, а также английскими, французскими, германскими, американскими и т. д., брали Пекин), было забыто и прощено после русского похода по Манчжурии.

Последний толчок к войне дало внутреннее положение России: могучим союзником, решившим спор Витте и Безобразова в пользу последнего, оказался Плеве. Мы видели, что к 1903 году ему удалось несколько запугать

русскую интеллигенцию и несколько развратить русского рабочего. Но он не мог не видеть, до какой степени все это ненадежно. Нужны были какие-то гораздо более сильные средства, чтобы отвести надвигавшийся прилив революции куда-то в другую сторону. Народ, явно было, ненавидит все больше и больше «Романовых» и их приспешников. Нельзя ли направить эту ненависть на кого-нибудь другого?

И вот начинаются поиски «национального врага», сначала внутреннего, потом внешнего.

Малограмотные и невежественные массы всегда с подозрением относятся ко всякому, непохожему на местных, привычных людей человеку. Всякий иностранец в малоразвитых людях вызывает такие чувства: не даром на языке древних народов «иностранец» и «враг» звучат одинаково, или происходят от одного корня. Для темных мещан всякий иностранец подозрителен—а если он им делает конкуренцию, лучше их работает или торгует, он им ненавистен. Нельзя ли этим воспользоваться и, кстати, пугнуть революционеров «гневом народа»?

Начиная с реакции 80-х годов правительство косо смотрело на евреев, составлявших наиболее трудолюбивую, наиболее живую и интеллигентную часть южно- и западнорусского городского населения. Как наиболее живая и подвижная часть городской массы, это была и наиболее восприимчивая к революционной агитации часть. Среди еврейской молодежи были народовольческие кружки—а марксистская литература «Группы Освобождения Труда» в Вильне, Минске и Киеве стала известна едва ли не раньше, чем где-нибудь в России, уже с середины 80-х годов. Нельзя сказать, чтобы революционеров среди евреев было больше, чем среди русских; но для царского правительства выгодно было то, что были евреи-революционеры. В свое время оно, мы помним, сумело использовать тот факт, что стрелявший в Александра II в 1866 г. Каракозов был дворянин: еще лучше можно было использовать революционера-еврея. На несчастье правительства, среди организаторов 1 марта была только одна еврейка, да и та играла совсем

второстепенную роль: главные участники были чистой русской крови и даже из известных русских фамилий, как Перовская. Тем не менее, присутствие среди народовольцев и евреев дало толчок к устройству первых еврейских погромов на юге России, в 1881—82 г.г. Организатором их, как мы уже упоминали, явился тогдашний директор департамента полиции, будущий министр Плеве.

Погромы сейчас же обнаружили и свою неприятную для правительства сторону. Возбужденная полицейскими агентами толпа не только громила, но и грабила: а так как пограбить больше можно было у богатого еврея, чем у бедняка, то еврейской буржуазии, к революции вовсе не причастной, доставалось больше, нежели еврейской бедноте. Очевидно, нужно было организовать преследование евреев как-то иначе. Погромы при помощи темной толпы сменяются, со второй половины царствования Александра III, «тихим погромом», в форме всяческих полицейских преследований, обрушившихся на еврейство. Строго проводилась так-называемая «черта оседлости», согласно которой евреи не могли жить в великорусских губерниях, а в украинских и белорусских могли жить лишь в городах (где они местами составляли большинство населения, так-что выгнать было их никак нельзя), но не в деревне. Евреям был закрыт доступ в учебные заведения, так-называемой «процентной нормой»: на 100 учеников могло быть не более 3 евреев. Тщательно следили за тем, чтобы евреи не попадали на государственную службу, что бывало в «либеральное» царствование Александра II. Особенной лютостью по отношению к евреям отличался московский генерал-губернатор, великий князь Сергей, младший брат Александра III. Много еврейских ремесленников, издавна живших в Москве и хорошо обслуживавших московское население, было разорено и выгнано в «черту оседлости». В то же время одним из ближайших людей великокняжеского двора был миллионер-еврей, известный железнодорожник Поляков: желавшие торговать в Москве евреи записывались к нему в приказчики, и этих поляковских «приказчиков» было несколько сотен. Таким образом, и волки были сыты, и овцы целы: и ненависть царской семьи и царских слуг к евреям была удо-

влетворена, и еврейская буржуазия была цела — было у кого, в минуту жизни трудную, перехватить деньжонок.

Обрушившиеся на еврейскую бедноту стеснения, конечно, только способствовали развитию ее революционности. Достаточно сказать, что «черта оседлости», мешая еврейскому рабочему передвигаться в поисках работы, связанным по рукам и ногам отдавала еврейский пролетариат в руки капиталиста «черты оседлости». Среди еврейского пролетариата раньше, чем где-бы то ни было, начали складываться социал-демократические организации, к 1897 году слившиеся во «Всеобщий еврейский рабочий союз». («Бунд»—по немецки «союз» — как его обыкновенно называют: русские евреи, как известно, говорят на очень близком к немецкому языке). К началу XX века еврейская интеллигенция играет уже среди вождей революционного движения гораздо более видную роль, чем играла она среди народовольцев: по данным различных съездов евреи составляли от одной четверти до одной трети организаторского слоя всех революционных партий.

Это, конечно, не могло улучшить отношения к еврейству царского правительства, особенно, когда во главе последнего стал такой яростный антисемит [1]), как Плеве. В то же время положение правительства становилось настолько жутким, что отделять овец от козлищ, спасать еврейскую буржуазию было уже некогда. Плеве вновь прибег к обоюдоострому оружию погрома и на этот раз в неслыханных дотоле размерах. В апреле 1903 года в Кишиневе два дня бушевала мещанская толпа, перебившая и перекалечившая несколько сот евреев и разгромившая более тысячи еврейских домов и лавок; громилы приезжали толпами из соседних городов: полиция смотрела на все это с таким поразительным равнодушием, что сомневаться в ее симпатии к погрому не было никакой возможности. Судебный процесс, который все-таки пришлось устроить,—ибо дело было слишком громкое, о нем заговорили все европейские газеты,—обнаружил и пря-

---

[1]) Буквально „противо-еврей", враг евреев; евреи принадлежат, по первоначальному „древнему" их языку, на котором написана Библия, не к арийскому, а к семитическому племени, а отсюда их называют по ученому „семитами".

мое соучастие местной администрации, вплоть до губернатора. Все это, конечно, замяли, и никто, кроме 2—3 мелких громил, серьезно наказан не был. Но и с погромами пришлось снова приостановиться: средство оказалось еще более рискованным, чем казалось после опыта 80-х годов. К нему прибегли вновь лишь в минуту полного отчаяния, когда революция пылала уже ярким пламенем, в октябре 1905 года. Помимо всего прочего, оказывалось совершенно невозможно, даже при всем содействии полиции, устраивать погромы в промышленных районах. Пролетариат не только не громил евреев, но наиболее революционно настроенные рабочие даже оказывали всяческую поддержку еврейской «самообороне». А в деревне евреев и вовсе не было: значит, ни для борьбы против рабочего, ни для борьбы с крестьянским движением погромы не годились. Если хотели отвлечь внимание на «иноземца», приходилось искать этого «иноземца» в другой стороне.

Японцы как раз во-время попались под руку. Они же были «неверные», не христиане, «язычники». Всякий православный уже по одному этому обязан был их ненавидеть. Беда была в том, что они были слишком далеко, и русская народная масса не имела о них почти никакого понятия. За то тот же, упоминавшийся нами, Вонлярлярский, сумел сделать японскую ссору весьма близкой и понятной для Плеве: он внушил последнему, что русскими противниками в международной политике являются те же евреи, которые «делают революцию» внутри России. Для Плеве этого было достаточно. «Маленькая победоносная война» на Дальнем Востоке стала ему казаться совершенно необходимой. Что война будет именно «маленькая» и непременно «победоносная», в этом русские реакционеры не сомневались ни на минуту. Куда же такому малышу, как Япония, справиться с таким колоссом, как Россия? Летом 1903 года «Новое Время» писало, что «для Японии война против нас означает самоубийство», ни более, ни менее.

Итак, решено было «рассеять революционный угар» при помощи войны. В конце лета того же года Амурское генерал-губернаторство и занятая русскими войсками Манчжурия (в 1902 году ее обещались, было, очистить, кроме южной

части, но теперь об этом обещании и думать не хотели) были объединены под властью особого, чрезвычайного царского уполномоченного, **наместника**. Наместником был назначен ставленник безобразовской шайки, адмирал Алексеев. Сам Безобразов сделался в это время признанным вождем «военной партии» и влиятельнейшим лицом при дворе после Плеве. Витте начал уже сдаваться, но так как он, с безобразовской точки зрения, оставался весьма «ненадежен», и если не противодействовал прямо, то докучал нытьем и хныканьем, его все-таки заставили уйти в отставку (в августе 1903 г.). На поступившие перед этим от Японии предложения поручено было ответить Безобразову.

Японское правительство уже давно прекрасно понимало, что дело идет к войне, и принимало со своей стороны всякие меры предосторожности (одною из них был союз с Англией, заключенный в 1902 году). Летом следующего года оно начало переговоры не столько потому, что ожидало от них какого-нибудь толку, сколько, чтобы иметь документальные доказательства планов России на Корею. В японских предложениях вопрос был поставлен, поэтому, с совершенной четкостью и ясностью: Япония признавала права России на Манчжурию, но требовала в обмен признания Россией прав Японии на Корею. Составленный Безобразовым и собственноручно исправленный Николаем ответ можно выразить так: «в Манчжурии хозяева мы без всякого спору, а в Корее—посмотрим». В столь обнаженном виде русское министерство иностранных дел не решилось передать ответ Японии. Но и то, что было сообщено японскому правительству, было достаточно ясно: Россия отказывала Японии в праве держать в Корее войска, тогда как русские продолжали занимать Манчжурию, требовала «нейтрализации» всей северной Кореи, тогда как на р. Ялу уже сидели русские офицеры и солдаты: словом, очевидно было, что Кореи японцам отдавать не собираются. Но японская буржуазия уже давно прочною ногою стояла в этой стране: к началу 1904 года там было уже до 25000 японских поселенцев, 90% кораблей, посещавших корейские гавани, носили японский флаг, все маяки вокруг полуострова были в японских руках, строившиеся железные дороги были в руках японской компании,

во всей стране действовали японские почтовые конторы и телеграфные станции, и т. д. и т. д. Потеря Кореи означала величайший скандал для японского правительства—и могла, как свидетельствуют современные делу иностранные дипломаты, повести даже к революции в Японии. Это вполне подтверждал и русский посланник в Японии, Розен, официально заявлявший еще в январе 1903 г., что он убежден «в неизбежности вооруженного столкновения с Японией в случае серьезной попытки нашей завладеть Кореею или каким-либо пункто на ее территории.»

Этого столкновения, мы видели, при дворе Николая II вовсе не боялись, на него шли с легким сердцем—но, странным образом к нему и не готовились. Были убеждены, что Япония «не посмеет» напасть и будет терпеливо ждать русского нападения А к этому последнему, по обычаю, были «не готовы»,—по каковой причине Николай еще в январе 1904 года разводил бобы на ту тему, что он «войны не желает», и тому подобное [1]. Но японцам надоело ждать, пока Николай «пожелает». Как только для них стало ясно, что дальнейшие переговоры ни к чему не ведут, что дальнейшая отсрочка только помогает русским закончить их подготовку, они решили действовать. 5 февраля нового стиля 1904 года Япония прервала дипломатические сношения с Россией, а в ночь с 8 на 9 японские миноносцы атаковали русскую эскадру на порт-артурском рейде.

Царское правительство могло на это ответить только воплями об «изменническом нападении коварного врага»—воплями лицемерными, ибо поступок японцев, допускавшийся международным правом, которое вовсе не требует непременно торжественного объявления войны перед начатием военных действий, был много прямее и искреннее проектов Безобразова занять русскими войсками ту самую северную Корею, нейтрализации которой требовала Россия от Японии. Только Безобразову его хитрость не удалась, он не успел этого сделать, а японцы успели. Обмен телеграм-

[1]) В октябре 1903 года Николай прямо говорил германскому императору Вильгельму II, у которого в гостях он тогда был, что войны „в 1904 году еще не будет, так как Россия еще не готова“.

мами Николая с наместником Дальнего Востока Алексеевым не оставляет никаких сомнений, что Россия готова была начать войну и не дожидаясь вызова Японии, только русские армия и флот не были готовы. Русское военное и морское начальство, повидимому, совершенно разделяло уверенность Зимнего Дворца, что японцы «не посмеют». Японию считали гораздо слабее, чем она была на самом деле, но все-таки Куропаткин вычислял армию, необходимую для войны с Японией, в 300 тыс. человек: на деле, в Манчжурии было сосредоточено, к началу 1904 г., с небольшим 100 тысяч. Русский флот на Дальнем Востоке был немного сильнее японского, но был разбросан в разных местах: главные силы стояли в Порт-Артуре, меньшая часть во Владивостоке, отдельные суда в Корейских гаванях. Стояло все это в полной беспечности, как будто до войны оставалось ни весть сколько времени—между тем, Япония уже с 5 января нового стиля была на военном положении. Не было даже установлено отличительных сигналов для распознавания своих судов ночью, благодаря чему японские миноносцы могли пробраться в Порт-Артур за «своих»,—и только, когда «свои» начали пускать мины в русские суда, наши убедились в своей ошибке. К этому времени было выведено из строя уже 3 русских корабля, в том числе два из самых сильных броненосцев. Русский флот сразу стал слабее японского и был заперт в гавани, которую японцы немедленно начали блокировать, воспользовавшись, кстати, и другой нашей оплошностью: русское начальство не догадалось занять находящихся в нескольких часах пути от Артура островов Эллиот, где японцы и устроили свою базу. Там, прикрытый заграждениями из толстых бревен, японский флот мог стоять в совершенной безопасности, не опасаясь нападения русских миноносцев: от того, что случилось с русской эскадрой, японцы были совершенно застрахованы.

Заперев русский флот (два крейсера, «забытых» нами в Корее, были японцами уничтожены), Япония разрешила первую задачу войны: могла беспрепятственно высаживать свои войска на материк. Она начала с того, что стала прочной ногой в Корее: там высадилась первая из япон-

ских армий, предназначенных для действий в Манчжурии; в течение февраля, марта и апреля эта армия медленно подвигалась к северу, занимая «спорную» страну. Ничтожные русские отряды на лесной концессии, разумеется, не могли этому помешать. Набеги русских крейсеров из Владивостока стесняли эту операцию — перевозки японских войск на материк—очень мало. Порт-артурский флот, под командой нового, энергичного начальника, присланного из Петербурга, адмирала Макарова, попробовал было прорвать японскую блокаду. Но при одной из первых попыток выйти из гавани произошла катастрофа: адмиральский корабль наскочил на поставленную японцами мину и пошел ко дну вместе с самим главнокомандующим. После этого (13 апреля—31 марта 1904 г.) русский флот надолго—до середины июня—снова неподвижно засел в Порт-Артуре.

Три недели спустя (1 мая нов. ст.) японская армия достигла берегов р. Ялу. Куропаткин, тем временем принявший команду над сухопутными войсками в Манчжурии, не решился ни пойти навстречу противнику, ни отступать, заманивая японцев в глубь Манчжурии—что он считал наиболее целесообразным. Он выбрал полумеру, отправив стеречь линию р. Ялу небольшой отряд, вдвое слабее японской армии. Последняя без труда опрокинула этот отряд (сражение при Тюренчене) и вступила в Манчжурию. Почти одновременно обеспеченные теперь от нападений со стороны моря японцы начали высадку второй армии, уже непосредственно в южной Манчжурии. Эта армия заняла железную дорогу, связывающую Порт-Артур с Россией, и, быстро подвигаясь на юг, овладела перешейком, соединяющим полуостров, на котором находятся Порт-Артур и Дальний, с Манчжурией. Перешеек считался неприступным при условии поддержки его обороны с моря, но на море был теперь японский флот, и на перешейке держаться было нельзя. Вслед затем был занят Дальний, послуживший японцам, со своей гаванью, магазинами и т. д., великолепной базой для осады Порт-Артура, который был теперь заперт и с моря, и с суши. Куропаткин, заранее готовый к тому, что Порт-Артур будет отрезан—это было предусмотрено его планом кампании—под давлением из Петербурга

решился и тут на полумеру: «на выручку» Артура был послан отряд, слабее той японской армии, которая осаждала крепость; а японцы тем временем успели уже высадить третью армию. Предприятие потерпело, конечно, такую же неудачу, как и на р. Ялу (сражение при Вафангоу, 14/15 июня нов .ст.). Русская армия совершенно упала духом, видя, что ее всюду бьют, а японская прониклась глубокой верой в свои силы и была теперь убеждена, что с русскими она справится.

Это убеждение разделял, повидимому, отчасти и русский главнокомандующий. Куропаткин не решался более переходить в наступление, пока его армия не достигнет огромного, безусловного численного перевеса над японцами. Ибо качественно эти последние заведомо теперь были много выше русских. Япония на эту войну, которую она считала вопросом жизни и смерти для себя, двинула лучшие свои, отборные силы. Русское же правительство берегло эти лучшие силы, кадровые войска, для борьбы с внутренним врагом, для подавления революции, а в Манчжурию посылало запасных старших сроков. Люди лет под 40, а иногда и за сорок, давно отвыкшие от походной жизни, они иногда не умели даже обращаться с новым, трехлинейным, магазинным ружьем, потому что служили они, когда у русской пехоты была еще берданка. Артиллеристы почти сплошь не умели обращаться с новыми скорострельными пушками, которые русская артиллерия получила перед самым походом: благодаря этому, японская артиллерия, пушки которой были хуже русских, сплошь и рядом подавляла своим огнем русские батареи.

Куропаткин занял позицию у Ляояна, главного дорожного узла южной Манчжурии, через который проходила и железная дорога, связывавшая Порт-Артур с Россией. Вокруг Ляояна был устроен обширный укрепленный лагерь, в котором русская армия и ожидала противника. Последний высадил беспрепятственно еще и четвертую армию— так что всего против Куропаткина непосредственно действовало их три, медленно и почти не встречая сопротивления двигавшихся на север. Это заняло весь июнь, июль и большую часть августа; в половине августа японские

армии объединились и начали наступать на Ляоян. Куропаткин не сделал никакой попытки разбить их поодиночке и помешать их соединению, хотя в августе, благодаря постоянно подходившим из России подкреплениям, он был уже сильнее японцев, имея на бумаге до 200.000 солдат, а на деле не менее 150.000, тогда как во всех трех японских армиях было с небольшим 130 тысяч человек.

24 августа нов. ст. японцы начали атаку ляоянского укрепленного лагеря. Первые два дня атака шла неудачно, японские войска несли огромные потери. На третий день одна из японских армий (та самая, что в свое время перешла р. Ялу) зашла Куропаткину в тыл. После того, как попытка отбросить ее не удалась, и японцы день за днем подвигались все дальше, Куропаткин, опасаясь быть отрезанным от России и запертым, подобно Порт-Артуру, решил оставить Ляоян и отступить на север, к Мукдену (столице Манчжурии). Ляоянский лагерь с его огромными запасами достался японцам. Русская армия не была разбита, она отступила в полном порядке, ее потери в общем были даже меньше японских, но убеждение, что с японцами «не справятся», после Ляояна стало широко распространяться в России. Не сыграв роли поворотного пункта в войне, ляоянское сражение послужило поворотным пунктом в настроении русского общества. Вместо «патриотического одушевления» всеми овладевала досада: к чему мы ввязались в эту несчастную войну? С последствиями этого «ляоянского» настроения нам еще придется встретиться в следующей главе.

Чтобы побороть это настроение, Куропаткину было приказано во что бы то ни стало перейти в наступление при первой возможности. К нему теперь начали слать уже и кадровые войска. К началу октября н. ст. у него было более 200.000 человек уже не на бумаге, а в действительности, тогда как японцы имели не более 160.000. 10 октября русские начали наступление, которое продолжалось более недели и стоило нам 45.000 человек, выбывших из строя (сражение на р. Шахэ). Японцы на этот раз потеряли гораздо меньше. Русские официальные сводки очень подчеркивали последний момент боя, когда армии Куропаткина

удалось уничтожить одну японскую бригаду и взять 11 орудий (единственные трофеи этой войны). На деле, сражение на р. Шахэ было форменной неудачей. Японская армия осталась на своих позициях и даже несколько потеснила русских. В общем положение нисколько не изменилось и Куропаткину ничего не оставалось, как расположиться на зимовку под Мукденом.

Здесь развязка пришла лишь через 6 месяцев, но за это время японцам удалось нанести нам решительный удар в другом месте, достигнув одной из целей этой войны. Уже летом, к июню-июлю, положение Порт-Артура казалось настолько безнадежным, что запертая там русская эскадра, чтобы не попасть в руки японцев, решилась прорваться во Владивосток. 12 августа н. ст. она вышла из гавани и сейчас же наткнулась на главные силы японского флота. Но японцы за это время успели потерять два большие броненосца на русских минах, так что силы были теперь равны. Бой был в сущности нерешительным, японцы теряли даже более русских, но в разгаре боя был убит новый русский главнокомандующий и адмиральский корабль вышел из строя. Русские капитаны растерялись, и русские корабли побежали в разные стороны. Большая часть вернулась обратно в Артур, меньшинство укрылось в различных нейтральных гаванях и должно было там разоружиться. Одновременно была разбита японцами русская крейсерская эскадра из Владивостока. До мая следующего года Тихий Океан не видал больше русского флага.

Судьба остатков русского тихоокеанского флота была связана теперь с судьбою Порт-Артура. Но никакая крепость, как бы она ни была сильна, и как бы храбро ни защищался ее гарнизон, не может держаться до бесконечности: если ее не выручат извне, она должна будет сдаться. На выручку Порт-Артура, особенно после неудачи Куропаткина на Шахэ, надежды никакой не было. Новый тихоокеанский флот, сформированный в Кронштадте отчасти из кораблей, не поспевших к началу войны, отчасти из старых, которых, за их устарелостью, сначала не хотели пускать в дело, осенью только отправился в путь, мимо мыса Доброй Надежды, и мог быть у берегов Кореи не раньше весны.

Чтобы Артур продержался так долго, невозможно было ожидать. Японцы вели осаду со всей энергией, на которую они были способны. Неудачи вначале,—в августе, когда у них не было еще крупной осадной артиллерии,—их нисколько не обескуражили. Они подвезли орудия огромного калибра, какие до тех пор не применялись в сухопутной войне. Их огня порт-артурские форты не могли выдержать; гарнизон их нес огромные потери и еле держался. 30 ноября н. ст., под прикрытием огня своей артиллерии, японцы заняли высоту, командующую над гаванью Артура: теперь они могли громить русские корабли из своих тяжелых орудий. Флот все равно был осужден на гибель, боевых припасов почти уже не было, продовольствие подходило к концу. В конце декабря командовавший в Порт-Артуре генерал Стессель вступил в переговоры с японцами и 2 января н. ст. 1905 года сдался им со всеми своими войсками и остатком флота (один из крупнейших броненосцев русские успели при этом потопить). Японцам досталось 32.000 пленных, более 500 орудий, 4 броненосца, 2 крейсера и более 20 второстепенных судов.

Падение Артура свело войну с мертвой точки, на которую она стала после первых головокружительных успехов Японии на суше и на море. Война была уже наполовину выиграна японцами; если бы русским и посчастливилось теперь разбить японскую армию, им пришлось бы еще брать Артур, что без помощи флота было неразрешимой задачей. Но и положение японской сухопутной армии теперь очень усилилось—к ней присоединились войска, которые осаждали крепость. Немедленно же после падения Артура японцы и начинают готовиться к новому наступлению на русскую армию. Но эти стратегические (военные) последствия японской победы были ничто, сравнительно с отзвуками события внутри России: «ляоянское» настроение сменяется настоящим негодованием против правительства, навязавшего России эту войну. Взятие Артура означало для России начало всенародной революции.

———

ГЛАВА V.

9-е января.—Мукден и Цусима.

Народные массы отнеслись сначала к войне в далекой Манчжурии равнодушно. Только, когда одна мобилизация за другой стали выхватывать из крестьянских семей работников, так что в иной деревне скоро не досчитывались трети, а то и половины взрослых мужчин, только тогда массы начали глухо роптать. Но правительство Плеве действовало хитро: при мобилизациях намеренно обходили промышленные центры и вообще крупные города. Там, где население было наиболее сознательно, где лучше всего была поставлена революционная пропаганда, война чувствовалась всего слабее, и меньше всего было поводов для ропота.

Несколько иначе отнеслось к войне «общество», т.-е. буржуазия и интеллигенция. Здесь в последние месяцы перед войной широко было распространено относительно правительства то же заблуждение, какое у самого правительства было относительно японцев. Как правительство Николая II было убеждено, что японцы «не посмеют» начать войну, так «общество» было убеждено, что ее не посмеет начать правительство Николая. Причиной этого заблуждения были ходившие в публике преувеличенные слухи о денежных затруднениях правительства: люди, совершенно «осведомленные», уверяли, что в казне не найдется денег больше, чем на три месяца войны, четвертый месяц будет началом государственного банкротства. «Общество» не догадывалось, что за спиною Николая и его правительства стоит в этом деле парижская биржа, и что она уже, конечно, не откажет Николаю помочь в достижении на Дальнем Востоке его целей, которые на са-

мом деле были целями именно этой биржи. Так и случилось: за время войны Николаю удалось «перехватить» за границей 1.210 миллионов рублей и покрыть этим способом $^{9}/_{10}$ всех расходов (всего война стоила 1.330 миллионов рублей золотом). Правительство не только не обанкротилось от войны, как ожидало «общество», но даже не прекратило размена бумажек на золото. Только платить по долгам теперь приходилось больше: прежде русские займы заключались номинально из 4%, а в действительности из $4^{1}/_{2}$%, теперь на словах брали 5%, а в действительности приходилось платить больше 6. Парижские друзья таки попользовались от беды своего петербургского друга.

Когда, вопреки ожиданиям «общества», Николай «посмел», русское правительство подняло перчатку, брошенную ему японцами, «общество» в первую минуту струсило. Несколько земств выступило с «патриотическими» адресами к царю, Струве в издававшейся левыми земцами за границей газете «Освобождение» советовал кричать: «да здравствует армия!» Побед японцев на суше никто не ждал: общее мнение было такое, что на море, конечно, «они» «нас» потреплют, ну, а на сухом пути где же «им» с «нами» справиться? Поэтому, когда японцы стали бить армию Куропаткина, «общество» испытало новое разочарование, но уже в обратную сторону. Стали надеяться, что поражения заставят правительство Плеве пойти на уступки, и стали готовиться эти уступки принять, а в случае нужды и подтолкнуть к ним колеблющееся правительство. «Союз Освобождения», основанный левыми земцами еще в 1903 году, но скоро оказавшийся в руках не столько земцев, сколько так называемого «третьего элемента»—земских врачей, статистиков, учителей и т. д., которые были гораздо радикальнее самого либерального из помещиков,—быстро рос и стал даже издавать прокламации по поводу войны. Плеве со скрежетом зубов говорил по этому поводу, что «при земских управах образуются когорты санкюлотов [1]), которые приобретают доминирующее (господствующее)

---

[1]) „Когорта"—отряд солдат в древнем Риме, в роде нашего батальона; „санкюлоты" (бесштанники)—презрительное прозвище, которое давали революционерам белогвардейцы во время французской революции.

влияние на ход земских дел, отстраняя от них те элементы, которые призваны к самоуправлению законодателем».

Два события окончательно переломили настроение в сторону «пораженчества» и революции: то были, во-первых, убийство Плеве в июле 1904 года, и, во-вторых, ляоянское сражение месяцем позже, в августе.

Плеве был убит боевой организацией социалистов-революционеров (непосредственным исполнителем, бросившим бомбу, был Сазонов, сам при этом сильно раненый), при ближайшем участии известного нам Азефа (см. выше, стр. 59). Последний вошел сначала в боевую организацию, как шпион департамента полиции. В глазах заправил этого учреждения, он был надежнейшим человеком. Но атмосфера тех дней была такова, что общество революционеров подействовало даже на этого закоренелого сыщика. Он стал изменять своему департаменту и участвовать в делах эсеровских боевиков уже не только для виду. Кишиневский погром окончательно сделал его «неблагонадежным». Азеф был еврей. Разговаривая о погроме с другим, известным нам, сыщиком Зубатовым, Азеф «трясся от ярости и с ненавистью говорил о Плеве, которого считал главным виновником» погрома. Великий организатор погромов и сыска попался в свои собственные сети и пал, в сущности, от руки своего агента. Но публика не знала тогда этой закулисной стороны, ее не знали даже люди, по своей «службе» близко стоявшие к Азефу, который и долго после этого продолжал двурушничать, пока его не разоблачили уже революционеры (в 1908 году). Для публики убийство на улице, среди белого дня, всесильного министра внутренних дел, фактического самодержца, было явным доказательством могущества революции. Настроение в буржуазных и интеллигентских кругах снова начало подниматься.

Правительство, наоборот, было выбито из колеи. Плеве приучил Николая к мысли, что он, Плеве, знает секрет борьбы с революцией, что, пока он у власти, нечего ее бояться. И вот, теперь этот волшебник не сумел сам себя спасти. Николай растерялся, и преемника Плеве нашли только через месяц. Выбор этого преемника тоже свидетельствовал о растерянности. Назначен был опять сыщик, бывший шеф жандармов

Святополк-Мирский, но сыщик-«либерал», давно советовавший действовать не столько грубой силой, сколько «лаской», стараясь обойти как-нибудь народную массу и не дразнить ее. Назначенный министром, он прежде всего поспешил обласкать запуганное и обозленное его предшественником земство. В своей первой же речи он заговорил об «искренне благожелательном и искренне доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще».

По старой памяти, Святополк-Мирский думал, что нескольких ласковых слов будет достаточно, чтобы земские либералы побежали к нему навстречу. Плеве их гнал, не допускал самых невинных собраний, ссылал земских гласных за одно упоминание о конституции, отстранил от службы одного из самых влиятельных земцев, председателя московской губернской управы Шипова—даже не конституционалиста, а славянофила, мечтавшего о слиянии царя с народом (под которым Шипов разумел, прежде всего, конечно, помещиков). А теперь говорят о доверии. Чего же еще нужно? Но времена переменились, и «доверия» сразу же оказалось мало.

Между смертью Плеве и назначением Святополк-Мирского прошло ляоянское сражение. Оно окончательно решило и выбор, сделанный Николаем—в сторону «мягкости». Но от него же окончательно осмелели и либералы. Для «общества» стало ясно, что с японцами «не справятся». Правительство, казалось, было в тупике. Ему ничего, как-будто, не оставалось, кроме заключения позорного мира. Но позорный мир,—тут вспоминали, конечно, Крымскую войну и Парижский мир 1856 года,—означал, разумеется, уступки внутри страны, уступки «общественному мнению». Когда к Святополку-Мирскому обратились за разрешением созвать земский съезд (запрещенный в свое время Плеве), он наивно согласился, воображая, что земцы будут очень рады собраться потолковать о своих делах. Каково было его смущение, когда он узнал, что земцы собираются просить конституции,—одно упоминание о которой преследовалось Плеве, как государственное преступление. Первым движением этого мягкого и нерешительного человека было—хоть бы отсрочить съезд до января. Но осмелевшие земцы напирали. Они указывали, что

приглашения уже разосланы и откладывать поздно. Святополк-Мирский должен был согласиться на съезд в начало ноября.

В кругах либералов и «освобожденцев» было такое ликование, как-будто революция уже произошла. Земский съезд стал казаться чем-то в роде учредительного собрания. На самом деле, съезд, собранный с разрешения министерства внутренних дел и тщательно охранявшийся полицией от вторжения студентов и рабочих, представлял довольно смешную картину. Уже эти полицейские заботы ясно показывали, что земцы далеко отстали от масс и вовсе не выражают желаний и стремлений большинства населения. Основных вопросов, которые волновали это последнее, земельного и рабочего, съезд вовсе не коснулся. Он занялся исключительно вопросом о конституции, при чем и по этому вопросу раскололся: крупное меньшинство (38 человек из 98) высказалось только за совещательный голос народного представительства в государственных делах,—т.-е. это меньшинство было убеждено, что самодержавие еще необходимо для ограждения интересов помещиков и буржуазии, что ограничивать царскую власть для этих классов вредно. Это была старая земская точка зрения, выразившаяся еще в адресах, подававшихся Николаю по случаю его вступления на престол (в 1895 году). Влияние начинавшейся революции и выразилось в том, что большинству членов земского съезда этого было уже мало: большинство высказалось за решающий голос народных представителей в законодательстве.

Но чтобы ограничить царскую власть, нужно было обладать какой-то настоящей, реальной силой. Этого у пугливо сторонившихся от «толпы» земцев, разумеется, не было. Вся их надежда, в сущности, могла основываться лишь на остатках «ляоянского» настроения в высших сферах. Этих остатков хватило на то, чтобы Николай согласился «потолковать» со своими приближенными о постановлениях съезда (сообщенных правительству неофициально—как неофициальным, частным делом считался и самый съезд). Столковались на том, чтобы издать высочайший манифест, где в конце должно было говориться и о народном представительстве, разу-

меется, по формуле меньшинства, т.-е. о представительстве совещательном. Но в последнюю минуту Победоносцев и Витте, спешивший исправить свою испорченную перед войною репутацию, отговорили и от этого. Манифест, вышедший 12 декабря ст. ст. 1904 года, говорил только об административных реформах и о некотором, весьма неопределенно выраженном—расширении прав населения и свободы печати: о народном представительстве не было ни звука. А одновременно с манифестом изданное «правительственное сообщение» формально запрещало поднимать в общественных собраниях вопрос о конституции.

Манифест 12 декабря поставил земцев в крайне глупое положение. Стало совершенно очевидно, что заговорить самодержавие словами не удастся. Между тем, кроме слов, в распоряжении земцев ничего не было. Слова лились водопадами—«Союз Освобождения», в связи с земским съездом, развил по всей стране обширную «банкетную кампанию». Придирались к разным случаям, например, к 40-летию судебной реформы Александра II (см. ч. II., стр. 107 и след.), чтобы устраивать торжественные обеды, на которые собирались тысячи интеллигентов и кое-кто из либерально-настроенных представителей буржуазии. Рабочих старались не пускать, однако, они, при поддержке студенчества, обыкновенно прорывались и несколько портили настроение обедающих своими, совсем уже не «либеральными», речами. Но и интеллигенция говорила, разумеется, резче, чем земцы на своих деловых совещаниях. За столом обеденным люди, ведь, всегда менее воздержны на язык, чем за столом, покрытым зеленым сукном. Но там ли, тут ли, кроме слов в распоряжении и «либералов», и «радикалов» ничего не было. А Николай, как кот Васька, слушал да ел.

Но немногим лучше шло дело и у революционных партий. Они переживали в это время мучительный период первоначальной организации—в своем роде не менее мучительный, чем период первоначального накопления—и были почти парализованы тою массою усилий, которая на эту работу требовалась. Социал-демократическая партия только что, в сущности, организовалась: о настоящей партии можно было говорить только со времени второго съезда, в августе

1903 года. На съезде впервые был поставлен тов. Лениным вопрос об образовании действительно революционной, боевой рабочей партии, связанной железной дисциплиной и бьющей всеми силами в одну ближайшую цель—низвержение царизма. Почин Ленина встретил поддержку старой группы «Освобождения Труда», в лице Плеханова, пророчески предсказавшего в своей речи некоторые основные черты будущей Октябрьской революции. Но значительная часть марксистской интеллигенции не только из «экономистов», но и из «искровцев», уже тогда понимала «буржуазную революцию»,—а буржуазного характера ближайшего этапа революции не отрицал и Ленин,—так, как впоследствии стал понимать ее и Плеханов: как революцию, по крайней мере, в союзе с буржуазией, если не под ее руководством. Ленину удалось собрать незначительное большинство. Но почти все старые «вожди», с недавно умершим Мартовым во главе, оказались в меньшинстве, их авторитет был еще громаден, без них не умели обойтись, и скоро, несмотря на поражение на съезде, они оказались полными хозяевами в Центральном Комитете и в «Совете» партии (совещание Центрального комитета и редакции «центрального органа», «Искры»). Хуже всего было, что и Плеханов перешел на их сторону. Ленин должен был выйти из редакции «Искры», одним из создателей которой он был, но ленинцы или большевики, как они стали называться (по большинству, полученному ими на съезде), конечно, не сдали своих позиций—и все русские организации сделались театром ожесточенной борьбы «большевиков» с меньшевиками (мартовцами). Влияние этой борьбы на рабочее движение можно оценить по одному конкретному примеру: в конце ноября 1904 г. большевики решили организовать большую манифестацию в Петербурге. Была поведена агитация в рабочих массах, напечатано несколько тысяч воззваний. Но в последнюю минуту меньшевики взяли в петербургской организации верх, манифестация была отменена, и заготовленные листки сожжены. Часть партийных товарищей, главным образом, из интеллигенции, все же вышли на улицу в назначенный день, но рабочие, до которых, естественно, не дошли сожженные воззвания, отсутствовали. Полиция могла на досуге избить собравшихся

студентов и курсисток, одержав, таким путем, легкую победу над революцией [1]).

Но не многим удачнее была и московская манифестация, несколько дней спустя —на нее пришло всего триста рабочих. И это показывает, что эпизод с сожженными листовками, как он ни характерен сам по себе, не может считаться главной причиной неудачи. Главное было, что «склока» большевиков с меньшевиками лишала тех и других доверия в глазах рабочей массы. Сущность и важность спора даже в партийных рядах тогда отчетливо понимали немногие: со всею очевидностью она выяснилась только после декабря 1905 года. Беспартийные же рабочие просто недоумевали—о чем спорят между собою товарищи-интеллигенты, и, в отчаянии от отсутствия единого партийного руководства, готовы были пойти за кем попало.

А человек, готовый вести—или провести—рабочих, уже был на лицо. Это был петербургский наследник Зубатова, Гапон.

Мы уже говорили, что московскую неудачу Зубатова его начальство склонно было рассматривать, как признак личной его, Зубатова, неумелости или недобросовестности, а отнюдь не как доказательство несостоятельности самой идеи зубатовщины. Идея, наоборот, продолжала быть популярной, искали только наиболее подходящего исполнителя. В 1903 г. петербургской охранке показалось, что такого исполнителя она нашла в лице молодого, только что кончившего тогда духовную академию священника Георгия Гапона. Человек живой, с демагогическими наклонностями, которые его впоследствии и погубили, Гапон оказался прикосновенным к какому-то политическому делу и таким путем попал в лапы Зубатова и его помощников. Его «выручили» и дали ему понять, что на службе полиции он гораздо легче найдет удовлетворение своим инстинктам и склонностям, чем на службе революции. Гапон впоследствии уверял, будто он с самого начала надувал полицию, но это было уже долго спустя после того, как история возвела его в звание революционе-

---

[1]) Еще раз напоминаю, что я касаюсь истории партии лишь мимоходом, в связи с общей историей революционного движения.

ра, независимо от того, хотел он этого или не хотел. Поэтому доверять особенно его словам не приходится. Во всяком случае, доверием полиции он пользовался очень долго. Несмотря на противодействие заведывавшего тогда фабриками и заводами министерства финансов, Плеве не только разрешил Гапону открыть в Петербурге подобное московскому «Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве», с уставом еще более «либеральным», но пошел и на открытие общества с еще более широкими задачами, под названием «Собрания русских фабрично-заводских рабочих». Это «собрание», получившее, между прочим, право «учреждать разного рода просветительные предприятия, как-то: библиотеки и читальни, народные чтения, беседы и лекции по общеобразовательным предметам, образовывать различные благотворительные и коммерческие предприятия» и т. д., было форменным «желтым» рабочим союзом. Чтобы правительство пошло на такой рискованный опыт, нужно было, чтобы оно очень верило в способность «своих» людей бороться с легко могшей, казалось бы, проникнуть в такую организацию революционной пропагандой. Несомненно, что тут был даже не один Гапон, а целая шайка провокаторов, которые потом тоже, конечно, не прочь были изобразить себя ловкими революционерами, умевшими дурачить власть. На самом деле, эту последнюю одурачил стихийный рост пролетарской революции в России.

Устав «Собрания русских рабочих» был утвержден в феврале 1904 года, а колоссальный рост его приходится на осень этого года, когда один за другим стали открываться его «отделы» в различных районах Петербурга. Чем привлекало оно в свою среду рабочих? Во-первых, чисто внешними приманками. Жизнь рабочего, даже в Питере, была необычайно сера и убога. Для самого рабочего развлечением были трактир и портерная, семья же его лишена была какого-бы то ни было развлечения. Когда «Собрание» начало устраивать для своих членов общедоступные концерты, это было настоящим откровением. Концертные залы бывали переполнены до того, что полиция иногда совершенно серьезно начинала тревожиться: не провалилось бы? «Вот как у нас, совсем как у аристократов!»—с гордостью толковали между со-

бою жены рабочих, расходясь по домам после концерта. Жалкие крохи, падавшие со стола буржуазии, казались неслыханным лакомством для этих несчастных людей.

Но понемногу гапоновская организация приобретала в глазах рабочих и более серьезное значение. Не сознавая пагубного влияния войны, рабочие не могли его не чувствовать. Цены на все необходимое быстро росли: за один 1904 год они поднялись процентов на 20, на отдельные продукты даже на 30—40. Заработная же плата в среднем выросла всего на 3%, а всякие сверхурочные заработки петербургских металлистов сразу сократились, как только ушла в море, в октябре 1904 года, вторая тихоокеанская эскадра. «Общество» и «Собрание» из средства общаться и сообща развлекаться быстро стали превращаться в нечто, неизмеримо более серьезное—в орудие защиты рабочих интересов от натиска капитала. В Питере повторялась московская история.

Но на этот раз дело было с самого начала серьезнее. Московская агитация зубатовцев падала на совершенно незатронутые революционной агитацией слои рабочих. Классовое сознание в них пробуждалось, когда они уже стали зубатовцами. Вокруг Гапона стали группироваться бывшие члены революционных организаций. Это были, конечно, не наиболее сознательные партийные рабочие, большею частью из крайнего правого крыла, мечтавшие о легальном рабочем движении, на манер старых «экономистов», но еще более аляповато. Но были тут и бывшие большевики, не сумевшие разобраться в склоке и наивно думавшие, что демагог Гапон «шире социал-демократов». Как-никак, это были люди, затронутые политикой, которых и Гапон должен был подкупать политическими обещаниями. Уже в марте 1904 г. он читал своему «штабу» проект петиции, которую рабочие должны были представить царю. С самого начала дело было сложнее московского. Сложнее была и вся обстановка.

За два года, которые прошли с московской истории, революция страшно ушла вперед. Тогда достаточно было предпринимателям обратиться к начальству, и Зубатов слетел, а связанное с его именем движение сразу сникло. Предприниматели зашевелились и теперь, в середине ноября было собрание петербургских фабрикантов и заводчиков, которые

толковали о том, что необходимо «положить конец», «принять меры» и т. п. Но на этот раз мер никаких не последовало: правительство не чувствовало в себе силы бороться сразу на трех внутренних фронтах, и с рабочими, и с революционерами, и с либералами. И, считая правильно самым опасным врагом революционеров, оно делало поблажки либералам и терпело рабочие организации—лишь бы все его враги не соединились. При чем соединения рабочих с либералами оно не боялось—опять-таки правильно. Оно только не сообразило, что либеральная болтовня может быть использована революционерами для наиболее безобидной и невинной с виду пропаганды среди рабочих. А между тем, так и случилось: на рабочих собраниях, в том числе и гапоновских, не таких, конечно, широких, как концертные, читались статьи освобожденческих газет, резко критиковавших самодержавие. Это не была еще революционная агитация, но для серых рабочих, не затронутых социалдемократической пропагандой, статьи открывали совершенно новую сторону дела. Эти серые рабочие начинали видеть, что мир притеснителей и угнетателей не кончается хозяином, его приказчиком и городовым, что на стороне угнетения вся власть—кроме, может быть, царя. Николая даже лево-либеральные газеты трогать в те дни еще не решались, и у рабочих как раз на этот счет могли сохраняться иллюзии.

Так создалась благоприятная почва для осуществления мысли, давно бродившей в голове Гапона: повести рабочих прямо к царю, не затрудняя себя разговорами не только с городовыми и приставами, но и с градоначальником, и с министром. Имел ли при этом Гапон в виду *революционную* манифестацию? Одно маленькое обстоятельство совершенно устраняет подобное предположение: первоначально Гапон имел в виду устроить свою манифестацию 19 *февраля*. Но мы знаем, что происходило в Москве 19 февраля 1902 года (см. стр. 48). День, когда рабочие должны были вспоминать «благодеяние» одного из «Романовых», был малоудобным днем для начала революции. Если социал-демократы, действительно, имели в виду принять участие и в такой манифестации, как говорили и писали в зарубежной печати в те дни, они или забывали московскую историю,

или надеялись повернуть дело по своему, несмотря на Гапона. Но что последний в это время еще не был революционером, едва ли можно сомневаться. Что толкнуло его влево дальше, чем он когда-либо сам воображал? В основе, без сомнения, то, что рабочее движение, само подталкиваемое начинавшеюся безработицею и давно уже чувствовавшейся нуждою, становилось все левее; а ближайшим образом, вероятно, и трусость, только что обнаруженная правительством Николая перед земцами. Плеве не хотел с ними и разговаривать, не допускал даже их разговоров между собою. А теперь не только терпели нелегальный земский съезд, но и считались с его постановлениями, созывали по их поводу совещания, терпели газеты, говорившие таким дерзким языком, каким раньше либерал не посмел бы и думать. С земцами разговаривают, а почему с нами не будут? Такие мысли должны были придти в бойкую, живую и—не забудем этого—весьма наклонную к демагогии голову Гапона.

Этот поворот в настроении Гапона и отметился изменением дня манифестации: с декабря, примерно, когда его «Собрание» стало особенно бурно расти (к этому времени в нем было не менее 7—8.000 членов цифра огромная для времени, когда члены с.-д. организаций считались сотнями), он сроком для нее начинает ставить не 19-е февраля, а падение Порт-Артура. Вместо дня торжества самодержавия выбирается день его унижения. Из выражения верноподданнических чувств демонстрация превращается в суровое напоминание верными подданными царю о его обязанностях.

Как всегда бывает в настоящей истории, а не в романе, устроить все так, как хотелось бы Гапону, не удалось. К тому времени, когда пал Артур и наступил выбранный Гапоном для манифестации момент, движение шло такими бурными волнами, что оставалось только плыть по течению. Повод к началу движения был совсем такой же, как и в мирное время, при прежних столкновениях зубатовских организаций с хозяевами и администрацией. Заводское начальство, уже с ноября готовившееся перейти в наступление, в конце декабря решилось нанести удар. На Путиловском заводе были уволены, вследствие столкновения с мастером, трое рабочих,

членов «Собрания». Несмотря на все хлопоты Гапона и перед этим мастером, и перед директором завода, заводская администрация, решившаяся «дать урок» «зазнавшимся» рабочим, стояла на своем. Рабочая масса начала глухо волноваться. Гапону ничего не оставалось, как или примириться со своим поражением и опозорить себя в глазах всего «Собрания», или итти напролом.

Если бы он не пошел, движение просто отодвинуло бы его в сторону и нашло бы себе других вождей. Путиловский случай переполнил чашу терпения питерского пролетариата. Путиловцы забастовали, за ними начали останавливаться, одно за другим, другие крупные металлургические предприятия Петербурга. Центрами движения стали отделы гапоновского «Собрания», опять-таки, почти поневоле: других центров у рабочих не было. Вот как описывает одно из рабочих собраний очевидец, очень правый социал-демократ, в те дни не революционно настроенный, свободный, поэтому, от подозрений, что он окрашивал события слишком красным цветом: «В собрании царил все время какой-то мистический, религиозный экстаз; в страшной тесноте и жаре часами стояли друг возле друга тысячи народу и жадно ловили безискусственные, поразительно сильные, простые и страстные речи измученных своих ораторов-рабочих. Содержание речей все время было бедное, на все лады повторялись фразы: «мы не можем уж больше терпеть», «нашему терпению уже пришел конец», «страдания наши превзошли уже всякую меру», «лучше смерть, чем подобная жизнь», «нельзя драть с человека три шкуры» и т. д. Но все они произносились с такой удивительной, трогательной искренностью, настолько выходили из самых глубин измученной человеческой души, что та же фраза, произнесенная в сотый раз, вызывала слезы на глаза, заставляла глубоко ее чувствовать и вливала твердую уверенность, что действительно нужно на что-нибудь решиться, чтобы дать выход этому переливавшему через край рабочему горю...».

В конце-концов, в этом неудержимо рвавшемся к лучшей жизни пролетарском настроении от Гапона с его прежними проповедями осталось одно: вера, что счастья можно добиться непосредственно от Николая II. Что этот последний, если

бы даже и хотел, не мог бы дать таких вещей, как 8-часовой рабочий день и «нормальная заработная плата», о которых говорила петиция,—не понимали не только рабочие, не понимал и сам их вождь. Гапон был искренне убежден, что 8-часовой день—это наименьшее, чего могут ожидать рабочие в случае успеха своей манифестации. Его «программа-минимум» состояла из трех пунктов: всеобщей амнистии «политическим», созыва «всенародного земского собора», который бы составил конституцию, и вот этого самого 8-часового дня. И ему в голову не приходило, что этот 8-часовой день,—который он упоминал между прочим, как нечто мелкое и само собою разумеющееся,—не могла бы вырвать даже полупобедоносная революция, как это показал ноябрь 1905 года.

Эту свою «программу-минимум» Гапон излагал в частных разговорах, в «петиции» было написано гораздо больше—тут были и «меры против невежества и бесправия русского народа», и «меры против нищеты народа», и «меры против гнета капитала над трудом», и требование учредительного собрания, выбранного всеобщей, тайной и равной подачей голосов.

Откуда взялась эта петиция? Мы очень ошиблись бы, если бы сочли ее произведением коллективного рабочего творчества, а тем более произведением лично самого Гапона. Последний, по общим отзывам, был человек настолько политически невежественный, что он просто не сумел бы сколько-нибудь стройно и последовательно изложить какую бы то ни было политическую программу. Рабочие же, даже стоявшие во главе движения, «штабные», впервые услыхали изложение основных мыслей петиции от Гапона, по их собственному признанию. Откуда же пришли эти мысли?

Тут приходится припомнить имевшиеся, несомненно, у Гапона связи не только с петербургской охранкой, но и с освобожденческой интеллигенцией. Один из «штабных» рабочих рассказывает в своих воспоминаниях, что в начале ноября 1904 года у Гапона и его «штаба» было свидание с «интеллигентами», при чем по именам называются Прокопович, Кускова и Богучарский. Это был «центр» тогдашнего «Союза Освобождения». «Интеллигенты», будто бы, были поражены необыкновенной политической мудростью Гапона, и во

всем присоединились к «его» проекту петиции. Это было, разумеется, ловко разыгранной комедией, с целью подсунуть рабочим любимую мысль именно этих самых интеллигентов. Приглядевшись к петиции, мы видим, что она отчетливо носила внеклассовый — или всеклассовый — характер, вполне в этом точно отражая проповедь Струве и «освобожденцев». «Повели,—говорила петиция, обращаясь к Николаю,—немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской, от всех классов, от всех сословий. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и доктор, и учитель». Рабочие едва ли так заботились о том, чтобы и капиталисты были представлены в учредительном собрании (притом собрании чисто кадетского типа, созванном не революционным правительством по низвержении царя, а созванном царем).

Был понятен и интерессовал массы 8-часовой рабочий день, но он казался рабочим такою же само собою разумеющейся вещью, как и Гапону. И они заранее высчитывали, сколько должны им «вернуть» хозяева за «лишние», отработанные ими в прежнее время часы. Глубоко-революционного значения этого лозунга никто не понимал, кроме немногих партийных рабочих, пошедших с массой не во имя Гапона и его «петиции», а во имя пролетарской солидарности. Политическое содержание петиции, несомненно, отражало настроение не рабочих, а интеллигенции, и для нее, мы сейчас увидим, 9-е января явилось переломом именно этою своей стороной.

У рабочих переломилось в этот день другое. Нет никакого сомнения, что 99 из сотни твердо верили, что царь может им помочь, больше того, что это единственная и последняя надежда. Не может быть сомнения в этом потому, что сам Гапон в это верил больше, чем наполовину. Обсуждая возможные последствия начинавшегося выступления, он рисовал себе дело так: или царь меня примет и удовлетворит мою просьбу (т.-е. именно его «программу-минимум»), тогда я выйду на площадь с белым платком, махну им и начнется народный праздник; а откажет царь, я махну красным платком, и начнется бунт. Но второе, по словам передающего это его собеседника, казалось Гапону го-

раздо менее вероятным, чем первое. Впрочем, передавали и другое. По этим другим рассказам, речи Гапона были гораздо решительнее. «Устроим баррикады, — говорил будто бы он,—разгромим оружейные магазины, разобьем тюрьму, займем телефон и телеграф —словом, устроим революцию. С-ры обещали бомбы, демократы—деньги, и наша возьмет».

«Освобожденцы», таким образом, снабжали Гапона не только «внеклассовыми» идеями—они обещали снабдить и коечем посущественнее. Но все эти мелкие расчеты тонули в колоссальном потоке стихийного движения. Поток нес Гапона неудержимо. У движения 9-го января, строго говоря, не было ни вождя, ни вождей, потому что революционные организации тоже не вели, а неслись по течению вместе со всеми. Именно потому и приходится 9-е (а по новому стилю 22-е) января 1905 г. считать началом русской революции, что действующее лицо тут было одно: сама народная масса.

Эта масса, сама того не сознавая, шла не только против старого порядка, она шла против буржуазного порядка вообще. Не только самодержавие, но и буржуазное общество не могло ей дать того, о чем она просила. На дворцовую площадь шла не только революция 1905 года, шла Октябрьская революция 1917 г., но революция, еще не осознавшая само себя, не понимавшая даже, что она есть революция.

И только ужасом перед этою надвигающейся революцией, только контр-революционной паникой можно объяснить тот бессмысленный жест, каким ответила на обращение рабочих к царю царская администрация. Ей было бы выгоднее всего, чтобы рабочие как можно позже догадались о революционном значении своего выступления. Ей было бы выгоднее всего, чтобы рабочие как можно дольше верили, что царь все может дать, даже и 8-часовой день, а если не дает, то по его неизреченной мудрости, в интересах самих рабочих. Наоборот, ничего не могло быть для нее невыгоднее, чем внушить рабочим убеждение, что требовать управы на хозяев значит бунтовать против царя. Но ее паника была так велика, она настолько потеряла голову, что эти простые и ясные вещи оказались совершенно вне ее сознания,—и несколькими залпами она в немного минут разъяснила рабочим то, что тщетно уже не мало лет старались растолковать массе

революционные партии: что путь к свободе рабочего класса лежит через труп самодержавия [1]).

---

[1]) Что расстрел рабочих не был „роковым недоразумением“, что тут была сознательно подстроенная ловушка и западня, провокация в самом подлинном и самом подлом смысле слова, это не может подлежать сомнению. Вот что рассказывал тогда же один английский корреспондент и бывший русский профессор, в то же время человек свой в придворных кругах и вполне освоившийся в России, доктор Диллон.

„Я спросил одного придворного, почему сегодня без соблюдения формальностей убивают безоружных рабочих и студентов. Он отвечал: „Потому, что гражданские законы отменены, и действуют законы военные. Вас удивляет, что этого никто не знает, и удивление ваше естественно, но в России мы не можем смотреть на вещи, как смотрите на них вы в Англии. Прошлой ночью его величество решил отстранить гражданскую власть и вручить заботу о поддержании общественного порядка великому князю Владимиру, который очень начитан в истории французской революции и не допустит никаких безумных послаблений. Он не впадет в те ошибки, в которых были повинны многие приближенные Людовика XVI; он не обнаружит слабости. Он считает, что верным средством для излечения народа от конституционных затей является повешение сотни недовольных в присутствии их товарищей; но до сих пор его не слушали. Сегодня его высочество обладает высшей властью и может испробовать свой способ in anima vili, сколько душе угодно... Великому князю Владимиру представляется необыкновенный случай обнаружить свои способности государственного человека и наполеоновские качества, и он ничуть не опасается за результат. Что бы ни случилось, он будет укрощать мятежный дух толпы, даже если бы ему пришлось для этого послать против населения все войска, которыми он располагает“.

Русский автор, у которого мы берем этот текст, прибавляет:

„Что действительно правительство заранее намерено было допустить шествие и расправиться с рабочими, об этом свидетельствует ряд фактов: правительство знало о предполагавшемся шествии из докладов охранки, из письма самого Гапона, об этом знали градоначальник Фулон, товарищ министра внутренних дел, сам министр Святополк-Мирский, Витте, Муравьев, словом знали все за несколько дней до побоища; правительство не приняло никаких мер заранее, даже не вывесило вразумительного объявления с предупреждением о недопустимости шествия; правительство не прибегло, наконец, к своему излюбленному предупредительному средству—арестам, тем более, что охранке все организаторы движения были хорошо известны.—Наоборот, для организации расстрела безоружной толпы 9-го января Петербург был разделен на части, в каждой был свой штаб. Обстановка штаба была на военную ногу. Поставлены были походные кровати. Офицеры и адъютанты сидели в шинелях по походному, пили и курили. Время-от-времени являлись с донесением, требуя „диспозиции“ на завтрашний день и донося, где какие части действуют. Что касается права стрелять, то оно было дано отдельным офицерам на их

Еще до рассвета рокового дня стали собираться рабочие около отделов. Считали, что собралось до 200.000 человек, но самим участникам и этого было недостаточно; «мало народу, мало», толковали в толпе. Последний раз слышались речи, пытавшиеся в словах выразить невыразимое рабочее горе. Вот одна из них, записанная очевидцем, со всей путаницей мыслей, старых и новых, проспвшихся наружу и не находивших себе выхода: «Товарищи, вы знаете зачем мы идем. Мы идем к царю за правдой. Невмоготу нам стало жить. Помните ли вы Минина, который обратился к народу, чтобы спасти Русь. Но от кого? От поляков! [1]) Теперь мы должны спасти Русь от чиновников, под гнетом которых мы страдаем. Из нас выжимают пот и кровь. Вам ли описывать нашу жизнь рабочую? Мы живем в одной комнате по 10 семей, также и холостые. Так ли я говорю?».—«Верно, верно», раздалось со всех сторон. «И вот, товарищи, мы идем к царю. Если он наш царь, если он любит народ свой, он должен нас выслушать»...

А в это время все приготовления к расстрелу были уже сделаны. Войска были на местах,—не надеясь на местные, питерские, подвезли пехоту из Пскова. В интеллигентских кругах об этом знали и в ужасе метались от Святополка-Мирского (все еще номинально министра, хотя после 12 декабря он не имел уже никакого значения) к Витте (тоже еще отставному и еще не вернувшему себе прежнего влияния). Ни тот, ни другой не хотели, да и не могли помочь. Все было теперь в руках военных властей, а те, со своей стороны, во что бы то ни стало хотели «дать урок». Интеллигентская депутация,—к которой принадлежал, между прочим, и М. Горький,—достигла только того, что на другой день ее арестовали... как «временное революционное правительство».

Первый кордон войск и первые выстрелы рабочие встретили уже у городских застав. В одной из свалок Гапон был

усмотрение, об этом говорил им кн. Васильчиков—командир гвардейского корпуса. Толпу не разрешалось пропускать 9-го ближе 50 шагов, а 10-го 300 шагов". (В. И. Невский „9 января". Красная Летопись, 1).

[1]) Так царские учебники объясняли смутное время. Какую роль в действительности играл Минин см. ч. I, стр. 57.

сбит с ног и, вытащенный из толпы своими поклонниками, более уже не появлялся в этот день на сцене [1]). Но большей части манифестации удалось таки добраться до дворцовой площади (теперешняя площадь Урицкого). Зимний дворец, пустой, был окружен густыми массами войск, даже с артиллерией, точно ему угрожала осада. Толпе дали собраться, как-будто нарочно ее заманивали. Все уже начали успокаиваться, считая, что выстрелы на заставах были недоразумением, плодом глупости отдельных начальников. Как вдруг, на площади заиграл рожок,—и пошла «пальба пачками». Сотнями валялись убитые и раненые,—в человеческую гущу можно было бить почти без промаха. После первых минут ужаса разбежавшиеся рабочие пришли в ярость, вымещая на отдельных, попадавшихся им под руку, военных и городовых злодейство всей военно-полицейской своры. Это вызывало новую пальбу—и новые взрывы ярости толпы. До сколько-нибудь организованных революционных действий почти не доходило, только на Васильевском острове разбили оружейный магазин и начали было строить баррикады. Но социал-демократы, на которых накануне никто не обращал внимания, начали играть роль: «их слушали теперь», записал очевидец.

Через несколько дней в Петербурге все было спокойно, настолько спокойно, что назначенный генерал-губернатором Трепов, бывший начальник и покровитель Зубатова, нашел даже возможным «поправить дело», сформировав свою собственную депутацию «от рабочих» к царю. Эта «разрешенная полицией» депутация и была принята Николаем в Царском Селе. Когда «депутаты» вернулись, им нельзя было показаться на заводы от глумлений и ругательств товарищей. Но если в Петербурге было, на улицах, спокойно (забастовка не прекращалась почти ни на один день), то по всему широкому пространству России 9-е января вызвало такое движение, которого никогда еще не было видно раньше. Два месяца перекатывалась забастовка из край в край, захватив 122

[1]) Несколько дней он скрывался в Петербурге, потом ему удалось бежать за границу. Вернулся он уже после октябрьской забастовки, вновь поступив на службу к правительству, был изобличен своими бывшими товарищами и казнен ими, как провокатор.

города и местечка и втянув в себя до миллиона рабочих. Россия в январе 1905 года и Россия в марте того же года, это были две разные страны. Насколько первая была верноподданной, настолько вторая была явно, хотя еще и не организованно, революционной.

Непосредственно у гапоновских рабочих эта революционность в первую минуту выразилась в очень наивной форме: придя к социал-демократам, на которых они вчера еще смотрели свысока, гапоновцы стали им предлагать идти в следующее же воскресенье, уже не с хоругвями, иконами и царскими портретами, а с бомбами и револьверами, мстить за 9-е января. Социал-демократам не нужно было быть большевиками (а это были меньшевики), чтобы отклонить такое предложение, которое на практике ничего не сулило, кроме новой бойни. Гапоновцы ушли, очень разочарованные,—ушли, может быть, на добрую долю к социалистам-революционерам или анархистам, которые, по их мнению, «лучше понимали революцию», чем марксисты. Но масса, шедшая раньше за гапоновцами, теперь, почти инстинктивно, повернула именно к марксистам. Начальство, смущенное всем тем, что произошло, смущенное прежде всего тем, что рабочие не струсили расстрела, как оно ожидало, а еще больше ожесточились, что стачки не утихли моментально, а разлились из Петербурга по всей России, начало неуклюже и косолапо поправлять накликанную им на себя беду. Для изучения причин недовольства рабочих была создана особая комиссия под председательством сенатора Шидловского. Впервые в русской истории в эту комиссию были допущены и представители от самих рабочих. Около выборов этих представителей в Петербурге разыгралась целая кампания, оказавшаяся в полной мере в руках социал-демократов. Во время выборов самые отсталые петербургские заводы услыхали социал-демократическую пропаганду, и в результате ни один рабочий заседать вместе с Шидловским не пошел. Общее впечатление было таково, что даже закоренелые зубатовцы не решились отколоться от массы и подписались под политическими требованиями, составленными социал-демократами, и не заключавшими в себе уже и тени той наивной верноподданности, которой еще была проникнута «петиция» Гапона. Об этих

требованиях, сводившихся, в основе, к одному: «немедленной передаче государственной власти в руки народа», Шидловский не посмел, конечно, и разговаривать (его на другой же день прогнали бы за это со службы), и рабочие, как один человек, отказались тогда участвовать в устроенной правительством комедии.

Но рабочее движение развертывалось в пролетарскую революцию все же довольно медленно. До окончательного торжества революционных лозунгов—в октябрьской забастовке—прошло три четверти года. Гораздо быстрее, хотя зато и поверхностнее, был отклик на начинавшуюся революцию в среде интеллигенции и, отчасти, буржуазии.

9 января правительство думало показать свою «мощь». Как это ни странно, хотя «мощь» была наглядно, казалось бы, обнаружена сотнями убитых и тысячами раненых, у всех (не исключая, мы видели, и самого правительства) впечатление было, что правительство осрамилось. Еще вооруженная сила была вполне в его руках, городовые стояли на своих местах, тюрьмы переполнены; но уже никто не верил, что все это—настоящее, что за всем этим есть настоящая сила. Чтобы понять это, напомним, какое впечатление произвели на «общество» в свое время демонстрации 1901 г. (см. выше, стр 50). Появление толпы на улицах всегда и везде ободряет «комнатных» революционеров; а в январе 1905 года по улицам пошли такие толпы, о каких в 1901 году и мечтать не приходилось. И русская интеллигенция, еще в декабре 1904 года пугливо ежившаяся от окриков начальства по адресу земцев, сразу осмелела, увидав настоящее, подлинное массовое движение рабочих.

Первые три месяца 1905 года и отмечены, поэтому, в истории русской революции тем, что можно назвать «бунтом просветительных обществ». Уже к концу XIX века в России образовалось несколько центров, к которым тяготели средние интеллигенты, представители так-называемых «свободных профессий». То были Русское техническое Общество для инженеров, Московское Общество сельского хозяйства и Вольное Экономическое Общество в Петербурге для агрономов, экономистов, статистиков и т. д., Педагогические Общества (особенно московское) для учителей, Пироговское

съезды для врачей, Московское юридическое Общество для юристов. Последнее было прикрыто задолго до революции (по случаю юбилея Пушкина в 1899 году, когда председатель общества, Муромцев, рискнул бросить слова о «властном произволе» в лицо председательствовавшему на юбилейном собрании в московском университете Сергею Романову); деятельность Вольного Экономического Общества тоже была очень стеснена, но другие общества и съезды действовали в начале 1905 года энергичнее, чем когда бы то ни было. Составлявшая их ядро старая «академическая» интеллигенция (профессора, «известные», большею частью весьма небедные, инженеры, врачи, педагоги и литераторы) была уже с осени 1904 года оттеснена на задний план гораздо более ее радикальными «левыми освобожденцами». Эти последние (состав их мы видели—см. выше, стр. 101) вначале еще робкие, далекие от революционности, быстро смелели, по мере того, как атмосфера накалялась. Из двух душ, которые живут в груди каждого интеллигента, души «грамотея-десятника», помогающего капиталисту эксплоатировать рабочего, и души «разночинца», вышедшего из народной массы и лучше чувствующего ее горе, чем более обеспеченные верхние слои, вторая все больше и больше брала верх над первою. Пример рабочих действовал заразительно—идея интеллигентской политической забастовки уже носилась в воздухе.

«Бунт просветительных обществ» начало Московское общество сельского хозяйства — когда-то степенное, помещичье и чиновничье, а теперь, в руках освобожденцев, вынесшее уже 14 января самую резкую резолюцию протеста против петербургских избиений. Но другие последовали за ним так быстро, что скоро невозможно было разобрать, которое идет впереди. Незабываемую картину представляли собой заседания этих обществ в январе—марте 1905 года. Вместо сухих, скучных докладов, деловых прений перед немногочисленной публикой, всюду шел непрерывный тысячный митинг, куда валила валом вся интеллигентская публика: членских билетов никто не спрашивал. На повестке стояли «текущие дела», но ни о каких «делах», показанных в уставе общества, никто и не вспоминал. Произно-

сились страстные политические речи, выносились резолюции одна «краснее» другой, резолюции, от которых, казалось, должны были бы рухнуть стены тех почтенных, большею частью казенных зданий, где общества продолжали, попрежнему, собираться, и откуда растерявшееся ближайшее начальство, привыкшее повергать во прах прежних «либералов» одним мановением бровей, теперешних «радикалов» даже и не мечтало выжить. Этого начальства, впрочем, нигде и видно не было—и собравшиеся вспоминали о нем не больше, чем об уставе. Если и читались иной раз доклады — руководителям общества на минуту удавалось организовать движение—они посвящены были или объяснению собравшимся основных вопросов демократического строя, или истории революционного движения и тому подобному. И прения по этим докладам очень быстро разливались теми же безбрежными волнами нескончаемого митинга.

Присматриваясь к этим волнам, можно было сразу же заметить резкую перемену их окраски, сравнительно с предшествовавшей осенью, когда «банкетная кампания» давала слабое предчувствие интеллигентского движения второй половины зимы. Тогда говорить публично о конституции считалось уже верхом дерзости—и более «солидная» публика спешила перевести разговор на более неопределенные темы, в роде «законности», «порядка» и т. под. Теперь говорили, в сущности, о республике—хотя самое слово зазвучало только к осени. Не нужно забывать, что радикальная—не социалистическая—Россия не слыхала его со времен декабристов. Но требование созыва учредительного собрания, что фактически означало переход власти в руки народной массы (формула «всеобщего, прямого, равного и тайного голосования» появилась с первого же дня в резолюции, принятой 14 января Московским обществом сельского хозяйства), отчетливо намечало границу, через которую перевалила интеллигенция; конституции, милостиво дарованной своему народу Николаем, никто уже не ждал и никто в нее не верил—по крайней мере, считал себя обязанным делать вид, что не верит. Это одна черта; другой была все больше и все чаще вливавшаяся в интеллигентские митинги пролетарская струя. На банкеты студентам

удавалось проводить отдельные делегации рабочих: на заседания просветительных обществ шли толпы, и на последнем заседании московского педагогического общества, в то время, как в зале интеллигентский митинг договаривался уже до демократической республики, перед залой, в коридорах, шел другой митинг, не менее страстный и более интересный: то было совещание забастовавших московских пекарей.

Что же было причиной такого «паралича власти»—столь огорчавшего тогда всякого убежденного черносотенца? Конечно, еще не страх перед революцией в собственном смысле слова: этот страх стал овладевать Николаем только под самый конец описываемого периода, когда обнаружилась ненадежность военной силы. В январе—марте от этого было еще довольно далеко. Руки правительству связывали две причины—в свою очередь связанные одна с другой и друг друга обусловливавшие: это был явно начинавшийся переход в оппозицию буржуазии и продолжавшиеся, все в более сильной степени, неудачи японской войны.

Мы видели, что падение Порт-Артура, как известная метка, играло роль даже в расчетах случайных вождей рабочего движения: Гапон связывал свое выступление именно с этим событием. Но на буржуазию, в интересах которой и шло кровопролитие, это должно было действовать гораздо сильнее. Если что делало этот класс «патриотическим», так, прежде всего другого, надежда на расширение рынка. Но вести войну так, как вело ее правительство Николая, это значило губить и тот рынок, который еще оставался. «Докладная записка с.-петербургских заводчиков и фабрикантов г. министру финансов», поданная в конце января, прямо ставила палец на рану, указывая на сокращение рынка, в связи с разорением и, стало быть, уменьшающейся покупательной способностью населения. «Не умеете управлять»—так можно вкратце выразить смысл всех, подававшихся по этому поводу записок. И неудача самодержавного способа управления, естественно, перекидывала российского предпринимателя в лагерь сторонников нового, конституционного способа. Необходимости перехода к этому способу, собственно, не отрицал ни один из слуг Нико-

лая: не только Витте, проводивший эту мысль иезуитскими средствами (самодержавие и какое бы то ни было самоуправление несовместимы, а вовсе упразднить самоуправление уже нельзя—так придется ограничить самодержавие: таков был потаенный смысл знаменитой записки Витте о земстве), но и Плеве, откровенно говоривший Шипову, что когда-нибудь конституцию придется дать. Не понимал этого, кажется, один Николай. Дезертирство буржуазии и должно было сделать это ясным даже для него. Когда московские фабриканты, под предводительством С. Т. Морозова, заявили начальству, что свобода слова, печати, сходок, собраний и т. д. есть необходимое условие дальнейшего существования крупной промышленности в России, это было все равно, что предложить выбор: или капитализм, или самодержавие. Но без капитализма самодержавие не могло уже более существовать. Записки фабрикантов были наименее заметным проявлением революционности после 9 января 1905 года: но, нет сомнения, на «высшие сферы» они действовали всего сильнее. В декабре Николай еще колебался: созывать ему представителей или не созывать? А 18 февраля ст. ст. он записал в своем дневнике: «У меня происходило заседание совета министров. Подписал рескрипт на имя Булыгина [1]) относительно разработки способа созыва местных представителей для участия в рассмотрении законопроектов, вносимых в Гос. Совет. Дай бог, чтобы эта важная мера принесла России пользу и преуспеяние».

Недостатком «важной меры» (уже самое изложение показывает, с каким трудом она влезала в голову Николая) было то, что она опаздывала, самое меньшее, на два месяца. Совещательное представительство—вкратце это именно и было то, о чем так длинно и тягуче рассказывал в своей записи Николай—могло бы удовлетворить меньшинство буржуазии в декабре: в феврале оно не удовлетворяло уже никого. И, вдобавок, не прошло недели со дня издания столь «важного» в глазах Николая манифеста, как новый удар на внешнем фронте, удар более тяжелый, чем все

---

[1]) Нового министра внутренних дел, сменившего окончательно уволенного после 9 января Святополк-Мирского.

бывшие доселе, напомнил, что ни о каком расширении рынка путем побед над коварным врагом и думать не приходится.

Мы видели (см. выше, стр. 96), что для перехода в новое наступление Куропаткин дожидался, пока его армия будет иметь решительный численный перевес над японскою. К концу января—началу февраля 1905 года это и было, казалось, достигнуто. Всего с начала войны было переправлено в Манчжурию к этому времени более 800 тысяч человек. Вычитая все потери, а также войска, остававшиеся в тылу, Куропаткин имел под Мукденом не менее 400.000 штыков и сабель на бумаге, по спискам, и не меньше 300.000 на самом деле. Японцы, хотя к ним и подошла теперь армия, взявшая Порт-Артур, были значительно слабее. Уже в конце января русская армия попробовала перейти в наступление (сражение при Сандепу), но обычная безалаберщина привела к тому, что все кончилось бесполезным кровопролитием. Это, однако, была лишь частичная неудача, не обескуражившая русского главнокомандующего, который продолжал готовить решительную атаку по всему фронту. Японцы его предупредили и атаковали первые. По обыкновению, они напали не там, где хотели прорваться, и, отвлекши внимание русских к месту своей демонстративной (ложной) атаки, быстро двинули войска в обход обоих флангов русской позиции. Сражения вокруг Мукдена начались 12/25 февраля, а 25 февраля (10 марта) Николай писал в своем дневнике: «Опять скверные известия с Дальнего Востока: Куропаткин дал себя обойти и уже под напором противника с трех сторон принужден отступать к Телину.—Господи, что за неудачи».

Мукденская неудача была гораздо тяжелее ляоянской. На этот раз не удалось отступить во-время, русская армия была смята и уходила от Мукдена в полном беспорядке, теряя орудия, обозы и десятки тысяч пленных. Более ста лет, со времен Аустерлица [1]), русская армия не испытывала такого поражения. Куропаткин потерял всего,

---

[1]) Поражение русской армии Наполеоном в 1805 году. Описано у Толстого в „Войне и мире", т. I.

с пленными, до 120.000 человек, почти половину всех своих солдат, и смог остановить наступление японцев лишь на 180 верст к северу от Мукдена. Во всей южной Манчжурии не осталось теперь ни одного русского. От окончательного истребления русскую армию спасли только, во-первых, огромные потери самих японцев—и у них выбыло из строя не менее 70.000 человек,—а, во-вторых, слабость японской конницы, которая была вдвое малочисленнее русской. Так же энергично преследовать русских, как они их атаковали, японцы, поэтому, не могли.

Для японцев война была теперь, в сущности, кончена, так как забираться в глубь северной Манчжурии, далеко от моря, никогда не входило в их планы. Но русское правительство, озлобленное своими поражениями, не хотело сдаваться. «С войны побитыми не возвращаются», твердили русские генералы (преимущественно те, что оставались в Петербурге). Пользуясь тем, что война велась далеко от жизненных центров России, на далекой окраине, в Петербурге и после Мукдена продолжали хорохориться, посылали на Дальний Восток все новые и новые войска и с надеждой следили за приближавшейся к Тихому Океану второй эскадрой, вышедшей из Кронштадта в октябре (см. стр. 98). А за Мукден нашли, конечно, виноватого—«ошибками» которого и объяснялось все дело: 1/14 марта Николай «целый день находился в угнетенном настроении духа», а 2/15 записал: «Куропаткин сменен и назначен главнокомандующим Линевич». К маю месяцу он совсем утешился, и стал предаваться обычным невинным развлечениям: 8 мая «убил кошку».

Такая смена настроений объяснялась еще и тем, что за Мукден находилось как будто утешение в победах на внутреннем фронте. В течение этого промежутка времени были, во-первых, закрыты бунтовавшие просветительные общества—при чем долго топтавшаяся перед ними, в нерешительности, полиция, как и следовало ожидать, не встретила никакого сопротивления,—а, во-вторых, была арестована боевая организация партии социалистов-революционеров (4 февраля присоединившая к Плеве самого реакционного и самого энергичного из великих князей, Сергея Але-

ксандровича, правившего Москвою). Этот арест привел черносотенцев в особенный восторг—не нужно забывать, что им всем, как и Николаю, революция казалась особенно страшной именно в образе «бомбы». «Московские Ведомости» писали о провале эсеровских боевиков, как о «Мукдене русской революции», и не замечали, при этом, что таким заголовком они признаются в полном разгроме русской армии под настоящим Мукденом.

На самом деле, эсеровские покушения были лишь одним из отражений интеллигентской революции, а эта последняя была сама лишь отражением огромного сдвига, происходившего в народных массах. Сдвиг, как всегда, шел медленнее, чем хотелось бы нетерпеливой интеллигенции: но зловещим для правительства признаком было уже и то, что даже интеллигентское движение не боялось более полицейских репрессий. Закрытие просветительных обществ только помогло этому движению перейти на следующую организационную ступень: этою ступенью было образование «профессионально-политических союзов».

Чем дальше мы будем отходить от эпохи первой русской революции, тем труднее будет объяснить, что такое были эти союзы. До какой степени мало они походили на профессиональные организации пролетариата (начавшие возникать также в это время: к весне 1905 года уже существовали союзы типографских рабочих, щетинщиков—в Западном крае—и, лишь полу-пролетарский, железнодорожный союз) видно хотя бы из того, что в числе их можно было встретить и «союз равноправия женщин». В других союзах, как союзы инженеров или учителей (оба возникли в апреле), охрана профессиональных интересов брала больше места, но и для этих союзов дело было не в ней. Создание умиравшего «Союза Освобождения» (фактически распавшегося в марте, когда на третьем съезде ушло его левое крыло), эти союзы были зачатком несуществовавших еще и непривычных для русской интеллигенции политических партий. Правительство обанкротилось—после Мукдена это было ясно всем до очевидности; всякие «Севастополи» и «Плевны» были превзойдены, такого сраму еще никогда не было. Оно должно уйти, это тоже было ясно для всех. Кто же займет его

место? Конечно, люди из «образованного общества», выражаясь по-старинному, т.-е. именно сама интеллигенция. Что место низвергнутого дворянско-бюрократического правительства может занять партия пролетариата, это в те дни ни в чью голову не вмещалось (мы имеем в виду головы типичных интеллигентов). Еще больше изумились бы эти последние, если бы им сказали, что только это необыкновенное событие, переход власти в руки пролетариата, и есть успех революции: что если это не удастся, не удалась, значит, и вообще революция. Пророческие слова Чернышевского, что в революции нужно всегда ожидать или полнейшего торжества или полнейшей неудачи, давно были забыты. Вслух отрицая всякую конституцию сверху, отказываясь от всяких уступок Николая, втайне все-таки надеялись, что военные поражения и массовое движение заставят Николая именно пойти на уступки. 18 февраля казалось ручательством, что именно так дело и пойдет. Нужно было столковаться, как быть в таком случае? Чего требовать? Ведь—это предполагалось разумеющимся само собою—«мастеровые» и «мужики» не сумеют толково потребовать, что им нужно. «Образованные люди» должны им помочь. Кто же это сделает? Неужели обтрепанные студенты и курсистки из «подполья», говорящие такие «явные нелепости» о классовой борьбе и тому подобном? Настоящие, солидные интеллигенты должны придти на помощь «народу». Эта роль интеллигенции, как попечительной матери «трудящихся масс», наверное уже напомнила читателю теорию «критически мыслящих личностей», ведущих народ за собою (см. часть II, стр. 143—144). Да, это именно то же самое мировоззрение. Революции 1905 года суждено было нанести ему последний и окончательный удар: но весной 1905 года оно было еще во всем расцвете.

Совершенно естественно, что во главе этой разношерстной массы, где рядом с профессором, инженером с жалованьем в десяток тысяч золотых рублей, адвокатом или доктором с десятитысячной «практикой» стоял сельский учитель в пиджаке, обтрепанном не меньше, чем у подпольщика, с гордостью заявлявший, что он «настоящий пролетарий», ибо, кроме этого пиджака, у него ничего нет,—

совершенно естественно, что руководителями «союзов» оказались социалисты-революционеры, быстро оттеснившие на второй план «освобожденцев» (поскольку те сами не превращались в эсеров) и бдительно охранявшие «союзы» от зловредного влияния марксизма. Но совершенно естественно также, что у этой пестрой толпы, начавшей уже с февраля объединяться в «Союз Союзов» (он окончательно сложился на московском съезде в мае), не нашлось ни общей программы, ни общей тактики. В политической области все «союзы» сошлись только на одном—требовании созыва учредительного собрания; это подчеркивало их демократический характер и отделяло их от правого крыла «освобожденцев», уже готового сложиться в «конституционно-демократическую партию» (в просторечии «кадеты»), в более или менее чистом виде представлявшую буржуазно-либеральное течение. В отношении тактики «союзы» не могли не предоставить своим членам действовать, в сущности, как кто хочет: если бы эсеры сделали обязательной свою террористическую тактику, они растеряли бы $^9/_{10}$ своих «союзников»; в то же время подчиняться пролетарской дисциплине «свободные» интеллигенты считали для себя унизительным—а ограничиться исключительно легальной тактикой будущих кадетов значило бы отказаться от революции, «союзы» же были все-таки революционными организациями. В качестве смутной идеи уже тогда стал возникать план политической забастовки интеллигенции: в конце-концов, единственным пригодным оружием оказывалось пролетарское. Но пустили это оружие в ход лишь тогда, когда пролетариат показал пример, как им пользоваться, и последовал примеру раньше других союзов наиболее близкий к пролетариату—союз железнодорожников.

Пример был усвоен нескоро—лишь к осени. Весною союзы только завязывались, и то, что, едва лишь назначенный полицейским диктатором России, Трепов не принимал никаких экстренных мер к их «обузданию», ясно показывало, как мало значения придавалось наверху новой форме интеллигентской организации. Во всяком случае, в Царском Селе настроение было столь же весеннее, как и погода.

Мукден был понемногу забыт—и раз нашли и наказали виновного, то-есть Куропаткина, значит, все было в порядке. 15 мая Николай записал, что «был очень хороший пикник». В этот самый день за десять тысяч верст от него сдавались японцам последние остатки его флота.

Если Ляоян был неудачей, Мукден поражением, то Цусима была катастрофой. Имя Цусимы так известно теперь всякому грамотному русскому, что едва ли стоит пояснять, что речь идет о самом крупном из островов пролива, отделяющего Корею от Японии. Судьба японской войны решилась на той самой черте, на которой когда-то останавливались вожделения «Романовых». Если бы план Николая—завладеть Кореей—осуществился, на берегах этого пролива развевался бы русский флаг. Теперь в виду этих берегов русский флаг был окончательно спущен — Россия перестала быть великой тихоокеанской державой.

Мы помним, что посылка на Дальний Восток так-называемой «второй» эскадры, в октябре 1904 года, была последним и отчаянным средством выручить осажденный Порт-Артур, ударив в тыл блокировавшему последний японскому флоту. Артур сдался, когда эскадра была еще на полдороге, и дальше ей итти, повидимому, не было никакого человеческого смысла. Но «с войны побитыми не возвращаются», не только на суше, а и на море. Эскадра во что бы то ни стало должна была итти вперед, итти, в сущности, на верную гибель.

Для такого конца эскадра была подготовлена, как нельзя более. Первоначально она состояла из новых броненосцев, непоспевших к началу войны. Это были суда последнего образца, но русской стройки, что означало, что при их оборудовании украдено было больше, чем потрачено на дело; притом, они достраивались на спех, и это, конечно, не способствовало их прочности. Их экипаж, офицеры и матросы, по качеству был гораздо ниже экипажей порт-артурской эскадры; для второй эскадры пришлось использовать запасных, так что с этой стороны она напоминала армию Куропаткина. Привыкшие плавать на старых судах, люди плохо освоивались с последним словом морской

техники. Особенно плоха была артиллерийская подготовка: скупясь на снаряды, за весь огромный переход от Финского залива до берегов Японии только один раз устроили боевую стрельбу. Этого было, конечно, мало, чтобы матросы выучились стрелять. Командир эскадры был ей под-стать. Крутой и жестокий, очень непопулярный среди подчиненных, адмирал Рождественский был старомодным моряком, не понимавшим условий современного морского боя. В этом бою, при тех взрывчатых веществах, какие были изобретены в последнее время, всего опаснее для судна пожар: элементарным правилом, поэтому, стало удалять с корабля, идущего в бой, все деревянные части. Рождественский, дорожа внешним «порядком» и красотой своих броненосцев, строго запретил ломать деревянные надстройки и уничтожать мебель. Мы сейчас увидим, что из этого вышло.

Качества «второй эскадры» во всем блеске выказались задолго до того, как она увидала берега Восточной Азии. Едва выйдя из Балтийского моря в Северное, между Германией и Англией, ночью, эскадра наткнулась на английские рыбачьи суда, вышедшие из Гулля на промысел. Один из вахтенных (караульных) офицеров вообразил, что это японские миноносцы, и приказал стрелять. Началась позорнейшая паника и суматоха. Русские корабли стреляли во все стороны, попадали друг в друга, убивали и ранили своих же, русских офицеров и матросов. Досталось, конечно, и рыбачьим судам, часть которых была потоплена с экипажем. Русское правительство должно было потом подвергнуться международному суду и заплатить крупное вознаграждение семьям погибших англичан.

Падение Артура, которое по-настоящему должно было бы повести к возвращению эскадры домой, послужило лишним толчком к ее гибели. Так как теперь она не могла рассчитывать на поддержку порт-артурской эскадры, ее решено было «усилить» подкреплениями из России. Но в России оставались только старые калоши, еле-еле пригодные для береговой обороны, тихоходные, со слабой броней и устаревшей артиллерией. Они и составили, так-сказать, «третью эскадру». Командовавший ею адмирал Небогатов был несколько толковее Рождественского, но это имело лишь

то последствие, что он не дал утопить свои суда, а благополучно сдал их в плен японцам.

Обремененная разнокалиберным старым ломом, не помогавшим ничем, в то же время страшно мешавшим маневрированию новейших русских броненосцев, потрепанная шестимесячным плаванием, с неопытным, недоученным, экипажем, эскадра Рождественского встретила в Корейском проливе великолепно подобранный, только-что вышедший из ремонта японский флот, экипаж которого, превосходно обученный еще в начале войны, имел теперь за собою год боевого опыта. Как всегда, японцы количественно были слабее русских, но тут качество возмещало недостаток количества. Случилось, на простой, неопытный взгляд, настоящее чудо: стальные русские корабли сгорели от японских бомб. Почему это должно было случиться,—мы уже знаем. Виновник катастрофы, сам раненый, не пожелал, однако же, погибнуть на одном из устроенных им костров, пытался спастись на миноносце, и, настигнутый японцами, сдался им без боя. Небогатов на другой день последовал примеру Рождественского, но, хотя его потом судили строже, у него было больше оправданий: во-первых, на своих «самотопах» он не имел никакой надежды уйти от быстроходных японских крейсеров, а, во-вторых, дерево на судах его эскадры было выброшено в море, почему ни одно из них и не сгорело. Жизнь нескольких тысяч русских матросов была этим спасена. Почти весь экипаж «второй» эскадры погиб,—русские потеряли до 8.000 человек, тогда как японцы менее 600. Только нескольким крейсерам и вспомогательным судам удалось бежать и укрыться в нейтральных портах, и лишь один маленький крейсер добрался до Владивостока.

Цусима произвела на «общество», т.-е. на материально-обеспеченную часть населения, впечатление, гораздо более сильное, чем Мукден. Начальство предвидело это впечатление и скрывало катастрофу так долго, как только возможно: пропуская в газеты разные вздорные (но благоприятные для русских) слухи из иностранных газет, военная цензура три дня скрывала официальные телеграммы японского главнокомандующего, адмирала Того. Но тем

сильнее было действие истины, когда она стала известна. Собравшееся как раз в эти дни в Москве совещание «земских деятелей», которые были правее освобожденцев, имевшее целью столковаться насчет организации будущего «народного представительства» (на основании манифеста 18 февраля) и ставившее себе сначала самые умеренные задания («отказ от сословного начала при выборах» и т. п.), неожиданно для самого себя и к ужасу благонамеренного меньшинства скакнуло к «безотлагательному созыву народного представительства», избранного «путем всеобщей, равной, тайной и прямой подачи голосов». Меньшинству с величайшим трудом удалось замазать эту последнюю, совсем неприличную для помещичьего собрания, формулу, и один из членов этого меньшинства с горестью отмечает: «Чувствовалось, что подавляющее большинство ораторов, как и вообще среди присутствовавших, руководится не столько сознанием необходимости смягчать рознь и разлад между государственной властью и обществом и напрячь все свои силы к созданию возможного между ними единения для укрепления престижа нашей государственной мощи, сколько находится под влиянием, может-быть, и справедливого чувства негодования действиями правительства, вовлекшего Россию в несчастную и непонятную для народного сознания войну и приведшего страну к внутренней и внешней разрухе».

Разгневанные безрукостью правительства помещики в первую минуту хотели всем собранием отправиться к Николаю и требовать от него созыва народных представителей на основе четырехчленной формулы. Меньшинству еле-еле удалось отклонить эту «демонстрацию» и заменить путешествие всем собором посылкой небольшой делегации, представившей царю адрес, более или менее «приличный», т.-е. написанный в обычных холопских выражениях. 6 июня Николай записал: «после докладов принял на ферме (в Петергофе, где царская семья жила «на даче») 14 человек земских и городских деятелей с бывшего в Москве недавнего съезда». Больше ничего. Что ему говорили «деятели», что он отвечал,—молчок. И только две недели спустя его подлинное настроение нашло случай выразиться. В днев-

нике под 21 июня (все числа по ст. ст.) стоит: «...Принял на ферме сенатора Нарышкина, гр. Бобринского, Киреева, Павла Шереметева, других и нескольких крестьян с заявлениями от союза русских людей в противовес земским и городским деятелям...».

«Деятели» все же не могли обойтись без разговора по душе с царем—их «негодования» хватило лишь настолько, что они собирались при этом случае наговорить царю дерзостей, но намерения этого в действие не привели. Интеллигенция уже и «говорить не хотела». Собравшийся в те же дни в той же Москве «Союз Союзов» призывал не говорить, а «действовать», «действовать, как кто умеет и может, как кто способен или считает нужным по политическим убеждениям, как угодно—но действовать. Все средства теперь законны против страшной угрозы, заключающейся в самом факте дальнейшего существования настоящего правительства: и все средства должны быть испробованы. Мы обращаемся ко всем общественным группам, партиям, союзным организациям, частным кружкам, ко всему, что есть в народе живого и способного отозваться на боль, на грубый удар, и мы говорим: всеми силами, всеми средствами добивайтесь немедленного устранения захватившей власть разбойничьей шайки и поставьте на ее место учредительное собрание...».

Лестное сравнение «Романовых» с разбойничьей шайкой до ушей Николая не дошло, а если бы и дошло, он едва ли испугался бы этой бури в стакане воды. Но скоро до него дошли такие вести, которых не испугаться было нельзя. Если земские и городские деятели удостоились в его дневнике одной строчки, а интеллигенция и совсем ни одной, то целые страницы этого дневника посвящены броненосцу «Потемкин Таврический». Это имя не в пример именам «деятелей» Николай хорошо запомнил.

Что война не могла не отразиться на настроении, прежде всего, войск,—это было ясно само собою. Зловещие для «Романовых» признаки появлялись уже довольно давно. Уже в мукденском бою были случаи расстрела солдатами офицеров, пробовавших револьверными выстрелами повернуть отступавших и погнать их снова в огонь. Под Цусимой быстрая

сдача Небогатова объяснялась не только технической бессмысленностью дальнейшего боя, но и тем, что матросы решительно отказывались погибать зря, и на лучшем как-раз небогатовском броненосце перед офицерами оказался выбор: или спустить флаг, или быть спущенными за борт командой. Во флоте настроение, которое еще рано было назвать «революционным», но которое неудержимо стремилось таковым стать, сказывалось гораздо сильнее, чем в сухопутной армии. Это объяснялось социальным составом матросской массы. Современный корабль, со множеством всевозможных механизмов (все его громадные пушки, например, двигаются при помощи машин), очень похож на фабрику. Заводской рабочий несравненно скорее на нем найдется и справится, чем крестьянин, отроду около машин не работавший. К тому же флот никогда не приходится употреблять против «внутреннего врага»: «благонадежность» матроса поэтому казалась много менее необходимой, чем для сухопутного солдата, которому мог представиться случай расстреливать забастовщиков или манифестантов. По всем этим причинам начальство охотнее посылало рабочих во флот, а крестьян в сухопутную армию. Флот Николая II был, поэтому, наиболее пролетарской частью его вооруженной силы.

Приходя в постоянное соприкосновение с командами иностранных судов (где можно было встретить и русских эмигрантов), с портовыми рабочими, менее сознательными, чем заводские или фабричные, но более «буйными», проникнутыми стихийным анархизмом босяцкой массы, эта часть войска была и более революционной. В особенности запасные, лишь вчера снятые с фабрик и заводов, приносили на корабль во всей свежести «стачечное» настроение. А дисциплина флота была более суровой—и еще более крепостнической, чем сухопутная. В казарме офицеры отделены от солдат, встречаются с ними только по службе. На корабле все живут вместе, матросы отлично знали всю подноготную частной жизни офицеров и приучались их презирать—в то же время гнет офицерства чувствовался гораздо сильнее, тяготел надо всем бытом, надо всей личной жизнью матроса. Прибавьте к этому, что морское офицерство царских времен было гораздо более дворянским, чем сухопутное—буржуаз-

ные элементы по традиции (старому обычаю) почти не проникали в морской корпус, еще больший процент офицеров дворян можно было найти только в гвардии—и вы поймете, почему флот несравненно более был готов к революционной вспышке, нежели какая бы то ни было другая часть боевой силы Николая.

Повод к вспышке был, как и перед 9 января, на первый взгляд некрупный и случайный. Матросов очень скверно кормили, тогда как офицерство на их глазах питалось прекрасно, и, что всего лучше, матросы знали, что питается офицерство доброю долею за счет их, матросского, пайка. Прежде это переносилось безропотно, но теперь команда начинала находить непорядком, что «господа» питаются лучше, чем «люди», и по временам это высказывать. Однажды, в середине июня, матросы лучшего черноморского броненосца, «Потемкин», только-что построенного по японским образцам, отказались есть борщ слишком русского образца. Офицер вздумал им «пригрозить», команда отвечала «дерзостями», слово за слово ссора разгоралась и на одно, слишком уже откровенное, замечание матроса Вакулинчука последовал револьверный выстрел, положивший его на месте. Через несколько секунд стрелявшего офицера не существовало, а еще через несколько минут весь командный состав «Потемкина» был за бортом. Броненосец оказался в руках восставшей команды и, с поднятым красным флагом, пошел в одесский порт.

В порту в это время шла забастовка, продолжавшая все время перекатываться из одного крупного центра России в другой. Появление большого военного корабля под революционным знаменем вызвало взрыв неописуемого энтузиазма среди бастовавших рабочих. Убитому офицером матросу, тело которого свезли на берег, были устроены похороны, каких не видывала Одесса. Начальство города съежилось и притихло, особенно после того, как «Потемкин» на попытку начальства «сопротивляться» ответил бомбой из 12-дюймового орудия. Не подлежит сомнению, что если бы матросы были сколько-нибудь организованы, город был бы в их руках через два часа. Сухопутному гарнизону уже начала передаваться революционная «зараза».

Но организации никакой не было, на судне было всего два-три сознательных революционера, все держалось на одном энтузиазме, который быстро стал падать, как только от минутной вспышки пришлось перейти к серьезным и длительным революционным действиям.

Этого энтузиазма хватило еще на одно яркое выступление. Весь черноморский флот был послан в Одессу усмирять потемкинцев. «Потемкин» смело пошел навстречу «усмирителям», и тут случилось событие, не предвидевшееся начальством. Увидев революционный броненосец, на всех парах идущий к эскадре, матросы остальных кораблей, бросив свои посты, высыпали на палубу с криками «ура» в честь «Потемкина». Командовавший эскадрой адмирал был рад-радехонек, что ему удалось повернуть назад и с большею частью судов уйти от страшного корабля под красным флагом. Почти весь черноморский флот бежал от одного броненосца! Но не совсем весь: другой большой броненосец, «Георгий Победоносец», подняв красный флаг, пошел за «Потемкиным» и вместе с ним вошел на одесский рейд.

Это был момент наивысшего подъема восстания в черноморском флоте, крайнего упадка духа у начальства и расцвета самых радужных надежд у случайных руководителей движения. «Чорт знает, что происходит в черноморском флоте,—с тоскою писал в своем дневнике Николай, получив известие о происшедшем под Одессой:—лишь бы удалось удержать в повиновении остальные команды эскадры».

Положение было для Николая лучше, чем ему казалось. Присоединение «Георгия Победоносца», в сущности, не усилило восставших. Настроение команды второго броненосца было еще менее устойчиво, чем настроение потемкинцев. Оставшиеся на «Георгии» офицеры и унтер-офицеры («кондуктора») исподтишка тотчас же повели контр-революционную агитацию. Матросам, которых жуть охватила, когда они подумали, что сделали, стали внушать, что ничего, есть еще средство спасения: надо пойти с повинной к начальству и выдать «зачинщиков». А чтобы обезвредить самый корабль, контр-революционеры посадили его на мель.

«Георгий Победоносец» сдался, а одновременно рухнула и одесская забастовка. Неустойчивость полу-босяцкого рабочего населения порта высказалась тут во всю ширь: на третий день стачки часть забастовавших перепилась, в порту начался пожар, ободрившееся начальство двинуло войска, массы, уже не бастовавшего пролетариата, а пьяных хулиганов, были расстреляны,—в Одессе водворился «порядок». На «Потемкине» тем временем стали приходить к концу уголь и съестные припасы,—броненосец плавал под красным флагом уже почти неделю. В поисках того и другого «Потемкин» ходил сначала в румынскую гавань Констанцу, где потемкинцев приняли учтиво, но отказались что-либо продать; потом в Феодосию, где удалось достать немного провизии, но попытка достать уголь не удалась, при чем стрелявшими с берега войсками было убито несколько матросов. Настроение экипажа падало все более и более. 25 июня Николай, следивший за ходом восстания изо дня в день, мог с торжеством записать: «Князь Потемкин» пришел опять в Констанцу, где команда сдалась румынским властям и перебралась на берег...».

Первое восстание против самодержавия его вооруженной силы кончилось победой самодержавия. Но последнее долго не могло забыть своего позора и своего испуга. «За то нужно будет крепко наказать начальников и жестоко мятежников»,—отметил себе Николай в минуту наивысшего подъема восстания, когда он сомневался, удастся ли «удержать в повиновении остальные команды эскадры». Относительно «мятежников» это было исполнено, насколько было физически возможно: 67 матросов с «Георгия» были расстреляны или сосланы на каторгу. С потемкинцами ничего нельзя было сделать, ибо они были за границей. Но когда один из руководителей восстания, матрос Матюшенко, через два года попробовал вернуться в Россию, его повесили, не обращая внимания на то, что в этот промежуток времени прошла всеобщая амнистия. Этой пощечины самодержавие не могло забыть. Самое имя мятежного броненосца было вытравлено из списков русского флота,—«Потемкин» был переименован в «Пантелеймона».

Военный бунт лишний раз напомнил о том, что войну

надо кончать. Это, впрочем, достаточно ясно было и сразу после Цусимы: изо всего русского флота в Балтийском море осталось только несколько учебных судов, да два недостроенных броненосца. Черноморский флот был, правда, цел, но, не говоря уже о настроении команд, он не имел права выйти из Черного моря [1]). Еще 25 мая (ст. ст.) Николай «принял американского посла Мейера с поручением от Рузвельта». Президент Соединенных Штатов своим предложением посредничества опередил Англию и Францию, с которыми русская дипломатия уже завела переговоры по тому же поводу. От горделивого утверждения, что «с войны побитыми не возвращаются», давно отказались, но дело все еще тянулось. Восстание «Потемкина» заставило поторопиться: 1 июля Николай «принял Витте, который едет в Вашингтон уполномоченным для ведения мирных переговоров с Японией».

Так определил «Потемкин» тактику Николая. А в тактике революции его выступление определило новый шаг вперед: с лета 1905 года на очередь практически ставится задача, о которой в декабре 1904 года, казалось, безумием было бы и думать—задача в о о р у ж е н н о г о в о с с т а н и я.

---

[1]) По конвенции (соглашению), заключенной еще в 1841 году, никакие военные корабли, кроме турецких, не могли проходить Босфора и Дарданелл.

ГЛАВА VI.

Рабочая революция.

Мысль о вооруженном восстании родилась, конечно, не летом 1905 года—она гораздо старше. Со стихийной силой должна была она овладеть умами петербургских рабочих после 9-го января (см. выше, стр. 119). И еще раньше она уже разрабатывалась в революционной марксистской литературе. «Дело рабочего класса—расширять и укреплять свою организацию, удесятерять агитацию в массах, пользуясь всяким шатанием правительства, пропагандируя идею восстания, разъясняя необходимость его на примере всех тех половинчатых и заранее осужденных на неуспех «шагов», о которых так много кричат теперь», писал т. Ленин еще в ноябре 1904 года, в дни пресловутого совещания земцев, споривших о «совещательном» и «несовещательном» представительстве. Всего за несколько дней до «Потемкина» мысль эта осуществилась в довольно крупных размерах. На крайнем западе «империи», в Лодзи, пролетариат—там польский и еврейский, а не русский по происхождению—на расстрел рабочей манифестации казаками ответил расстрелом с чердаков и крыш самих казаков и полиции. Но несмотря на геройскую защиту лодзинских рабочих, их сопротивление легко было подавлено, как только подвезены были войска из Варшавы. Уже лодзинские баррикады (их на улицах Лодзи выросли за эти дни десятки) июня 1905 года достаточно ясно предсказывали судьбу всякого восстания народных масс, хотя бы и кое-как вооруженных, если это восстание имело против себя недезорганизованную, беспрекословно повинующуюся пра-

вительству военную силу. Только переход хотя бы части войск на сторону народа, только нейтралитет (отказ от участия в борьбе) большей их части давали народному восстанию надежду на успех.

Военные неудачи царизма разлагали армию. Вот в чем было объективное значение русско-японской войны, влияние ее не на «настроения» «общества», как это было непосредственно после Ляояна, Цусимы и т. под., а на ход самой революции. Война расшатывала самодержавие, как ветер шатает дерево. Еще до 9-го января Ленин писал, восставая против утверждения меньшевиков, что война есть, прежде всего, «бедствие»: «Дело русской свободы и борьбы русского (и всемирного) пролетариата за социализм очень сильно зависит от военных поражений самодержавия». «Борясь против всякой войны, мы всегда должны отмечать великую революционную роль исторической войны, невольным участником которой является русский рабочий». «Русский народ выиграл от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма».

Но если военные поражения царизма были первым шагом к его гибели, восстание против него его собственной вооруженной силы было вторым, и еще более грозным. «События с поразительной быстротой подтвердили своевременность призывов к восстанию и к образованию временного революционного правительства», писал Ленин на другой день после «Потемкина». «Теперь все социал-демократы выдвинули военные вопросы, если не на первое, то на одно из первых мест, поставили на очередь изучение их и ознакомление с ними народных масс. Революционная армия должна практически применить военные знания и военные орудия для решений всей дальнейшей судьбы русского народа».

Слова о «всех социал-демократах» не были преувеличены. Вот что писала ставшая меньшевистской «Искра» в те же дни, озаглавив свой листок «Первая победа революции»: «Пришло время действовать смело и всеми силами поддержать смелое восстание солдат. Смелость теперь победит.

«Созывайте же теперь открытые собрания народа и не-

сите ему весть о крушении военной опоры царизма. Где только можно, захватывайте городские учреждения и делайте их опорой революционного самоуправления народа. Прогоните царских чиновников и назначайте всенародные выборы в учреждения революционного самоуправления, которым вы поручите временное ведение общественных дел до окончательной победы над царским правительством и установления нового государственного порядка. Захватывайте отделения государственного банка и оружейные склады и вооружайте весь народ. Установите связь между городами, между городом и деревней, и пусть вооруженные граждане спешат на помощь друг другу всюду, где помощь нужна. Берите тюрьмы и освобождайте заключенных в них борцов за наше дело: ими вы усилите ваши ряды. Провозглашайте повсюду низвержение царской монархии и замену ее свободной демократической республикой. Вставайте, граждане! Пришел час освобождения. Да здравствует революция! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует революционное войско! Долой самодержавие!».

Но что говорить о социал-демократах: даже буржуазия после «Потемкина» заговорила другим языком. Тогда уже правый освобожденец, Струве писал: «Всякий искренний и рассуждающий либерал в России требует революции». А на земском съезде 6/19 июля слышались такие речи: «Когда мы ехали в Петергоф 6 (19) июня, мы,—говорил Петрункевич,—еще надеялись, что царь поймет грозную опасность положения и сделает что-нибудь для ее предотвращения. Теперь всякая надежда на это должна быть оставлена. Остался лишь один выход. До сих пор мы надеялись на реформу сверху, отныне единственная наша надежда—народ. (Громкие аплодисменты). Мы должны сказать народу правду в простых и ясных словах. Неспособность и бессилие правительства вызвали революцию. Это факт, который надо признать всем. Наш долг—употребить все усилия, чтобы избежать кровопролития. Многие из нас отдали долгие годы на службу родине. Теперь мы смело должны итти к народу, а не к царю»... «До сих пор мы надеялись на реформы сверху, но пока ждали, время сделало свое дело. Революция, споспешествуемая правитель-

ством, перегнала нас. Слово: «революция» так испугало вчера двух наших членов, что они ушли со съезда. Но мы должны мужественно смотреть в лицо правде. Мы не можем ждать со сложенными руками».

На «революцию» будущие кадеты были уже согласны—только без «кровопролития»... Во всяком случае, от того настроения, которое создало депутацию к царю ровно за месяц раньше (когда Петрункевича больше всего беспокоило, что у него нет белых перчаток), не было и следа: буржуа готов был снять не только белые, но и всякие вообще перчатки.

Движение, однако же, шло не так быстро, как боялась буржуазия и как надеялись революционные партии. От массового выступления «Потемкина» отделяло еще три месяца. Этими тремя месяцами царизм, как умел, воспользовался: во-первых, для того, чтобы ликвидировать войну; во-вторых, чтобы подготовить и себе массовую опору, сорганизовав те слои населения, которые он считал «преданными».

Первое было гораздо легче второго. Победоносная Япония вовсе не склонна была расширять свою территорию на азиатском материке на север, в сторону Сибири. Для Японии вся война велась, фактически, из-за господства над Китаем. Став твердой ногой в Порт-Артуре—чему помешала Россия в 1895 году—японцы оказывались так близко к Пекину, столице Китая, как только им было нужно. Как колония, их пока вполне удовлетворяла Корея. Ни о возвращении Порт-Артура, ни о притязаниях России на Корею теперь, после Мукдена и Цусимы, не могло быть речи. Что касается территорий, между Россией и Японией шел спор только из-за о. С а х а л и н а—из которого царское правительство ничего не сумело сделать, кроме каторжной тюрьмы, и где японцы нашли ценные природные богатства. Стратегически (с военной точки зрения), владея Сахалином, Япония превращала внутреннее Японское море в японское озеро: выход из него к югу шел через Цусиму, к северу через узкий пролив, отделяющий Сахалин от материка. России стоило бы отстаивать Сахалин, будь у нее флот на водах Тихого Океана: но с 14—15 мая он был на дне... Без флота использовать свои военные преимущества Рос-

сия все равно не могла бы—спорить опять было не из-за чего. Главный спор, в конце-концов, пошел из-за денег: затратившая огромные суммы на войну Япония желала получить их с России в виде контрибуции. На это Николай ни в каком случае не шел, не столько потому, что это обременило бы Россию новым тяжелым долгом, сколько из самолюбия: платящая контрибуцию страна тем самым как бы расписывается в своем поражении. Этой расписки Николай давать не хотел и нашел здесь неожиданных союзников—в союзниках Японии. Ни Англия, ни Америка отнюдь не желали выпускать Японию из-под своей финансовой опеки. Победа Японии и то была слишком велика и блестяща, по их ожиданиям: царская Россия так дала себя расколотить, как не рассчитывали даже ее враги. Дать к этому японцам еще финансовую независимость, значило создавать на Тихом Океане новую великую державу, что вовсе не входило в планы ни англичан, ни американцев. Когда при переговорах с Витте (в Портсмуте, в Соед. Штатах) японцы стали было упрямиться на вопросе о контрибуции, их кредиторы (война велась Японией преимущественно на американские и отчасти на английские деньги) дали им понять, что в случае продолжения войны ни на какую поддержку рассчитывать нечего. А Япония была уже совершенно истощена, и денег у нее не было. Пришлось мириться, удовольствовавшись хоть небольшим клочком шерсти русского медведя, в виде «вознаграждения за содержание пленных» (русских пленных было в Японии несколько десятков тысяч). Сахалин же решено было разделить пополам: Россия, таким образом, отделалась гораздо дешевле, чем можно было рассчитывать по тяжести понесенных ею поражений.

16/29 августа Витте подписал мирный договор, вернув себе этим «подвигом» милость Николая: тот был так обрадован, что возвел нетерпимого им бывшего министра финансов в достоинстве графа, т.-е. сопричислил его к высшему российскому дворянству, до тех пор презрительно смотревшему на «выскочку», из начальников железнодорожной станции поднявшегося до министра. «Романовы» же—если не всей семьей, официально, то, по крайней мере,

частным образом, поодиночке—повидимому, все-таки нашли утешение в потере корейских богатств. Ровно через десять лет за границей всплыл до чрезвычайности странный документ, нечто в роде векселя: обязательство японского правительства уплатить предъявителю (по имени не названному) 120 миллионов японских «йен» (ок. 100 милл. руб. золотом), в обмен на все, без исключения, военные секреты русского правительства, которые тот должен был доставить. Этот странный документ сопровождался еще более странной оговоркой, что Япония обязана платить полностью лишь в том случае, если в указанный в документе срок она не будет снова воевать с Россией. Так как Япония в это время не только не воевала с Россией, а вместе с Россией, Англией и Францией вела войну против Германии, то естественно, что «предъявитель» не получил ни гроша: документ объявлен был «подделкой»— хотя японские дипломаты не отрицали, что подпись маршала Ямагаты, тогдашнего (1905 г.) японского первого министра, подлинная. Как на поддельном документе могла оказаться подлинная подпись, этого мы разбирать не станем, отметим лишь, что заключен мог быть подобный договор только с кем-нибудь из «Романовых»: быть обладателем всех русских военных секретов и, больше того, обещаться, что Россия не будет вновь воевать с Японией, частное лицо не могло, будь то даже один из министров,—его завтра же могли прогнать, и он мог утратить всякое влияние. Да и по размерам взятка была истинно «великокняжеская», если не «царская».

В конце-концов, за издержки «романовской» авантюры расплатился русский солдат [1]). За это, по мнению «Романовых», его оставшиеся дома родственники, русские крестьяне, должны были быть вечно благодарны «Романовым» и служить им надежной опорой против «внутреннего врага». В этом была суть «романовской» конституции, опубликованной за две недели до заключения мира, 6/19 августа.

[1]) Русская сухопутная армия потеряла в войне 41.000 чел. убитыми и 57.000 искалеченными (не считая 148 тыс. раненых и выздоровевших). К этому надо прибавить тысяч 12 погибших матросов.

Длинный и медленный товарный поезд, двинувшийся в путь 18 февраля, когда Николай с таким трудом выжал из своего мозга мысль о «привлечении достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений», дошел, наконец, до станции. К этому времени груз его давно утратил всякую ценность

Революция жила, самое медленное, месяцами, иногда неделями, иногда даже днями. А «романовское» правительство продолжало жить годами, и ему казалось, вероятно, что оно очень спешит, выработав такой важный законопроект (шутка ли? Народное представительство!) в полгода. На самом деле, основная идея проекта, идея совещательного представительства, устарела уже в феврале. Уже в феврале этого было мало даже для буржуазии. После Цусимы, а в особенности после «Потемкина», о земском совещании в ноябре 1904 г. вспоминали, как о временах до-петровских. Совершенно ясно, что навязать «булыгинскую думу» [1]) России можно было бы, только попытавшись раздавить сначала революцию. Петергофские совещания конца июня ст. ст., под председательством царя, были, таким образом, заранее осуждены на то, чтобы иметь «академический» характер, и интересны лишь как образчик мыслей и взглядов на положение тех, кто еще правил тогда страной. Первоначально эти люди явно рассчитывали своим «положением» наградить верноподданных и наказать тех, кто бунтовал. «Бунтовщики», рабочие и интеллигенция, не получали, по этому первоначальному проекту, голоса на выборах в думу: большинство ее должно было составиться из помещиков (34%) и крестьян (43%)—остальные 23% доставались фабрикантам, заводчикам, крупным и мелким торговцам. Особенно выразительно было полное устранение от выборов евреев, элемента крамольного и ненавистного вдвойне. Кажется удивительным относительное большинство, предоставленное крестьянам. Но тут надо

[1]) Так был назван публикой проект, по имени председателя комиссии, его вырабатывавшей министра внутр. дел Булыгина.

иметь в виду, что «беспорядков», по размерам подобных 1902 году, деревня в 1905 году еще не видала. Движением до лета были охвачены 62 уезда (14% собственно русских губерний, без окраин), но в них преобладала стачечная форма борьбы: это было восстание батраков, а еще не крестьян-хозяев. Последние, по сравнению с рабочими, представлялись архи-благонадежным элементом, и члены совещания из крупных помещиков не могли ими нахвалиться. «Необходимо обеспечить присутствие крестьян в думе, как элемента консервативного и способного лучше всех выражать свои собственные нужды»,—говорил князь Волконский.

«Все мы одухотворены одним желанием: облегчить стране переход к новому порядку без потрясений. Залог этого спокойствия мы увидим в поддерживаемой нами системе сословных выборов. Об устойчивую стену консервативных крестьян разобьются все волны красноречия передовых элементов. Предоставлять крестьян их собственным силам в трудной борьбе за места в думе невозможно. Им надо помочь»,—поддерживал его граф Бобринский.

«Крестьянский элемент и я считаю полезным для спокойной и плодотворной деятельности думы. Крестьян можно уподобить ценному балласту, который придаст устойчивость кораблю—думе в борьбе со стихийными течениями и увлечениями общественной мысли»,—вторил им крупный чиновник Шванебах.

Князей, графов и тайных советников скоро ждало горькое разочарование, но пока-что они могли утешаться «устойчивой стеной» и подсластить «ценным балластом» ту горькую пилюлю, которую история все-таки заставила их проглотить уже теперь: и интеллигентов, и евреев пришлось пустить в думу. Антисемитический характер избирательного закона был крайне неудобен в ту минуту, когда начинались мирные переговоры с Японией при посредничестве американского президента Рузвельта. Это драгоценное посредничество (мы помним, какую услугу оказала Америка России при заключении мира) отнюдь не разумелось само собой: к Рузвельту пришлось добывать нечто

в роде рекомендательного письма от императора Вильгельма. Но Рузвельт не мог не считаться с общественным мнением Соединенных Штатов, а нигде еврейские погромы не вызывали такого негодования, как в Америке. Напоминать о своем антисемитизме в эту минуту было более чем некстати,—и Николай смиренно припрятал свою ненависть к евреям до «лучших дней». Скоро, мы увидим, он был более чем утешен. А на том, чтобы дать голос буржуазной интеллигенции, настаивали его министры,—в кадетских адвокатах и профессорах они правильно усматривали главную свою, в будущем российском парламенте, опору против крайних левых. Интеллигенция была, вдобавок, пущена только самая отборная: чтобы быть избирателем, в столице нужно было платить за квартиру не менее 1320 р. золотом в год, т.-е. иметь заработок в 5—6 тысяч золотых рублей. Не только городские учителя, но даже учителя гимназий, даже младшие преподаватели университетов не попадали в эту категорию, а студенты были заранее из нее изъяты, кроме того, еще и возрастным цензом,—чтобы быть избирателем, нужно было иметь не меньше 25 лет. Как далеко все это было от «всеобщего избирательного права» (а ни один уездный съезд статистиков или агрономов летом 1905 г. не помирился бы на меньшем,—«четыреххвостка» была так популярна, что слово это знал и понимал даже Николай!), покажут две-три цифры. Петербург при $1^1/_2$ миллионах населения имел $9^1/_2$ тысяч избирателей, Москва с населением более миллиона—11 тыс. (замоскворецкое купечество помогало), Одесса с 405 тыс. жителей—7 тысяч избирателей, и т. д.

Рабочие были лишены права голоса и в окончательном проекте,—за этих «крамольников» и Рузвельт, слава богу, не заступался, и министрам они не были нужны. Пролетариат, поэтому, был избавлен даже от надобности ответить на этот избирательный закон бойкотом. Но пролетарская партия немедленно, в лице большевиков, призвала к бойкоту и те классы населения, которые имели право голоса на выборах. Судя по тому, как встречала буржуазная публика социал-демократических ораторов на собраниях осени 1905 г., когда заходила речь о думе, можно думать,

что в городах бойкот прошел бы блестяще. Но «булыгинская дума» осталась на бумаге,—революция не дала времени даже приступить к выборам.

В то время, как Николай с помещиками и чиновниками вырабатывал конституцию, которой никогда не суждено было осуществиться, лишенный ими всяких прав рабочий вырабатывал свою, которая воплотилась в жизнь, правда, не скоро, но за то оказалась гораздо более прочной. Тем же летом 1905 г. в России появился первый совет рабочих депутатов.

Эта рабочая конституция, в противоположность булыгинской, не обсуждалась ни в каких комиссиях, и по поводу ее не спрашивали мнения авторитетных экспертов-профессоров (при обсуждении булыгинского проекта был привлечен знаменитый историк Ключевский). Она выросла из самой жизни—из забастовочной борьбы, которую вели рабочие и с самодержавием, и с хозяевами.

Мне уже неоднократно приходилось упоминать, что с января 1905 года забастовки, если брать все пространство тогдашней России, не затихали ни на минуту. Чтобы нагляднее представить себе размах забастовочного движения этого года, приведем несколько цифр. Вот, во-первых, сравнение числа рабочих—в тысячах—бастовавших в России в 1905 г. и максимального числа рабочих—в тысячах же—бастовавших за пятнадцатилетие 1894—1908 гг. в других странах:

Россия (1905 г.)	Соединен. Штат.	Германия	Франция
2.863	660	527	438

Ни в одной из других стран количество забастовщиков ни за один год этого периода не доходило даже до одной четверти числа русских рабочих, бастовавших в 1905 году. А так как численностью русский пролетариат уступал, конечно, и американскому, и германскому, и даже французскому, то уже из этого сравнения можно вывести, что каждый русский рабочий бастовал за этот год не один раз. И действительно, если мы возьмем за 100 количество всех русских рабочих 1905 года, количество забастовщиков будет 164.

Это дает возможность сравнить движение 1905 года с предшествующими годами. Ни в один из этих годов количество стачечников не превышало 5% всего числа рабочих—только в 1903 г. оно чуть-чуть превысило эту норму (5,1). В 1905 году движение шло, таким образом, в тридцать три раза «гуще», чем когда-либо ранее.

Позже, когда мы будем подводить движению итоги, мы разберемся в нем поближе,—кто именно и как бастовал. Мы тогда увидим, что были категории рабочих, которые даже в 1905 году не бастовали ни одного разу. Но какие непосредственные результаты получались у тех, кто вел борьбу?

Прежде всего, после 9-го января как-то само собою кажется, что каждая забастовка в России была отражением политической борьбы, протестом рабочих против самодержавия. Конечно, как проявление острой классовой вражды, всякая забастовка была фактом политическим,—это еще Желябов заметил. Но такой она была объективно, независимо от сознания самих рабочих, и этой объективной стороны в дни Желябова почти никто из рабочих не замечал. В 1905 году было, разумеется, уже иначе, но, тем не менее, большая половина забастовок этого года все же выдвигала еще экономические лозунги. Из общего числа стачечников под экономическими лозунгами бастовало 1.439 тысяч рабочих, с политическими—1.434.

Даже участвовавшая в движении часть рабочей массы не сосредоточила еще всех своих ударов на самодержавии. Она боролась и с царем, и с хозяином,—и с хозяином даже больше, чем с царем, ибо забастовок с одними политическими лозунгами было очень мало, и экономические требования выдвигала почти каждая политическая забастовка. Каково было настроение задних рядов рабочей массы, даже тех ее отрядов, которые бастовали особенно настойчиво и самоотверженно, лучше всего описать словами одного из руководителей крупнейшей забастовки лета 1905 года, знаменитой стачки иваново-вознесенских текстильщиков, охватившей более 50 тыс. человек и державшейся два месяца, с мая по июль. По продолжительности это была самая грандиозная стачка, какую видала Россия.

И вот что, однако, рассказывает этот товарищ:

«В речах ораторов, в первое время стачки, не было не только решительных и смелых призывов к вооруженной борьбе, но вообще наблюдалась тенденция подходить к острым вопросам революции очень осторожно. Это вызывалось тем соображением, что настроение большей части бастующих, наиболее отсталых элементов, было отрицательное ко всем этим вопросам. Это было видно из того, что при попытках товарищей затронуть эти вопросы, создавалось шумное настроение большинства участников собрания; отовсюду слышались крики: «Довольно! Не надо об этом! Мы хотим мирной борьбы, а не революции, у нас забастовка экономическая!»—и т. п.

Однажды Ф. Кукшин («Гоголь») после коротенькой речи с трибуны крикнул: «долой самодержавие». После этого толпа так громко волновалась и протестовала против этого, что одному из товарищей-интеллигентов не малого труда стоило ее успокоить. После этого случая для нас особенно стало ясным, что бастующих нужно еще подготовлять, соответствующим образом воспитывать в политическом отношении, и что подход к этому воспитанию должен быть очень умелый и осторожный. Это воспитание происходило регулярно на ежедневных общих собраниях бастующих, и Талка [1] превратилась в полном смысле в «университет политического воспитания бастующих рабочих», который, интенсивно работая, делал это свое дело с большим успехом».

А между тем, иваново-вознесенская стачка, несомненно, принадлежала к числу политических: она выставила требования свободы печати, союзов и собраний, неприкосновенности личности и жилища и даже созыва учредительного собрания на основе всеобщего, прямого и т. д. избирательного права. Кто удивится, как при таких условиях могли взволноваться рабочие, услыхав «долой самодержавие», тому мы напомним петицию Гапона, где, ведь, тоже все эти политические требования были—а рабочие, тем не менее, шли с нею к царю. Настроения, изжитые

---

1) Река, на берегу которой собирались рабочие.

петербургским пролетариатом еще в январе 1905 года, по всей России изживались лишь очень медленно. Через два с половиною месяца и иваново-вознесенские рабочие, по отзыву того же товарища, «стали совершенно неузнаваемы», но за ними приходилось проделывать ту же воспитательную работу над другими.

Что иваново-вознесенцы были далеко не из «последних», и показывает та классовая конституция, которую они себе дали. Забастовавшие рабочие, конечно, выбрали депутатов для переговоров с властями и хозяевами,—это было обычное дело. Но обычно каждая фабрика имела своих депутатов и вела переговоры отдельно. На то же наталкивали рабочих и здесь фабричная инспекция и хозяева. Я, заявлял каждый из последних, готов разговаривать со «своими» рабочими, а до других мне дела нет. Но иваново-вознесенцы отлично проникли в этот излюбленный буржуазией маневр раскалывания стачки. Они выбрали уполномоченных—около 100 человек—от всей забастовавшей массы и потребовали, чтобы все переговоры велись со всеми, от класса к классу. И рабочие держались этого так дружно, что даже, когда один из фабрикантов сдался и предложил «своим» стать на работу на очень выгодных условиях, эта единоличная капитуляция была, в первую минуту, отвергнута.

Так возник в России первый совет рабочих депутатов между 13 и 15 мая ст. ст. 1905 г. Первый раз рабочие выступили, как «класс для себя», уже совершенно независимо от влияния каких бы то ни было «демократов», как это было с гапоновцами. И, в полном соответствии с этим, чисто-классовое требование восьмичасового рабочего дня было принято первым советом рабочих депутатов единогласно.

Само собою разумеется, что это требование слышалось не только в Иваново-Вознесенске,—в забастовках 1905 г. оно становится обычным. Гораздо любопытнее, что в целом ряде случаев бурный стачечный поток этого года сносил предпринимателей до уступки на этом пункте,—рабочие добивались осуществления этого лозунга. В течение весны, лета и начала осени завоевали 8-часовой день рабочие са-

харных заводов киевского района, самарские типографы, инструментальная мастерская завода военно-врачебных заготовлений и патронный завод в Петербурге, механическое отделение экспедиции заготовления государств. бумаг (тепер. Гознак), некоторые мебельные фабрики и маслобойни, рабочие тифлисского трамвая, рудокопы Дальнего Востока и тартальщики бакинских нефтяных промыслов. Пусть в некоторых случаях дело остановилось на обещании владельцев предприятий ввести 8-часовой день,—уже эта «принципиальная» уступка была громадным успехом пролетариата. Круг рабочих, добившихся почти 8-часового дня, $8^1/_2$ и 9-часового, был еще шире: $8^1/_2$-часового добилась часть текстильщиков (морозовские фабрики) и крючники петербургского порта, 9-часового —рабочие железнодорожных мастерских, большинство фабричнозаводских рабочих Варшавы, Бердянска, минские типографы. Наконец, 10-часового дня добилось большинство заводских рабочих и московские пекаря.

Если вспомнить, каким успехом рабочего класса признавалось всеми установление 10-часового дня на английских фабриках в 1840 годах, мы получим масштаб завоеваний русских рабочих в этой области в 1905 г. Как и раньше, в этой области предприниматели были уступчивее,—в области заработной платы они были гораздо упрямее. Но, тем не менее, довольно существенных уступок добились рабочие и здесь. Сейчас упомянутые московские пекаря добились в апреле,—эта стачка мимоходом упоминалась выше, по поводу «бунта просветительных обществ»,—увеличения расценок на 50%. Описанная сейчас Иваново-Вознесенская стачка считалась неудачной, и, действительно, результаты не оправдывали затраченной на нее колоссальной энергии рабочих: но все же увеличения заработной платы на 15—20% они добились; кроме того, одна из фабрик согласилась на введение «фабричной конституции»,—прием и увольнение рабочих были переданы комиссии из представителей управления и рабочих, на паритетных началах. В Шуйском уезде вообще заработок повысился % на 10, для ткачей и ткачих. В Москве, на Прохоровской мануфактуре, средний месячный заработок поднялся с 14 р. (май 1904 г.) до 16 р. 80 к. (март 1905), 17 р. 73 к. (август 1905) и

19 р. 54 к. (ноябрь того же года). Но более всего выиграли, конечно, наиболее квалифицированные группы рабочих. На Путиловском заводе плата поднялась: для литейщиков со 157 к. (в день) до 184, для рабочих механической мастерской со 197 к. до 225, для котельного цеха со 143 до 176, для пушечного цеха с 220 до 252, для инструментальной мастерской с 246 до 299. Здесь было максимальное повышение нормы заработной платы—на 17,7%; в механической мастерской повышение было только на 14,2%, и т. д. Но повысились расценки везде, и это рядом с уменьшением рабочего дня до 10 часов.

Эти экономические завоевания рабочего класса мало обращали на себя внимание интеллигенции, даже революционной,—слишком занята была она чисто-политической борьбой и под ее углом зрения смотрела на все. Между тем, факт имел огромное значение именно для хода и результатов политической борьбы. Низвержение самодержавия было немыслимо без вооруженного восстания. Правительство—это, прежде всего, отряды вооруженных людей,—говорил Энгельс: не противопоставив правительственным отрядам своих отрядов, царской армии—революционной армии, нечего было говорить не только о победе, но даже о сколько-нибудь серьезной борьбе. А у рабочих складывалось убеждение, впоследствии весною 1906 г. наивно высказанное одним малосознательным пролетарием, именно в силу этой малой сознательности попавшим в члены первой государственной думы: «стачкой можно всего добиться». Но если стачка обладает такой чудодейственной силой,—к чему же вооруженное восстание, да еще во имя политических лозунгов, далеко не всеми слоями рабочей массы вполне усвоенных? Речи о вооруженном восстании начинали казаться фразой, которая «так» говорится, чтобы напугать. А, между тем, это был единственный реальный, жизненный план.

И, как нарочно, теория «стачкизма» скоро смогла похвастаться блестящим успехом: именно стачка вырвала у самодержавия первую принципиальную уступку.

Ни к одному из событий революции 1905 года не приложимо в такой степени название «стихийного», как к октябрьской забастовке. Без всякого преувеличе-

ния, всего за месяц ни одна из революционных организаций не думала, что мы стоим накануне новой громадной волны рабочего движения, гребень которой поднимется далеко выше 9 января. Поглощенные, как мы уже сказали, текущей политической борьбой, эти организации все свое внимание сосредоточивали на предстоящих, как казалось, выборах в «булыгинскую думу» и на агитации в пользу бойкота этих выборов. А так как было ясно, что бойкот может удасться, самое лучшее, в пределах городов, что деревня будет выбирать и в лице помещиков, и в лице крестьян, то массовое выступление пролетариата и приурочивалось к созыву думы, предполагавшемуся 10 января по ст. ст. 1906 г.,—как нарочно, это было на другой день годовщины «кровавого воскресенья», которого русский рабочий не мог не вспомнить. Оставшиеся три-четыре месяца давали полную, казалось, возможность развить агитацию и в пользу бойкота, и в пользу нового политического выступления рабочих.

Эта агитация сразу же, кстати, могла уцепиться за новую «революционную возможность», открывшуюся, благодаря тем демагогическим заигрываниям министров Николая II с буржуазной интеллигенцией, о которых уже говорилось выше. Сосредоточивая всю силу сопротивления на борьбе с рабочим движением, правительство Николая, уступив правому крылу земцев на «булыгинской думе», решило уступить и крайней правой городской интеллигенции, в лице профессуры, на университетской автономии. Профессура этой автономии давно добивалась. По сути дела, спор тут был очень близок к спору о «властном земстве»,—к вопросу о независимости местных дел от местной чиновничьей администрации. Земцы добивались, чтобы их губернатор был своим, земским губернатором, а не присланным из Петербурга «бюрократом». Профессора хотели, чтобы университетом управлял их, выборный, ректор, а не назначенный из Питера чиновник, попечитель учебного округа. Ни те, ни другие, ни земцы, ни профессора, не думали при этом отрицать даже самодержавия: только бы они непосредственно подчинены были центру, а не местной «бюрократии». Как всем политически

ограниченным людям, им казалось, что все непорядки в университете происходят от того, что профессора «не хозяева у себя дома». Дай только им власть в руки, и в высшей школе водворится «тишь, гладь и божья благодать». Если рассматривать земство, как чисто-помещичье учреждение, а высшую школу, как учреждение классовое, буржуазное, и земцы, и профессора были в известной степени правы: избранник местных землевладельцев имел бы среди них больше авторитета, нежели присланный из Петербурга чиновник; буржуазный профессор больше мог повлиять на буржуазную же молодежь, нежели ненавистная этой молодежи «полиция», в лице ли инспектора, в лице ли попечителя округа.

Впоследствии, в мирное время, «автономия» и оказывала в этом направлении услуги самодержавию. Но в 1905 году и буржуазная молодежь была захвачена и увлечена массовым движением. Ее руководящие кружки принадлежали в те дни, если не к социал-демократам (преимущественно меньшевикам), то к социалистам-революционерам. Для самодержавия ни от тех, ни от других не могло быть большой выгоды. Оно рассчитывало передать власть в высшей школе будущим кадетам и октябристам, а университетская автономия оказалась в руках эсдеков и эсеров. Съехавшееся после каникул 1905 г. студенчество решило не продолжать забастовки, которой оно не прекращало с 9-го января, но использовать университетские аудитории для революционного движения. По всем высшим школам пошли тысячные митинги, которым полиция не могла помешать, потому что в «автономную» школу она входа не имела, без приглашения местных властей. А те и рады были бы позвать городового, но настроение студенчества не позволяло об этом и думать. После первого же митинга, в три тысячи человек, ректор московского университета Трубецкой запротестовал-было и хотел закрыть университет, но волны пошли через его голову. Скоро и профессорский, «академический», союз (один из «профессионально-политических, см. выше стр. 127—129) должен был признать митинги в стенах высшей школы нормальным явлением. Революция завоевала себе свободную трибуну.

Сами завоевавшие, повторяю, не думали, до какой степени это будет кстати. Чуть не на другой день после первых же университетских митингов новая волна рабочего движения уже была налицо.

Предвестники надвигающейся бури чувствовались уже недели за три. В конце августа (ст. ст.) вновь вспыхнула стачка на нефтяных промыслах в Баку; причиной было неисполнение нефтепромышленниками данных ими еще в конце 1904 г. обещаний. Для борьбы с забастовкой на этот раз было пущено в ход средство, в те дни новомодное, но которому предстояла широкая популярность: против рабочих были двинуты мобилизованные администрацией черносотенцы. «По мелочам» этот прием пускался в ход и раньше: в Курске еще весной против манифестации учащихся, в Нижнем Новгороде летом против интеллигенции и рабочих. В кавказской обстановке дело приняло характер вооруженной резни. Баку сделалось театром гражданской войны, во время которой выгорела вся Балахано-Сабунчинская промысловая площадь. Первым последствием был острый нефтяной голод: нефть вздорожала на 200—300%. Следующим—обострившаяся заминка в тех предприятиях центрального промышленного района, которые работали на нефти. Не нужно забывать, что кризис первых лет XX века все еще не был изжит окончательно,—новый промышленный подъем наступил только уже в 1909 году. Фабрики и заводы начали закрываться, безработица усиливаться, брожение среди рабочей массы также

В эту раскаленную атмосферу начали падать, как нарочно, вспыхивавшие одна за другой во второй половине сентября (ст. ст.) частные забастовки. Заслуживает внимания, что, вопреки мещанской теории о «царе-голоде», как вожде революций, бастовали вовсе не самые голодные—и самые отсталые—группы пролетариата, наоборот, поднимались слои уже со славным забастовочным прошлым, имевшие крупные завоевания, материальное положение которых не ухудшалось, а улучшалось относительно, но которые, конечно, никак не могли считаться удовлетворенными. Тут надо вспомнить, что увеличение заработной платы даже наиболее выигравших рабочих не превышало 20%, тогда как

цена жизни поднялась на 25—30% [1]). Забастовочная борьба, в сущности, еле-еле помогала рабочему держаться на том жизненном уровне, который он себе завоевал к началу XX столетия.

Если он не хотел спускаться, ему нужно было бороться дальше, бастовать и бастовать. Те, кому удавались прежние забастовки, естественно, шли увереннее по этому пути и легче начинали. Московские печатники уже в 1902 г. добились крупного увеличения заработной платы и с тех пор имели свою—нелегальную—организацию. Военная дороговизна (не забудем, что мир только-что был заключен, и давление войны на внутренний рынок еще ощущалось со всею силой) свела почти к нулю все их предшествующие завоевания. Нужно было бастовать дальше. Нелегальная организация,—которою уже овладели в то время меньшевики,—стремилась оттянуть выступление все до того же рокового дня, созыва думы. Но «несознательные рабочие», как писал московский корреспондент большевистского «Пролетария», «чистые экономисты и небольшая группа рабочих, прошедших через зубатовскую школу», как пишет меньшевистский историк движения [2]), настояли на немедленной экономической забастовке. Пишущему эти строки пришлось быть на одном заседании забастовочного комитета печатников, и ему не показалось, чтобы его члены были «несознательными» в классовом смысле слова. Но они, конечно, весьма далеки были от политической революции. Спор с хозяевами у них шел «из-за запятой», как шутливо выразился тов. Троцкий: наборщики требовали, чтобы им платили за знаки, а правления типографий, по традиции, стояли за расчет по буквам; разница выходила около 12%.

К наборщикам очень скоро присоединились пекаря, группа опять-таки недавно, в апреле, выигравшая большую забастовку и имевшая все основания жаловаться на неисполнение предпринимателями данных тогда обещаний.

---

[1]) Если мы примем цены десятилетия 1890—99 гг. за 100, цены 1906 г. будут:

для хлебных продуктов	120,8
„ животных продуктов	137,3
мануфактуры	139,9

[2]) Хрусталев-Носарь в „История Совета рабочих депутатов“.

Внешний ход дела так хорошо изображен в той статье «Пролетария» (№ 21, от 4 октября ст. ст. 1905 г.), на которую мы сейчас ссылались, поправляя ее в вопросе о «несознательности» [1]), что дальше мы передадим дело ее словами.

«Стачку наборщиков в Москве начали, как сообщают нам, несознательные рабочие. Но движение сразу ускользает из их рук, становится широким профессиональным движением. Присоединяются рабочие иных профессий. Неизбежное выступление рабочих на улицу, хотя бы для оповещения неосведомленных еще о стачке товарищей, превращается в политическую демонстрацию с революционными песнями и речами. Долго сдерживавшееся озлобление против гнусной комедии «народных» выборов в гос. думу прорывается наружу. Массовая стачка перерастает в массовую мобилизацию борцов за настоящую свободу. На сцену является радикальное студенчество, которое и в Москве приняло недавно резолюцию, вполне аналогичную петербургской; резолюция эта по-настоящему, языком свободных граждан, а не пресмыкающихся чиновников, клеймит гос. думу, как наглую издевку над народом, призывает к борьбе за республику, за созыв временным революционным правительством действительно всенародного и действительно учредительного собрания. Начинается уличная борьба пролетариата и передовых слоев революционной демократии против царского воинства и полиции.

«Таково именно было развитие движения в Москве. В субботу, 24 сентября (7 октября), кроме наборщиков, не работали уже табачные фабрики, электрические конки; начиналась стачка булочников. Вечером состоялись большие манифестации, в которых, кроме рабочих и студентов, принимала участие масса «посторонних» лиц (революционных рабочих и радикальных студентов перестают уже считать посторонними друг-другу при открытых народных выступлениях). Казаки и жандармы все время разгоняли манифестантов, но они постоянно собирались снова. Толпа

---

[1]) Статья написана тов. Лениным („Собр. соч.“, VI, стр. 494 и сл.), но он сам оговаривается, что передает полученные из Москвы сообщения.

давала отпор полиции и казакам; раздавались револьверные выстрелы, и много полицейских было ранено.

«В воскресенье, 25 сентября (8 октября), события сразу принимают грозный оборот. С 11 часов утра начались скопления рабочих на улицах. Толпа поет Марсельезу. Устраиваются революционные митинги. Типографии, отказывавшиеся бастовать, разгромлены. Народ разбивает булочные и оружейные магазины: рабочим нужен хлеб, чтобы жить, и оружие, чтобы бороться за свободу (совсем так, как поется в французской революционной песне). Казакам удается рассеивать манифестантов лишь после упорнейшего сопротивления. На Тверской, около дома генерал-губернатора, происходит целое сражение. Около булочной Филиппова собирается толпа подмастерьев-булочников. Как заявляла потом администрация этой булочной, рабочие мирно выходили на улицу, прекращая работу из солидарности со всеми стачечниками. Отряд казаков нападает на толпу. Рабочие проникают в дом, забираются на крышу, на чердак, осыпают солдат камнями. Происходит правильная осада дома. Войско стреляет в рабочих. Отрезываются всякие сообщения. Две роты гренадеров производят обходное движение, проникают в дом сзади и берут неприятельскую позицию. Арестовано 192 подмастерья, из них восемь ранено; двое рабочих убито. Со стороны полиции и войска есть раненые; смертельно ранен жандармский ротмистр».

Видевшие это движение своими глазами не забудут одной черты: все возрастающего б е с с т р а ш и я толпы. Раньше разбегавшаяся при одном крике: «казаки! драгуны!», она теперь н а п а д а е т на казаков и на драгунов. Уже не толпа их, а они толпы начинают побаиваться; нагайки и даже сабли и пики не оказывают уже никакого действия,— все чаще и чаще слышатся звуки винтовочных выстрелов, и скоро, чувствуется, заговорят пушки.

Революции еще не было ни в лозунгах, ни в поступках, поскольку эти лозунги стихийно выдвигались, поступки стихийно совершались массой. Но н а с т р о е н и е уже было революционным. Масса еще не делала революции и не сознавала, что она на ее пороге, но она уже была г о т о в а ее делать.

Но движение пока еще оставалось местным, московским. «По сочувствию» с московскими наборщиками забастовали петербургские,—но это было простой демонстрацией, закончившейся через пару дней. Когда Ленин писал свою статью, типографская стачка была, в сущности, уже в прошлом. До 5 октября (ст. ст.) газеты отмечали лишь ряд митингов в высших учебных заведениях, демонстрации по случаю похорон внезапно умершего первого выборного ректора московского университета С. Н. Трубецкого, манифестации учащихся и т. под. Все это, по тогдашним временам, было чрезвычайно обычно и не представляло собою ничего нового. И только 6-го октября короткая телеграмма из Москвы, в самом будничном тоне, возвестила нечто «новое»: «Вечером забастовали машинисты на московско-казанской жел.-дор. С двух часов дня забастовали рабочие мастерских московско-казанской жел. дор.».

Едва ли кто, прочтя это сухое известие, почувствовал, что начинается всероссийская забастовка. А между тем это было так: московская забастовка заставила бастовать всю страну именно с того момента, когда в нее вошли железнодорожники.

Железнодорожники опять были одной из групп, успешно ведшей стачечную борьбу в начале года. В феврале они добились, как мы помним, 9-часового дня в мастерских и «фабричной конституции»: участия представителей от рабочих при приеме и увольнении. Дальнейшая борьба, уже из-за заработной платы, была круто оборвана железнодорожным начальством, объявившим дороги мобилизованными (тогда еще шла война—это как раз было в дни Мукдена). Теперь война кончилась, начальство чувствовало, что на какие-то уступки надо пойти, и разрешило в конце сентября в Петербурге делегатский съезд железнодорожных служащих и рабочих, со скромной целью—пересмотра пенсионного устава. Едва ли министерство путей сообщения было так наивно, чтобы думать, что дело этим ограничится: просто, программу съезда окургузили возможно больше, чтобы развязать руки начальству и дать ему возможность в любую минуту крикнуть—«этого не разрешено!» Предвидение начальства оправдалось—съезд, конечно, по-

требовал и 8-часового рабочего дня, и учредительного собрания, и полной амнистии,- словом, всего, чего обычно требовали «профессионально-политические» союзы, к которым принадлежал и железнодорожный. Оправдалось и другое предвидение начальства, разрешившего съезд в качестве «оттяжного пластыря»: делегаты, среди которых преобладали служащие, а не рабочие, оказались на практике гораздо смирнее, чем в теории, и высказались против стачки.

Но тут обнаружилось, что важно не то, что делает съезд в Питере,—а что думают о нем на местах. Для железнодорожников это было своего рода учредительное собрание; масса рисовала себе деятельность съезда самыми революционными красками — ей казалось, что он вот-вот провозгласит демократическую республику. И когда разнесся слух, что съезд разогнан, а делегаты арестованы, все этому поверили. При таких условиях, шести машинистам Казанской дороги, членам революционных организаций, ничего не стоило организовать з а б а с т о в к у м а ш и н и с т о в.

К машинистам сейчас же примкнули, быть может, даже опередили их—мастерские и депо. За ними вошли в стачку телеграфисты и правления (т.-е. их «аппарат», разумеется; нет надобности пояснять, что «правления», как таковые, т.-е. управлявшие дорогами старшие инженеры, не бастовали; но, кажется, и не боролись с забастовкой). Последнее было, пожалуй, излишней роскошью. Раз некому было водить поезда, некому было освещать путь этим поездам телеграммами, некому было чинить подвижной состав, движение в несколько дней должно было остановиться само собою. Возвращавшиеся в Москву с последними поездами могли видеть длинные вереницы линейных рабочих, стрелочников, сторожей, тянувшихся в город: им нечего было больше делать на линии. Они стали забастовщиками помимо собственной воли. Но они очень быстро входили в роль. Сидеть дома было невыносимо, они шли на митинги и в несколько дней докрасна накалялись той атмосферой революции, которою уже давно дышала Москва.

И тут впервые стало ясно многим, начиная с самодержавного правительства, не понимавшего машины, у рычага ко-

торой оно само стояло, что значит полная остановка железнодорожного транспорта в современном капиталистическом обществе. «Появились озабоченные бюллетени хлебной, товарной, мясной, зеленной, рыбной и других бирж. Цены на съестные продукты, особенно на мясо, быстро крепчали. Денежная биржа трепетала. Революция всегда была ее смертельным врагом. Как только они оказались лицом к лицу, биржа заметалась без памяти. Она бросилась к телеграфу, но телеграф враждебно молчал. Почта также отказывается служить. Биржа постучалась в Государственный Банк, но оказалось, что он не отвечает за срочность переводов. Акции железнодорожных и промышленных предприятий снялись с места, как стая испуганных птиц, и полетели—но не вверх, а вниз. В темном царстве биржевой спекуляции воцарилась паника и скрежет зубовный. Денежное обращение затруднилось. Платежи из провинции в столицы перестали поступать. Фирмы, производящие расчет на наличные, приостановили платежи. Число опротестованных векселей стало быстро возрастать. Векселедатели, бланкодатели, поручители, плательщики и получатели засуетились, заметались и потребовали нарушения созданных на их предмет законов, потому что она—стачка, революция—нарушила все законы хозяйственного оборота» [1].

Удар по кредиту был самым чувствительным ударом для буржуазии, но неотведенный во время он был бы смертельным ударом и для царской казны. Рента уже давно падала. Русские ценные бумаги давно кучами предлагались на всех заграничных биржах—их никто не брал... А между тем, самодержавию до зарезу нужен был новый заем, для «поправки» после войны, для восстановления потонувшего флота, для пополнения истраченных военных запасов. Недаром «поправлять дело» позвали человека с биржи—царь снова вспомнил о Витте.

Совершенной, конечно, случайностью было, что Николай позвал Витте в первый раз именно тотчас, как разразилась железнодорожная забастовка,—8 октября по ст. ст. Но как бы то ни было, топтанье Николая перед уступкой народу

---

[1] Л. Троцкий „1905“, стр. 95.

и развитие забастовки шли рука об руку, день в день. Ширилась забастовка—и больше колебался Николай. И день 17 октября, когда он подписал сочиненный Витте манифест, был днем самой полной остановки всей промышленности и всего транспорта. В этот день шли телеграммы о всеобщей забастовке из Сосновиц на германской границе, и из Асхабада, Закаспийской области, из Одессы и Юрьева—эстляндского, из Тифлиса и из Казани, из Кургана за Уралом и из Новочеркасска Донской области. Бастовали уже не только железные дороги и фабрики, бастовали средние учебные заведения и банки, адвокаты и судьи, служащие городских управ и чиновники контрольной палаты. Забастовочное настроение разносилось всюду, куда доходила рельсовая колея и телеграфная проволока. Вот две газетные телеграммы, которые можно считать типичными: «Тамбов 14/X. Ощущается недостаток нефти, керосина и колониальных товаров. Забастовали железнодорожные мастерские и два завода. Учащиеся духовной семинарии, мужской гимназии и реального училища прекратили занятия. Заведения закрыты. Общее состояние тревожное». «Курган 17/X. Сегодня последовало полнейшее прекращение работ служащими и рабочими станции «Курган». Прекратили работы городские мукомольные заводы». Железнодорожники всюду подавали сигнал—и по железнодорожному свистку останавливалось все.

Витте поставил перед Николаем провокаторский вопрос: или подавить все это, объявив военную диктатуру, или уступить, дав конституцию. Николай, конечно, от всей души желал первого. Но люди, которым он не мог не доверять—знаменитый Трепов, только что издавший свой приказ «патронов не жалеть», и не менее знаменитый, впоследствии, Николай Николаевич, будущий главнокомандующий империалистской войны, единогласно свидетельствовали, что патронов-то сколько угодно, но что при их помощи нельзя сдвинуть ни одного остановленного забастовщиками поезда. На совещании с Витте «военный министр и генерал Трепов, которому был подчинен петербургский гарнизон, заявили, что в Петербурге достаточно войск для того, чтобы подавить вооруженное восстание, если таковое появится в Петербурге и в ближайших резиденциях государя, но что

в Петербурге нет соответствующих частей, которые могли бы восстановить движение хотя бы от Петербурга до Петергофа» (где жил тогда Николай). Самодержавие было технически бессильно перед железнодорожной забастовкой—и это повергало его в панику. К царю его министры не могли приехать—должны были пробираться на маленьких, сильно качавшихся в осеннюю погоду, пароходах, «чуть не вплавь». И это так сильно било по лакейским мозгам, что генерал-адъютанты обсуждали вопрос, как Николаю и Александре Федоровне бежать заграницу с детьми—дети такая обуза, «большое препятствие». А между тем семеновцы и конногвардейцы еще исправно рубили и расстреливали народ на петербургских улицах, и ни один полк, даже в провинции, не присоединился еще к рабочим. А командир всех этих полков, Николай Николаевич, когда услыхал, что его прочат в военные диктаторы, взял револьвер и отправился с ним в кабинет царя. Придворные рассказывали, что Николай «большой» грозился застрелиться из этого револьвера перед Николаем «маленьким». Мы точно не знаем, какие жесты с револьвером производил в царском кабинете великий князь, но было это непосредственно перед подписанием манифеста.

Теперь стало известным (из воспоминаний Витте), что, кроме неуверенности в войсках, поведение Николая «большого» определилось еще уверенностью в том, что при помощи «конституции» можно перевести на мирные рельсы рабочее движение. Перед октябрьскими днями Николай Николаевич Романов свел знакомство с крайним правым гапоновцем Ушаковым, почти таким же провокатором, как и сам Гапон. Этот рабочий из экспедиции заготовления государственных бумаг, и раньше водившийся с начальством и даже с министрами—ходил «поздравлять» Витте, когда тот вернулся после заключения портсмутского мира,—теперь взялся быть политическим советчиком великих князей. Он рассказал Николаю Николаевичу, что «благонамеренные» рабочие всячески борятся с революционерами в рабочей среде, но тщетно, ибо рабочие, не имея никаких прав и никаких других способов действия, кроме нелегальных, естественно, идут за революционерами, которые этими нелегальными действиями руко-

водят. Но стоит дать рабочим возможность действовать легально, и они, будто бы, пойдут за Ушаковым и его товарищами. На Николая «большого» эти слова Ушакова произвели сильное впечатление,—у него, что называется, глаза открылись: вот оно, оказывается, как с забастовками-то можно справиться! И он окончательно укрепился в мысли, что нужно немедленно «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», как было сказано в утвержденном Николаем «маленьким» проекте виттевского манифеста.

И Ушаков и его высокопоставленный ученик скоро должны были жестоко разочароваться в успехе этой новой зубатовщины: рабочие и не думали использовать «незыблемых основ» для «мирной» работы. Попытки создания желтых организаций в эти дни не имели ни малейшего успеха. Совет Ушакова, может быть, имел свой смысл до 9 января: но теперь, когда у рабочих уже существовали организации, возникшие явочным порядком, они шли совсем не к «мирной» деятельности в рамках самодержавной монархии—они начали уже строить свое временное революционное правительство.

Идея революционного правительства, как и идея восстания, была к этому времени высказана в большевистской литературе уже давно. С того момента, как лозунг «учредительного собрания» был подхвачен буржуазной интеллигенцией и извращен ею: вместо верховного органа революции получилось собрание, созванное царем для сочинения конституции,—Ленин стал резче выдвигать вопрос о том, кто созывает это учредительное собрание. Какая-то власть должна была его созвать: какая же? Разумеется, не царь, а власть, вышедшая из вооруженного восстания, власть «временного революционного правительства». Меньшевикам, конечно, эта идея показалась очень дерзкой и способной «отпугнуть» буржуазию—без которой они не мыслили «буржуазной» революции. Они, поэтому, поспешили окургузить лозунг, выдвинув идею «революционного самоуправления». Оставляя в тени вопрос, кто будет распоряжаться в центре, они агитировали за то, чтобы восставшие на местах захватывали власть в свои

руки, оттесняя местные власти—губернаторов, градоначальников, исправников и т. д.

Все эти споры во всем разгаре были уже летом 1905 г., образчик меньшевистской агитации мы уже видели в воззвании, выпущенном «Искрой» после восстания на «Потемкине» (см. стр. 141). История как-будто нарочно захотела дать предметный урок. Орган «революционного самоуправления» возник в Петербурге по инициативе меньшевиков, рядом со старой властью,—и был этой последней уничтожен без больших с ее стороны усилий, раз эта старая власть усидела в седле.

Совет рабочих депутатов должен был возникнуть из забастовки в Петербурге так же стихийно, как возник он летом в Иваново-Вознесенске. Частично он уже и возникал в пред-октябрьские дни в Москве, в виде совета депутатов типо-литографских рабочих—но распался, как только прекратилась типографская стачка. В Петербурге первое собрание—тоже частичное—совета (были только депутаты от фабрик и заводов Невского района) произошло уже 13 октября. От его имени было выпущено воззвание, где говорилось: «Мы предлагаем каждому заводу, каждой фабрике и профессии выбрать депутатов по одному на каждые пятьсот человек. Собрание депутатов фабрики или завода составит фабричный или заводский комитет. Собрание депутатов всех фабрик и заводов составит Общий Рабочий Комитет Петербурга. Этот Комитет, объединив наше движение, придаст ему организованность, единство, силу. Он явится представителем нужд петербургских рабочих перед остальным обществом, он определит, что нам делать во время забастовки, и укажет, когда прекратить ее».

Итак, первоначально это был забастовочный комитет, объединявший стачку, так же, как и в Иваново-Вознесенске. Но в Петербурге, с самого начала, дело было гораздо сложнее, ибо политический момент, в Иванове отступавший на второй план (см. стр. 151), во всеобщей забастовке октября 1905 г. занимал первое место. Первый толчок к железнодорожной забастовке был уже политический—борьба за неприкосновенность, как казалось железнодорожному пролетариату, угрожаемую, железнодорожного делегатского съезда. Присоеди-

нившиеся к железнодорожникам остальные группы пролетариата шли по тому же направлению. Как образчик, вот резолюция рабочих печатного дела (находившихся, обратим на это внимание, под влиянием меньшевиков), принятая и представленная в петербургский совет 14 октября: «Всеобщая политическая забастовка, объявленная Р.С.-Д.Р.П., является первой ступенью, с которой рабочий класс пойдет дальше по пути решительной борьбы с царским самодержавием.

Признавая недостаточность одной пассивной борьбы, т.-е. одного прекращения работ, постановляем: «обратить армию забастовавшего рабочего класса в армию революционную, т.-е. немедленно организовывать боевые дружины. Пусть эти боевые дружины позаботятся вооружением остальных рабочих масс, хотя бы путем разгрома оружейных магазинов и отобрания оружия у полиции и войск, где это возможно».

Таким образом, даже меньшевистски настроенные рабочие понимали, что начинается борьба за власть между царизмом и рабочим классом. Это понимала вся рабочая масса Петербурга. Проще всего эту мысль выразил один текстильщик с фабрики Максвеля.

«Нет, жить так нельзя. Припоминая всю нашу борьбу с 1884 г., все стачки 1885, 1888, 1896 годов [1]), не прекращающуюся борьбу в течение 1905 года, все рабочие нашей фабрики на своей шкуре чувствовали, что наше положение ухудшается с каждым днем. Но нет другого выхода, как взять в руки дубину и сокрушить все, что мешает нам жить. Бороться за жизнь нам мешало самодержавие. Хозяйский гнет удесятерился двуглавым орлом. Вынесши все на своих горбах, на первый раз мы знали, что надо стереть самодержавие».

Настроение петербургских рабочих было, таким образом, чисто большевистское, пролетарски-революционное,—и большевистская организация Петербурга сделала, конечно, большую ошибку, отстранившись в первую минуту от совета, как от создания меньшевиков. Ошибка эта была быстро исправлена—уже с 15 октября (а первое «пленарное» заседание происходило 14-го) представители большевистской

---

[1]) Эти даты относятся к фабрике Максвеля.

фракции входят в состав совета. Как бы то ни было, совет начал с шагов, отнюдь не революционных—как путешествие в петербургскую городскую думу, состоявшую тогда из представителей богатого купечества и зажиточной интеллигенции, главным образом, среднего и крупного чиновничества. К этому почтенному собранию председатель пролетарской организации обращался с речью, где не то требовал, не то просил, чтобы дума отпустила средства на вооружение рабочего класса. С таким же успехом можно было бы обратиться с этим требованием к самому Николаю. Буржуазное собрание отказало, разумеется, пролетарскому наотрез в его ходатайстве.

На самом деле, настроение массы было в это время таково, и в Питере, и в Москве, что уж если когда можно было говорить о вооруженном восстании, так именно теперь. То, что октябрьская забастовка не перешла в вооруженное восстание, было первой неудачей рабочей революции. Почему эта неудача ее постигла?

Тут, помимо всего прочего, надо помнить, что стачка вспыхнула стихийно—что революционные организации были к ней не готовы. Что у революции бывает только один момент высшего подъема, что, пропустив его, вторично уже не поймаешь, этого еще неопытные в революционных боях руководители движения сразу не учуяли. Не только в Петербурге, где у руля оказались меньшевики, но и в Москве, где руль твердо держал в руках большевистский комитет, 17 октября сочли за достаточный успех и поспешили дать отбой: т.-е. сделали именно то, на что било своим манифестом самодержавие, которое пошло на «дарование всех свобод» вовсе не потому, чтобы оно окончательно капитулировало, а потому, что ему была нужна передышка.

Что оно тут, на месте, и никуда не ушло, самодержавие постаралось показать буквально на другой же день после победы рабочего класса. 17-го Николай подписал свой манифест, а с 18-го по всей России идет волна погромов, направленных против интеллигенции и евреев—громить рабочих не решались, ограничиваясь нападениями на отдельных рабочих депутатов. План погрома был до такой степени трафаретный, точка в точку одинаковый всюду и везде, что

одного этого достаточно было бы, чтобы ни один разумный человек в их «стихийность» не поверил. Кучка местных «благонамеренных граждан», из лавочников и спекулянтов, во главе с попами и в сопровождении понемногу росшей толпы босяцкого хулиганья, с портретом Николая—добытым из полицейского участка и трехцветными флагами, отправлялась «патриотическим шествием» по улицам города, распевая «боже, царя храни».

Уже вся эта картина, на фоне только что победившей забастовки, когда «долой самодержавие» летело со всех уст, когда улицы были полны звуками марсельезы, а трехцветные знамена с молниеносной быстротой превращались в красные (белую и синюю полосы отдирали)—на таком фоне уже картина этого «патриотического шествия» была явной и грубой провокацией. «Патриоты» требовали, конечно, снимания шапок перед царским портретом; отказывавшихся немедленно избивали, подогревая таким путем боевые настроения толпы. Полиция смотрела невинными глазами, как-будто никакого нарушения порядка не происходило, или таинственным образом куда-то исчезала с улиц—точно сквозь землю проваливалась. Понемногу руки расходились; били уже не только тех, кто не снимал шапки, а и тех, кто ее снимал недостаточно охотно и быстро; припоминали, кто выступал на митингах, били их при встрече, потом стали захаживать к ним на дом, где уже не только били, но и громили. Если же попадалась навстречу революционная манифестация, избиение принимало массовый характер—а в случае сопротивления «красных», провалившаяся сквозь землю полиция вырастала вновь с такою же волшебной быстротой, да не одна, а в сопровождении казаков и пехоты. Где сопротивление было более или менее организовано, пускались в ход пулеметы, и «патриоты», после расстрела, начинали громить и грабить уже безо всякого удержу.

Если прибавить, что не только царский портрет был из участка, но и несли его нередко полицейские (в Одессе его возил по всему городу в коляске градоначальник Нейдгардт), что были перехвачены полицейские приказы «содействовать» «патриотическим манифестациям», то никаких сомнений в организованности всего движения быть не могло уже с самого

начала. Разоблачения бывшего директора департамента полиции Лопухина, поссорившегося в это время со своим бывшим начальством и раскрывавшего его секреты, дали, в сущности, излишние, документальные подтверждения. Было установлено, что погромные прокламации печатались в самом департаменте полиции, при помощи материала захваченных в разное время при обысках революционных типографий; что распространялись эти прокламации через жандармских офицеров, которые иногда и сами выступали в качестве «авторов». Местные власти, по наивности или чрезмерной полицейской добросовестности стеснявшие погром, быстро оказывались «негодными» и смещались. А центральные власти «ничего не знали», и министр внутренних дел Дурново, старый, прожженый сыщик, с «удивлением» услыхал от Витте о том, что творит состоявший под его непосредственным начальством департамент полиции.

Погромы были отмечены в 110 населенных пунктах тогдашней «российской империи». Во время них было *убито от трех с половиной до четырех тысяч человек*, искалечено до десяти тысяч. Наиболее жестокие происходили на окраинах: в Одессе, где было до 700 убитых, в Томске, где было заперто и сожжено в театре, на глазах губернатора и архиерея, более тысячи человек. В Москве и Питере погромов устроить не удалось, но отдельных интеллигентов и рабочих депутатов избивали и убивали и там. Теперь, когда дожившие до торжества народной массы виновники погромов уже расстреляны (многие были перебиты тогда же революционерами—террористами), а их «патриотическая» свора выметена начисто из страны железной метлой Красной армии, нет нужды тратить время на слова негодования. В истории, как и во всякой науке, нужно «не плакать и не смеяться, а понимать». И вот, если мы подойдем к погромам, как к «тактическому приему» самодержавия в борьбе с революцией, нам бросится в глаза, до какой степени *механизм* царской России был еще крепок. В несколько дней, по сигналу из центра, организовать более 100 «выступлений» за 1.000 верст одно от другого—это стоило железнодорожной забастовки, с тою разницей, что та была подготовлена настроением народной массы, а здесь настроение было не при

чем. Хотя царская администрация и пыталась изобразить погромы, как «взрыв негодования» «православных русских людей» против нечестивцев-революционеров, но это совершенно опровергается географией погромов. Если бы это был действительно стихийный ответ черносотенной массы на революционные выступления, погромы были бы тем сильнее, чем сильнее было в данном месте революционное движение. Но мы видели, что как раз в центрах этого последнего, в Москве, в Питере погромов организовать совсем не удалось. В то же время жестокие погромы прошли по массе местечек «черты оседлости» (см. стр. 89), где никаких революционных выступлений не было, но была излюбленная и беззащитная жертва громил—евреи. Вопреки закону механики, что действие и противодействие всегда равны, здесь «противодействие» было тем сильнее, чем слабее было «действие».

Если бы негодование не мешало нам рассуждать, в октябре—ноябре 1905 года, мы бы уже тогда поняли, наблюдая погромы, насколько мало всероссийская стачка дезорганизовала самодержавие. Оно было испугано, его уступки были следствием паники, а не потери материальной силы. Эту панику можно и должно было использовать возможно шире—но это нужно было делать с почти молниеносной быстротой: каждый потерянный день удваивал силы противника и вдвое уменьшал наши собственные силы. Для такого молниеносного натиска нужны были массы, привычные к выступлениям, сосредоточившие всю свою энергию на одном лозунге—как это было в феврале—марте и потом в октябре 1917 года; нужны были организации, совершенно спевшиеся, твердо знавшие, где у них друзья, где враги, бьющие, опять-таки, в одну точку: и это было в 1917 г., когда налицо была, в сущности, одна революционная партия—незначительные привески к большевикам, в роде «интернационалистов» или «левых эсеров», никакого самостоятельного значения не имели. В 1905 году налицо были три организации, оспаривавшие друг у друга место во главе революционной колонны: большевики, меньшевики и эсеры. Контр-революционности меньшевиков массы тогда еще не понимали (не понимали ее даже многие вожди меньшевиков), а эсеры и в самом деле еще не были тогда контр-революционной партией, хотя уже много в этом отно-

шении обещали—мы увидим это, когда будем разбирать крестьянское движение. У всех, как-будто, были тогда одинаковые права «вести»—и у массы глаза разбегались: а притом масса и сама не знала, куда, собственно, идти нужно. Мы увидим сейчас, что забастовки буквально перекрещивались и мешали одна другой—и что за поминутно всплывавшими временными задачами, выдвинутыми злобой дня, основная задача, подготовка вооруженного востания, стушевывалась где-то на заднем плане.

Между тем, паника самодержавия проходила не так быстро. Ее поддерживали—после того, как «улеглась» стачка—с одной стороны, вести, доходившие из деревни, с другой донесения о том, что творилось в войсках.

Крестьянское движение тесно связано с севооборотом. Начало и конец сельскохозяйственного года, весна и осень, всегда сопровождались обострением крестьянского движения. Если летом оно притихало и внушало некоторые иллюзии составителям «булыгинской» конституции, то к осени нужно было ожидать новой вспышки, и притом в ином роде, нежели весной, так как дело шло не о найме на работы, а о ликвидации урожая. Состав, способы действия и цели крестьянского движения мы подробнее разберем в следующей главе: здесь для нас достаточно его итогов и впечатления, какое эти итоги произвели наверху, в непосредственном окружении Николая.

Движение началось в середине октября—психологическая «зараза» шедшая от разлившейся по всей России железнодорожной забастовки, не подлежит тут сомнению,—и держалось местами до конца ноября. Главным образом оно охватило центральные черноземные губернии: Тамбовскую, Курскую, Воронежскую, Украину—Киевская, Черниговская, Подольская губернии—и, в особенности, Поволжье—губернии Саратовскую, Самарскую и Симбирскую. В противоположность весеннему движению, преимущественно стачечному, теперь решительно преобладали погромы. «За короткое время было сожжено, «разобрано» и вообще уничтожено свыше 2.000 усадеб, при чем убытки помещиков только по 10 наиболее затронутым губерниям определяют-

ся, по официальным данным, в 29 миллионов рублей (золотых)». [1]).

Громили в Тамбовской и Саратовской губерниях, а почувствовали это как нельзя более остро в Царском Селе. «Как-то раз,—повествует Витте в своих записках,—я приехал в Царское Село с докладом к его величеству, меня в приемной встречает Трепов, заводит разговор о сплошных восстаниях крестьянства и говорит мне, что для того, чтобы положить конец этому бедствию, единственное средство—это немедленное и широкое отчуждение помещичьих земель в пользу крестьянства. Я выразил сомнение, чтобы ныне, накануне созыва Государственной Думы после 17 октября можно было принять такую поспешную и мало обдуманную меру. Он мне ответил, что все помещики будут очень рады такой мере».

«Я сам,—говорит генерал,—помещик и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собою вторую половину».

Государь мне во время доклада об этом по существу не говорил, но только передал записку с проектами, сказав: «Обсудите эти предположения в совете министров. Это записка и проект профессора Мигулина».

Это была записка о необходимости принудительного отчуждения земель в пользу крестьянства, как мера, которую необходимо принять немедленно, непосредственно волею и приказом самодержавного государя».

Витте упирался не потому, чтобы он сам был свободен от аграрной паники—напротив, от его министерства нам осталось целое толстое «дело» о проекте аграрной реформы (где, между прочим, есть и упоминавшийся сейчас проект проф. Мигулина; подписался профессор неразборчиво, и Николай собственноручно, каллиграфическим «романовским» почерком, постановил рядом в скобках фамилию профессора,—как теперь делают на официальных бумагах машинистки; очень боялся Николай, что Витте такую драгоценную фамилию, можно сказать, «спасителя отечества», не разберет!) Упирался Витте потому, что он не хотел повторения 19 февраля, «благодеяния» Николая крестьянам: вот отчего он настаивал, что-

---

[1]) П. Маслов, „Аграрный вопрос в России“ II, стр. 254.

бы земельная прирезка была возвещена не «высочайшим» манифестом, а постановлением созванной и созданной им, Витте, государственной думы. Но со всех сторон слышались голоса, что надо спешить, время не терпит. «Тогда (в декабре)— рассказывает дальше Витте,—приезжал в Петербург генерал-адъютант Дубасов, бравый, благородный и честный человек. Он приехал из Черниговской и Курской губерний, куда он был назначен с особыми полномочиями в виду сильно развившихся там крестьянских беспорядков. Он явился ко мне и подробно рассказал о положении дела и высказывался в том смысле, что лучше всего было бы теперь же отчудить крестьянам те помещичьи земли, которые они забрали, и на мое замечание, что на принудительное отчуждение не пойду без обсуждения дела в государственной думе и государственном совете после открытия этих учреждений, он высказал мнение, что теперь такою мерою можно успокоить крестьянство, а потом «посмотрите, крестьяне захватят всю землю и вы с ними ничего не поделаете».

Только разгром рабочей революции в декабре приободрил Царское Село—и когда Витте внес в феврале «свой» проект земельной реформы, Николай отнесся к ней более, чем холодно, заставив даже Витте уволить вырабатывавшего этот проект министра (Кутлера). Но к этому времени должна была несколько ослабеть еще и другая паника, созданная в том же Царском Селе движением военным.

Прежде всего, в грандиозных размерах повторились июньские события. Наиболее пролетарская часть военной силы не могла остаться равнодушной, видя победу пролетариата. Ровно через неделю после манифеста началось восстание матросов в Кронштадте. Оно было таким же стихийным, как и октябрьская забастовка. Началось с митингов и подачи «коллективных заявлений». Когда подававшие были арестованы, их товарищи стали освобождать их силой—начались столкновения с военными частями, «оставшимися верными долгу», при чем «верность» оказывалась очень неустойчивой и скоро давала трещину. Волнение от одной части передавалось другой, вырастало почто в роде всеобщей матросской забастовки. У движения не было ни центра, ни руководителей, а начальство быстро нашлось: оно перепошло наименее

сознательную и устойчивую часть восставших и, выведя ее таким путем из строя, без большого труда справилось с сознательным меньшинством—тоже неорганизованным и не имевшим определенного плана действия. В Кронштадте все кончилось в три дня. Но едва в Царском Селе успели успокоиться от кронштадтского бунта, как снова восстал Севастополь.

Здесь было больше опыта, больше подготовки, движение показалось гораздо солиднее кронштадтского и возбуждало большие надежды. Революционные организации давно вели работу среди матросов, опираясь на сильно уже распропагандированную массу рабочих севастопольского порта. С.-д. агитация велась, главным образом, при помощи этих рабочих; сама организация имела сильный меньшевистский уклон. Она ставила своей задачей образование совета матросских депутатов—и о вооруженном восстании не думала. Но настроение было таково, что, по донесению местных жандармов, «уже в первых числах ноября ходили слухи, что в половине ноября будет матросский бунт». Идеология матросского движения была крайне спутанная—матросы стреляли в командный состав, арестовывали генералов, и, в то же время, ходили по улицам под звуки «боже, царя храни», хотя и с красными знаменами. Был момент, однако же, когда стихийное движение поднялось так высоко, что начальство поспешило вывести из города еще не примкнувшие к восстанию войска и собиралось отступать с ними на Балаклаву. Нужно было дать какую-то определенную цель взволновавшейся массе, этого никто не умел. Большая сравнительно с кронштадтским, сознательность движения выразилась лишь в том, что его не удалось дезорганизовать такими простыми средствами, как в Кронштадте. Но, в конце-концов, инициатива и здесь перешла в руки начальства. Во главе восставших оказался случайный человек, отставной морской офицер Шмидт, наивный мечтатель, называвший себя социал-демократом, а своим учителем народника Михайловского, разговаривавший об объединении всех социалистических партий и пославший Николаю телеграмму: «Славный черноморский флот, храня заветы и преданность царю, требует от вас, государь, немедленного созыва учредительного собрания и не повинуется более вашим министрам».

Верноподданническая телеграмма нисколько не помешала Николаю признать несчастного Шмидта «изменником» и нетерпеливо спрашивать: «скоро ли с ним покончат?». И для него, и для его генералов, важен был факт — массового неповиновения матросов начальству, а какие чувства связывали с этим матросы, их мало трогало. Пока Шмидт рассылал свои телеграммы, а матросы митинговали, ободрившееся понемногу начальство втихомолку готовило нападение. 15 ноября оно выступило. Перед этим был момент, когда восставшие могли завладеть всем флотом, момент был упущен. Теперь почти весь флот был в руках начальства, которое не постеснялось пустить ко дну суда, осмелившиеся поднять красный флаг. Одновременно на суше были бомбардированы и взяты морские казармы. Шмидт был взят в плен и позже расстрелян с тремя матросами, вождями движения.

Самодержавие и здесь материально и организационно оказалось сильнее. Но оно должно было чувствовать, что в этой области оно сильно, главным образом, ошибками своих противников. Севастополь был на волоске от того, чтобы превратиться в первую «красную крепость» российской республики; окажись во главе восстания не интеллигент чеховского типа, мечтавший о том, чтобы совершить революцию без кровопролития, а настоящий военный человек, и Николай остался бы без черноморского флота. Никакой гарантии, однако же, что такие счастливые случайности будут всегда повторяться, у начальства не было. А известия о военных «беспорядках» неслись со всех сторон: из Гродно и из Самары, из Ростова-Ярославского, и из Курска, из Рембертова под Варшавой и из Риги, из Выборга и Остроленки (в Польше), из Владивостока, Иркутска и Харбина.

Самыми грозными были известия с Дальнего Востока. Там стояла еще недемобилизованная, несмотря на заключение мира, вчерашняя «действующая армия», единственная организованная большая военная сила, остававшаяся вне Петербурга у Николая: остальные войска были распылены на огромном пространстве маленькими кучками. Запасные старших сроков, из которых состояло большинство маньчжурской армии, не понимая, чего их держат за много тысяч верст от родины, раз мир заключен, все время глухо волновались

и, наконец, начали демобилизоваться сами, стихийно, уходя со своих стоянок, и захватывая поезда, шедшие в Россию. Начальство топталось перед этим явлением, но так как настроение всей армии было весьма единодушное, то тут опереться на «верные присяге» части было нельзя. Пробовали опереться на хунхузов (китайских бандитов), организованных одним русским генералом, но, кроме очень большого кровопролития, из этого ничего не получилось Настроение захватывало даже офицерство, среди которого тоже немало было запасных («прапорщиков запаса»). В конце ноября из Иркутска, первого большого центра на пути стихийно двигавшейся в Россию масс, телеграфировали: «Вчера вечером в городском театре, в присутствии представителей печати, состоялся митинг всех войск иркутского гарнизона. Собралось до четырех тысяч солдат Председательствовал унтер-офицер. Солдатами и офицерами было произнесено много великолепных речей. Решено предъявить требования об улучшении экономического, служебного и правового положения солдат и в случае неудовлетворения их устроить мирную забастовку. Единогласно также весь гарнизон выразил желание присоединиться к требованиям всего русского народа об отмене смертной казни, военного положения, созыве учредительного собрания, путем четырехгранного голосования. В городе чрезвычайный подъем духа; солдаты и казаки повсюду восторженно приветствуются населением. Черносотенников как не было».

Так называемые «дни свободы»—так окрестили промежуток между октябрьским и декабрьским 1905 года выступлениями пролетариата—были, таким образом, днями трепета для самодержавия. Но ко всему люди привыкают. Особенно успокоительно должно было действовать на самодержавие то, что оно чувствовало все возрастающую безопасность в своем центре, в Петербурге Революция бушевала по всей стране, но было куда от нее спрятаться, ибо здесь, в Петербурге, революция терпела одну неудачу за другой.

Первая из этих неудач заключалась в том, что революции не удалось дать зародышу революционной власти, каким был совет, своего председателя. Мешали два условия. Первым была та склока трех революционных организаций, с.-д. боль-

шинства, с.-д. меньшинства и эсеров, о которой уже говорилось. Вторым—то, что все три организации только в октябре вышли из подполья. Лишь в конце октября в Петербурге появились открыто с.-д. газеты—большевистская «Новая Жизнь» и меньшевистское «Начало», с лозунгом «пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Это было великим торжеством для русского пролетариата, видеть лозунг международной пролетарской борьбы открыто красующимся на газете, массами продававшейся на каждом перекрестке. Но только долгие месяцы такой открытой пропаганды могли познакомить широкие слои массы с физиономией тех партий, которые газеты издавали. До этого партии знали по имени и по людям, которые от имени этих партий выступали на собраниях, а в условиях подполья вожди, конечно, выступали возможно реже и только в более тесном кругу. Некоторых вождей, как раз тов. Ленина, например, и совсем тогда в России не было: он приехал лишь после октябрьской забастовки. Словом, те партийные товарищи, которых можно было бы выдвинуть в председатели совета, по тем или иным причинам выдвинуты быть не могли—и председателем стал человек почти столь же случайный, как севастопольский Шмидт, некто Носарь, адвокат-«увечник» [1]), в качестве такового широко популярный в рабочих кругах. У одного рабочего, Хрусталева, он заимствовал фамилию, под которой и выступал, отчего в историю он вошел с двойной фамилией Хрусталева-Носаря. Черносотенная печать, видя его имя связанным со всеми выступлениями совета, вообразила, что это подлинный вождь петроградского и чуть не всероссийского пролетариата, и сделала Хрусталеву-Носарю огромную рекламу. На самом деле, это был горячий и довольно сумбурный оратор, политически чуть-чуть более грамотный, чем Шмидт, но хотя он и вписался под конец формально в меньшевистскую фракцию, на деле он не был даже и меньшевиком.

Совершенно естественно, что такому председателю недостатки Совета казались его огромными достоинствами. «Положительные требования программы не сразу явились на советском знамени», писал он впоследствии о Совете.

---

1) Так назывались тогда адвокаты, ведшие иски к предпринимателям о вознаграждении за увечье рабочего.

«Совет не был политической партией, не был кружком заговорщиков, в роде карбонариев или гетеристов.

Члены его не рекрутировались из рядов политических единомышленников, при самом вступлении разделявших основные требования партии или «сообщества».

Совет был выборной пролетарской организацией. Программа Совета, вся его деятельность, тактика определялась составом депутатов, влиянием и настроением всей рабочей массы» [1]).

Хрусталеву не приходило в голову, что тактика временного революционного правительства, а Совет был его зачатком, должна определяться не «настроением», а интересами рабочей массы и той революции, которую эта масса делала. И что наличность в таком собрании партийной дисциплины отнюдь не превратила бы его в «карбонариев или гетеристов» [2]). Пролетариат не затруднился бы выбрать партийных людей, если бы он их знал. Все дело в том, что партийные организации только-только вышли на поверхность, и пролетариат их вождей знать не мог. Из видных партийцев ближе всех к Совету стоял тов. Троцкий (тогда один из редакторов «Начала»): но и он мог выступить, как кандидат в председатели, только в самом конце существования Совета, когда последнему ничего не оставалось, как умереть с честью.

Не слаженный организационно, не «связанный» определенной политической линией, Совет, естественно, не мог сразу взять и определенного курса. Стачечная энергия в нем била через край—и сейчас же обнаружилось, насколько поспешно была прекращена забастовка после 17-го: всего через неделю оказалось возможно и даже необходимо возобновить военные действия. Цель для удара пролетариат, инстинктивно, наметил вполне правильно. Еще до октября рабочие уже достаточно близко подошли к 8-часовому дню (см. стр. 152); лозунг был широчайшим образом популяризирован еще 9-го января. Движение пошло тут так же стихийно, как сама октябрьская забастовка: уже 27—28 октября (ст. ст.) метал-

---

[1]) Хрусталев-Носарь „История Совета рабочих депутатов".

[2]) Буржуазные заговорщические организации начала XIX века

листы революционным путем ввели у себя 8-часовой рабочий день (9-часовой уже был большинством завоеван). Исполнительному Комитету Совета оставалось только санкционировать инициативу металлистов—и он «без прений, без обсуждения» постановил 29 числа: с 31 начать борьбу за 8-часовой день во всех петербургских предприятиях. Хозяева, еще ошарашенные недавней всеобщей забастовкой, еще не вышедшие из-под гипноза блестящей победы пролетариата над Николаем (победы, которой буржуазия втайне сочувствовала, мы это сейчас увидим), первые дни держали себя пассивно. Но всего через три дня борьба была прервана по инициативе самого Совета, объявившего новую политическую забастовку.

Как-раз накануне начала борьбы за 8-часовой день было подавлено кронштадтское восстание матросов. Разнесся слух, что их будут судить полевым судом; говорили о предстоящем расстреле 600 человек. Пролетариат не мог допустить такого ужаса; настроение рабочих, несомненно, требовало вступиться за матросов—и, что еще лучше, Совет мог это отлично мотивировать политически. «Если мы», говорил один из депутатов,—«отнимем товарищей-матросов у самодержавия и спасем их от смерти, то мы тем самым приготовим смерть самому самодержавию. Своей защитой мы приобретем себе друзей среди войска».

Это было совершенно правильно. Но как помочь? О чем тут задумываться?—«Стачкой можно всего добиться»! Тут кстати подвернулось объявление в Польше военного положения. И 2-го ноября Совет объявляет, что петербургский пролетариат бастует до тех пор, пока правительство не освободит арестованных кронштадтцев и не снимет военного положения в Польше.

Это был великолепный «жест». Рабочие забастовали необыкновенно дружно. «В ноябрьскую стачку Совету не приходилось уделять времени для привлечения небастующих рабочих к стачечному движению. Рабочие все бастовали», рассказывает Хрусталев в своей истории петербургского Совета 1905 года.

Но ничто, основанное на «настроении», не может быть длительным. Уже 4 числа (а стачка началась 2 ноября по ст. ст.) в Исполкоме пришлось поставить вопрос о ликвидации

забастовки, так как «настроение падало». Совет отверг предложение Исполкома, но на другой же день, 5-го, должен был постановить прекращение забастовки, несмотря на то, что Польша продолжала оставаться на военном положении, а кронштадтские моряки под арестом (тем временем выяснилось, что их будут судить не полевым, а обыкновенным судом). Иначе Питер имел бы перед собою дезорганизующую картину—самопроизвольного прекращения стачки.

Между тем, ради этого красивого, но неудачного выступления, пришлось, разумеется, прервать борьбу за 8-часовой день. Нет ничего опаснее, в разгаре сражения, как внезапно менять направление атаки. Только чудо может в таких случаях спасти от поражения. Увы! Здесь чуда не произошло. Вернувшись к борьбе за 8-часовой день, рабочие встретили со стороны предпринимателей уже не пассивность, а самый наглый и самый активный отпор. Часть заводов была без церемонии закрыта—«пока рабочие не станут на работу на прежних условиях»; на других было вывешено объявление, угрожающее расчетом в случае дальнейшего применения революционным путем 8-часового дня.

Хрусталев-Носарь в своей истории объясняет эту перемену предпринимательского фронта тем, что предприниматели действовали под давлением правительства Витте, якобы испуганного вмешательством петербургского пролетариата в судьбу кронштадтских матросов. Едва ли Витте был очень напуган неудачным вмешательством; это, во-первых, а, во-вторых, еще так недавно предприниматели были солидарны с рабочими против правительства. «В октябрьскую стачку капиталисты не только не препятствовали рабочим митингам на заводах и фабриках, они выдали большинству рабочих заработную плату в половинном размере за стачечные дни, а в некоторых предприятиях заработок был выдан полностью. За стачку никто не был рассчитан. На Путиловском и других заводах фабричная администрация выплачивала депутатам Совета заработок полностью в те дни, когда они были заняты на заседаниях Совета. Администрация Обуховского завода предупредительно предоставляла депутатам Совета заводский пароход для поездок в город».

«Первая стачка,—писало «Право»,—останется светлой стра-

ницей в истории освободительного движения, памятником великой заслуги рабочего класса в деле борьбы за политическое и социальное раскрепощение народа» [1]).

Гораздо правдоподобнее другое объяснение. Отступление пролетариата разрушило славу его непобедимости. Отступили перед правительством, не добившись своего, рассуждали капиталисты: а почему перед нами не отступят? А 8-часовой рабочий день, конечно, чувствительнее затрогивал их мошну, чем требование учредительного собрания.

Неудача имела и свои спасительные последствия—вера во всемогущество стачки упала и в Совете. «Даже страстные поклонники всеобщей политической стачки, как универсального средства борьбы за власть,—приписали к своей формуле «вооруженное восстание». Против силы было одно только средство—сила».

«Сейчас же необходимо перейти к боевой организации наших заводов и их вооружению. Составляйте на каждом заводе десятки с выборными десятскими, сотни—с сотскими, и над этими сотнями ставьте командира. Доводите дисциплину в этих организациях до такой высокой степени, чтобы в каждую данную минуту они могли выступить по первому призыву. Помните, что при решительном выступлении мы должны рассчитывать только на себя: либеральная буржуазия уже начинает с недоверием и даже враждебно относиться к нам. Демократическая интеллигенция колеблется. Союз Союзов, так охотно примкнувший к нам в первую забастовку, значительно меньше сочувствует второй». Но говоривший это—сам Хрусталев-Носарь—забывал, что для вооруженного восстания требуется подъем больший, чем для забастовки. А теперь пороху не хватало даже для забастовок. Это заранее не сулило вооруженному восстанию в Петербурге большого успеха. При чем, сочувствие или несочувствие «либеральной буржуазии», надежность или ненадежность «демократической интеллигенции» не играли тут большой роли. Первая боялась пролетариата, вторая жалась

---

[1]) Цитир. сочин., стр. 127 и 160. „Право"—буржуазный журнал, в эти дни главный орган будущих кадетов

к пролетариату, пока он был силен. Оказательство его слабости должно было ободрить первую и оттолкнуть вторую [1]).

Со второй половины ноября ст. ст. петербургский совет, что называется, «дышал на ладан». У него хватило сил еще на один красивый жест. 23-го ноября в петербургских газетах, не исключая и буржуазных, было напечатано: «Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов в заседании 22 ноября признал необходимым, в виду наступающего банкротства, чтобы рабочий класс и все бедные слои населения брали свои вклады из сберегательных касс и требовали всяких расплат, в том числе и получения заработной платы звонкой монетой». «Правительственное сообщение» не замедлило признать, что постановление Совета «не осталось без влияния на вкладчиков сберегательных касс, что и выразилось усиленным требованием вкладов». За декабрь выдачи из петербургских сберегательных касс превышали поступления на 4 слишним миллиона рублей золотом. По всей России этот перевес взятия вкладов над внесением достиг 86 миллионов зол. рублей. Это был едва ли не самый чувствительный удар, какой удалось петербургскому пролетариату нанести самодержавию после 17 октября. Конечно, брали не исключительно под влиянием постановления Совета—даже в Питере: главными вкладчиками сберегательных касс был, разумеется, не пролетариат и слои населения, ему родственные, то было мещанство, настроенное, отчасти, весьма черносотенно. Брали просто потому, что, в эти «смутные» для мещанства дни, желали иметь деньги «при себе». Но агитационно было, конечно, чрезвычайно удачным шагом покрыть это движение авторитетом Совета, и заставить само правительство признаться, что агитация Совета имеет влияние далеко за пределами рабочих кругов.

На фоне политического прилива это могло очень увеличить авторитет Совета—и панику правительства. Но теперь

---

1) Последнему как-будто противоречит поведение „демократической интеллигенции" в октябре 1917, когда она на победу пролетариата ответила „мужественным саботажем". Но не нужно забывать, что в октябре интеллигенция именно и не верила в силу пролетариата: аксиомой были знаменитые „две недели"...

шел уже отлив, самодержавие выходило из состояния паники,—смелый и меткий, но не смертельный, удар мог только ему напомнить, что с Советом «пора кончать». Чтобы подавить продолжавшую бушевать по всей России рабочую революцию,—как раз в декабре она достигла наивысшей точки в московском вооруженном восстании—правительству Витте нужно было стать твердой ногой в Петербурге. И это казалось легче, чем где бы то ни было. 26 ноября был арестован Хрусталев-Носарь. Организационно это не было чересчур тяжелым ударом—преемником Хрусталева стал «Яновский» (тогдашний псевдоним товарища Троцкого). Совет, наконец, имел во главе себя настоящего политического вождя: но этому вождю приходилось предводительствовать уже разбитой армией. На арест своего председателя петербургские рабочие ответили чуть-что не «выражением сочувствия». Балтийский завод постановил: «...Об арестованном председателе товарище Хрусталеве рабочие Балтийского завода заявили, что они готовы даже на забастовку (!), если это будет решено Общегородским Советом Рабочих Депутатов...».

Стоит сравнить начало ноября, когда Петербург стал, как один человек, в защиту кронштадтских матросов—с этим полуобещанием «даже» забастовать (и то под ответственностью Совета!) в защиту своего председателя, чтобы оценить, как уже далеко ушли волны революции, и как близко было к победе самодержавие в Питере.

Совет и сам готовился к концу. 2 декабря он выпустил знаменитый «манифест», который был как бы его завещанием. Начинаясь словами «правительство на краю банкротства», манифест заканчивал повторением постановления 22 ноября о требовании вкладов сберегательных касс, дополнив его «решением» от имени пролетариата «не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключало, когда явно и открыто вело войну со всем народом».

Характерно, что к вооруженному восстанию, о котором еще говорил Совет в своем заявлении по поводу ареста Хрусталева-Носаря, манифест не призывал. Революционным организациям, которые полностью поставили свои подписи под манифестом, пришлось это сделать через несколько дней от-

дельно. В беспартийном собрании, каким оставался Совет, надлежащего «настроения» уже не было.

На другой день, 3 декабря, Совет был арестован—«арестовал я его»,—с торжеством говорил потом Витте,—«без всяких инцидентов и не пролив ни капли крови».

После всего рассказанного читатель не удивится, узнав, что на арест уже не одного председателя, а всего своего представительства [1]), петроградский пролетариат ответил весьма недружной забастовкой. Более трети петербургских рабочих даже и после этого события не нашли нужным прервать своих занятий, несмотря на бушевавшее в Москве восстание, и Николаевская дорога продолжала работать, как ни в чем не бывало—что очень помогло правительству подавить московское восстание. Организовать новый состав Совета, на место арестованного, не удалось. «Пленум второго Совета так, кажется, ни разу и не собрался», говорит в своих воспоминаниях один из его членов.

«Революция (в Петербурге) явно шла на убыль».

Факт этот давно признан—и давно дается ему, ставшее своего рода классическим, объяснение: петроградский пролетариат «изголодался» за время октябрьских и ноябрьских забастовок и неспособен был уже более на серьезное революционное усилие.

Так как мы хотим «не плакать, и не смеяться, а понимать», необходимо остановиться несколько на этом вопросе.

Что означает «истощение» пролетариата в забастовочной борьбе? В западно-европейских условиях это означает вот что: у каждой рабочей организации есть своя «боевая», забастовочная, касса, из которой поддерживается существование безработных во время стачки. Опустение этой кассы обрекает забастовавших и их семьи на голод—это и есть «истощение рабочих продолжительной забастовкой», заставляющее их капитулировать.

Были ли у русских рабочих такие «боевые кассы» в 1905 году? Товарищи, помнящие то время, вероятно, улыбнутся,

---

1) Совет состоял из 562 депутатов, представлявших 147 фабрик и заводов, 34 мастерских и 16 профессион. союзов. Арестован был, собственно, Исполком.

прочтя этот вопрос. Никакими «боевыми кассами» у нас и не пахло. Зачатком их может считаться «Комиссия о безработных», образовавшаяся как раз при Петербургском Совете. Нет никаких указаний, чтобы упадок движения питерского пролетариата в конце 1905 года стоял в какой-нибудь связи с истощением средств этой комиссии—средств, впрочем, настолько ничтожных, что серьезного значения они иметь и не могли.

Значит, объяснения нужно искать в состоянии индивидуальных средств отдельных рабочих. Действительно ли тут было такое колоссальное истощение, что им можно объяснить отчаяние и прекращение борьбы?

Вот данные о заработках петербургского металлиста, извлеченные из архивов Путиловского завода.

За октябрь месяц (ст. ст., разумеется) в 1905 г. каждый путиловец получил, в среднем, 44 р. 81 к.—против 45 р. 44 к. (золотом) за соответствующий месяц 1904 г. За ноябрь 44 р. 56 к. против 47 р. 65 к. 1904 г. И лишь за декабрь мы находим огромную разницу—28 р. 84 к. против 42 р. 04 к. декабря 1904 года.

Наиболее истощающей для петербургского металлиста была та декабрьская забастовка, в которой петербургский пролетариат так недружно принял участие «вследствие истощения». «Истощение» же предыдущих месяцев, то самое, которое, якобы, помешало петербургскому пролетариату выступить в декабре, было так ничтожно, что было бы оскорблением для этого пролетариата придавать ему какое бы то ни было значение. Русский рабочий за 3—4 целковых в месяц еще не продавал своей свободы.

1918—1919 годы показали нам, на какие лишения может пойти пролетариат, когда он борется с надеждой на успех за свое кровное дело. В декабре 1905 года в Петербурге именно этой надежды на успех не было. Истощение было не материальное, а политическое. Пролетариат устал бороться так, как легко и быстро устает человек, у которого не ладится работа. Из выступлений петербургских рабочих после 17 октября ничего не выходило: и это, в наименее устойчивых слоях, естественно, рождало разочарование. А стоит ли выступать вообще, если это, кроме

шишек, ничего не сулит? Нет лучше средства дезорганизовать армию, как втягивать ее в мелкие неудачные бои.

Было бы, конечно, величайшей ошибкой, делом совершенно антимарксистским, искать тут чьих-нибудь индивидуальных промахов. Люди работают в определенной объективной обстановке. Перед руководителями петербургского движения был пролетариат определенной степени организованности и политической сознательности. И то, и другое в Питере было гораздо выше, чем в остальной России: но насколько слаба была организованность даже здесь, видно из того, что Совет застал только 4 профессиональных союза; он оставил их 16: в этом увеличении профессиональных организаций вчетверо за время Совета, может-быть, главный итог его работы. Он оставил петербургский пролетариат гораздо более сплоченным, чем нашел его—и это уже было плюсом. Если прибавить к этому, что Совет был грандиозной школой политической сознательности, что после него немыслимы были не только 9-е января, но и такая полуэкономическая—полуполитическая стихийная стачка, какой начался октябрь, мы поймем, что Совет жил не даром.

Для остальной России возникновение в Питере пролетарского боевого центра было колоссальным примером—в этом случае питерский совет имел лучшую судьбу, чем иваново-вознесенский, оставшийся изолированным (отдельным, ни с чем не связанным) явлением. По примеру питерского возникают Советы Рабочих Депутатов в Ростове на Дону (в начале ноября), в Киеве (6 ноября), в Костроме (в средине месяца), в Одессе, в Николаеве, в Самаре, в Ревеле, в Баку, в Сормове, на Воткинском заводе, в Новороссийске, в Саратове, в Таганроге, в Юзовке, в Твери, и т. д., во всех этих городах уже в конце ноября или в декабре, значительно позже Петербурга. Так же поздно (22 ноября) возник Совет и в Москве.

После падения Питера Москва оставалась главной цитаделью революции. Здесь началась октябрьская забастовка. Здесь рабочая революция 1905 года получила последний удар.

Московский пролетариат, по организованности и сознательности, шел сзади питерского. В московском районе преобла-

дал текстиль—в Питере командовали металлисты. Металлисты в 1905 г. дали 811 тысяч забастовщиков на 252 тысячи рабочих во всем производстве: текстили 1.296 тыс., забастовщиков на 708 тыс. рабочих. Каждый металлист бастовал $3\frac{1}{2}$ раза за этот год: текстиль не бастовал и 2 раз. Если мы сравним округа, то увидим, что петербургский округ на 298 тыс. рабочих дал 1.033 тыс. бастовавших—московский 540 тыс. забастовщиков на 567 тыс. всех рабочих. Каждый петербуржец бастовал, опять-таки, по $3\frac{1}{2}$ раза, а не каждый москвич бастовал и один раз. Остальная провинция, конечно, отставала еще дальше (403 тысячи забастовщиков на 543 тысячи рабочих).

Но, более отсталый, московский пролетариат был зато более свежим: после октябрьской победы он не имел неудач до декабря. В то же время благоприятно сказывалась и относительная слабость московской интеллигенции. В то время как в насыщенном интеллигенцией Петербурге рабочей партии приходилось выдерживать сильную конкуренцию «демократов» всех мастей и идти, ради этого, на всяческие «беспартийные» комбинации, в Москве социал-демократы, и именно большевики, давали основной тон—и самое образование Совета здесь было победой партии над беспартийностью, поскольку Совет сменил здесь «забастовочный комитет», с сильной примесью интеллигентов из «Союза Союзов». Конкурентами большевиков тогда выступали в Москве только социалисты-революционеры, социалистами, конечно, не бывшие и в те времена, но названия революционеров еще заслуживавшие. Роль «случайных людей» в Москве была ничтожна, и никакая фигура, в роде Хрусталева-Носаря, не украшала собою московского Совета. Фактическим диктатором в революционном движении был московский социал-демократический комитет, с покойным тов. Шанцером («Маратом») во главе. Им была организована самая крупная из московских манифестаций, похороны тов. Баумана, убитого черносотенцами 18 октября, в которых участвовало 200.000 человек, и на которые собралась смотреть буквально вся Москва. Шествие это произвело такое впечатление на черносотенцев, что они решились напасть на остатки процессии только уже вечером, в темноте, и то при поддержке казаков.

Эта большая централизованность московского движения имела свою опасную сторону: меткий удар реакции в центр мог остановить всю машину—обезглавить революцию; а если бы центр удалось отрезать от периферии, все движение сразу потеряло бы организованный характер. Мы увидим, что на несчастье Москвы в ней как раз случились обе эти беды. Имела свою оборотную сторону и революционная свежесть московского пролетариата. «Стачкистское» настроение, изжитое передовыми группами питерцев еще в октябре, в Москве было во всем расцвете: фраза, что «стачкой можно всего добиться», принадлежала именно московскому рабочему. Тех неудач и разочарований на этом пути, которые были предметными уроками для петербуржцев, Москва не знала. Между ноябрем и декабрем и здесь прошла одна неудачная всероссийская стачка, почтово-телеграфная, на которую возлагались почти такие же надежды, как на железнодорожную, но она их не оправдала. Начальство было уже подготовлено, и хотя будущий «почтель» забастовал дружно и держался стойко, уступки он не встретил. Это лишний раз показывало, между прочим, насколько испуг, паника самодержавия играли роль в победе 17 октября. Но пролетариата в собственном смысле эта неудача не задела—наоборот, его полку прибыло, поскольку в революционную массу была втянута новая и очень крупная, близкая к пролетариату группа. Почтовики были не единственной—и не самой неожиданной: большевикам удалось разагитировать и такие группы, как мясники Охотного ряда—историческая, еще с 1870-х годов, опора реакции: после избиения этими мясниками студенческой манифестации в 1878 году название «охотнорядец» в устах московской интеллигенции было равносильно «погромщику». Теперь и эти «охотнорядцы» были в рядах бастующей массы.

Еще важнее было, что социал-демократическая пропаганда начала захватывать московский гарнизон. Он был гораздо малочисленнее питерского, и по составу гораздо демократичнее. Здесь не было гвардейских полков, с офицерством из богатых помещиков и рядовыми из зажиточного крестьянства *). Хотя и украшенная названием «гренадеров»,

[1]) В гвардию отбирали самых рослых и красивых новобранцев—а рослые и сильные парни чаще встречались в „крепких" кулацких семьях, чем среди деревенской бедноты.

в Москве была обыкновенная «армейская» пехота, с буржуазным офицерством и солдатами из «середняков». Только один кавалерийский полк, Сумский драгунский (раньше и позже гусарский), имел в Москве «гвардейский» состав и привычки. Зато в Москве стояли пролетарские части—саперные батальоны, железнодорожный батальон, и т. п.—последний сплошь из бывших железнодорожников. В Петербурге, царской резиденции, таких «опасных» частей не держали—мы помним, что питерский гарнизон в октябре не располагал ни одной железнодорожной частью.

Агитация начала захватывать московские войска уже в октябре. На похоронах Баумана обращала на себя внимание группа людей в военной форме, шедшая почетным конвоем при знамени московского комитета; среди нее мелькали и золотые погоны «прапорщиков запаса». Наиболее распропагандированными были саперы и артиллеристы; на первых смотрели, как на «своих». Но агитация коснулась даже и таких полков, как «второочередные» казаки, где была масса таких же запасных, мобилизованных казаков-хозяев, как в маньчжурской армии. Оторванные от дому, они страшно этим тяготились, полицейская служба им осточертела—и они от всей души сочувствовали революционерам, когда те говорили о крестьянской нужде и громили начальство.

В конце ноября—начале декабря (ст. ст.) среди московского гарнизона началось брожение—в таких формах и таких размерах, каких оно не имело в Питере. Началось с «коллективных заявлений» саперов и Троице-Сергиевского резервного полка, но на этом не остановилось. 2 декабря в Ростовском гренадерском полку вспыхнуло настоящее восстание. Офицеры были частью изгнаны, частью арестованы, и полк заперся в казармах, где всем управлял выборный солдатский комитет из 20 человек. Одновременно другие гренадерские полки стали ходить друг к другу в гости с «марсельезой».

Требования солдат были чисто-профессиональные—в общем они клонились к той формулировке солдатских прав, которая нашла себе в 1917 г. выражение в знаменитом «приказе № 1». Но, все равно, на какой почве, это была вооруженная масса, переставшая повиноваться правительству—

и масса, серьезно вооруженная: при Ростовском полку было 8 пулеметов. Надо иметь в виду, что артиллерии тогда не было и у самого начальства: вследствие ненадежности артиллеристов, пушки были собраны на Ходынском поле, где стояли под охраной пехотного караула (тоже, как потом выяснилось, не совсем надежного). Решительное выступление рабочих в такой момент дало бы огромный толчок движению: к агитаторам-интеллигентам серая солдатская масса относилась с недоверием. Но рабочего выступления в эти дни не произошло—оно началось лишь 7-го декабря, когда восстание ростовцев давно было ликвидировано начальством, и последнее, предупрежденное, обезоружило и заперло в казармах все ненадежные полки.

Уже тут дала себя почувствовать слабая подготовленность массы к следующему, за стачечным, этапу борьбы. Восстание Ростовского полка не стало сигналом к выступлению, потому что этого сигнала ждали от Комитета, а Комитет, правильно опасаясь дезорганизовать движение и стать виновником изолированного «путча»[1]), в свою очередь ждал директив из центра. В то время в Москве еще ничего не было известно о судьбе петербургского Совета—который и сам, мы видели, в своем манифесте еще не призывал к вооруженному восстанию. 4-го декабря в Москве узнали, что Совет—точнее его исполнительный комитет—арестован. Московский Совет большинством голосов решил объявить забастовку. Комитет постановил, однако, это решение проверить опросом всех крупных фабрик и заводов. Это взяло еще два дня. В течение этого времени, 5 декабря, общегородская партийная конференция пришла к сознанию необходимости выступления: «большое, если не решающее значение имело заявление делегата, прибывшего с происходившей одновременно всероссийской конференции железнодорожников о их решении присоединиться к всеобщей политической забастовке», говорит один из участников.

Железнодорожная забастовка имела решающее значение потому, что, если бы она осуществилась, был бы невозможен подвоз войск в Москву извне—а настроение московского гарнизона казалось (отчасти и было на самом деле) благоприятным для выступления.

---

[1]) Случайная, необдуманная вспышка, всегда кончающаяся разгромом.

Так как митинги на фабриках свидетельствовали об «общем энтузиазме рабочих масс и их готовности к вооруженной борьбе», то вторичное решение Совета, после проверки, являлось простой формальностью. Но, благодаря ей, только утром 7-го декабря появилось воззвание Совета «ко всем рабочим, солдатам и гражданам», кончавшееся призывом: «Смело же в бой, товарищи рабочие, солдаты и граждане! Долой преступное царское правительство! Да здравствует всеобщая забастовка и вооруженное восстание!» Воззвание, как и петербургский манифест, было подписано, вслед за Советом, всеми революционными организациями Москвы. Одновременно Всероссийский железнодорожный союз выпустил свое воззвание, объявлявшее с 7-го декабря всеобщую политическую забастовку железнодорожников.

На все это ушло три дня—срок громадный для революции: достаточно напомнить, что две французские революции, 1830 и 1848 г. (февральская), в три дня начинались и кончались. Тем не менее, если бы железнодорожники откликнулись на призыв своего союза так же дружно, как в октябре, у московского восстания оставалась еще вся надежда на успех. У московского ген.-губернатора, только что назначенного Дубасова, кроме сумских драгун и 4 сотен казаков, в сущности, не было войск. На просьбу прислать их из Петербурга, Николай «большой», командовавший там, ответил: «В Петербурге свободных войск для высылки в Москву нет». Дубасов должен был изворачиваться сам, как знает.

Но этому человеку, когда-то имевшему военную удачу—он взорвал турецкий броненосец в 1877 г., с чего и началась его карьера—повезло и в гражданской войне. В тот самый день, когда он послал Николаю, вел. князю, свою отчаянную телеграмму, вызвавшую такой безнадежный ответ, он мог сообщить министру внутренних дел: «Сейчас арестовано 6 главных железнодорожных делегатов».

Дубасов сам не знал, кто у него в руках. На самом деле, в ночь с 7 на 8 были арестованы не железнодорожные делегаты, а орган, руководивший всем движением и состоявший из авторитетнейших представителей трех главных организаций—с.-д., с.-р., и жел. дор. союза. В числе других был арестован и «московский диктатор»—В. Л. Шанцер.

Случилось самое плохое, чего можно было ожидать—движение было обезглавлено. Одновременно исполнительная комиссия московского с.-д. комитета (большевиков), которая должна была технически руководить всеми операциями, оказалась отрезанной от периферии. Не имея в своем распоряжении ни одной военной части, комитет не мог решиться на центральный удар. У него оставались только «боевые дружины», очень слабые (человек 300—400 на всю Москву), кое-как вооруженные и имевшие своей прямой задачей охрану митингов. Их значение было больше психологическое [1])—черносотенцы, уверявшие, что «у Комитета 17.000 дружинников, вооруженных с головы до ног», их боялись. Но, как реальная боевая сила, они могли годиться лишь для демонстрации. Партизанская война, которую решила вести «Исполнительная Комиссия»—нападать на полицию, жандармов, мелкие военные отряды, не давая очень немногочисленным дубасовцам отдыху—это была единственная тактика, которую можно было принять. Но партизанские отряды дружинников должны были иметь какое-нибудь убежище, где бы они сами могли отдыхать, пополнять свои запасы, и т. д. Из этого вытекало дальнейшее необходимость забаррикадировать преимущественно рабочие районы, являвшиеся базой (опорой) партизанских действий.

Сеть баррикад возникла с молниеносной быстротой: 9-го декабря, «выйдя с товарищами с заседания Исполн. Комиссии, где обсуждался вопрос: призывать ли к постройке баррикад, мы нашли всю Садовую-Триумфальную покрытой длинным рядом баррикад», рассказывает тот же, уже цитированный однажды, участник. Строили не одни рабочие, строила вся мелкая буржуазия, отчасти зараженная рабочим энтузиазмом—отчасти движимая «оборонческими» мотивами: не пустить к себе войска и в особенности казаков, в которых видели неизбежную свиту черносотенного погрома.

Движение принимало оборонительный характер — а вооруженное восстание живет и может жить только наступлением. Город разбился на ряд забаррикадированных участков, маленьких Порт-Артуров, самым грозным из которых

---

[1]) Действовавшее на „интеллигенцию".

была Пресня. Они были почти совершенно отрезаны друг от друга—в сущевском районе, например, о делах на Пресне ходили самые фантастические рассказы—и все вместе были отрезаны от «Исполнительной Комиссии». Никакое центральное руководство было невозможно.

Осада была, правда, обоюдная: все вместе эти Порт-Артуры держали в блокаде центр, где засел Дубасов с «верными» ему войсками—всего не больше полуторы тысячи штыков и сабель: восставшие имели бы безусловный численный перевес, будь с ними 800 ростовцев с их пулеметами и столько же саперов. Но осажденный центр имел преимущество: во-1-х, потому что это был ц е н т р и занимавшие его имели выгоду действовать «по внутренним линиям» и бить разобщенные районы по очереди. А, во-вторых, как при всякой осаде, вопрос решался тем: к кому скорее придет выручка?

Этой выручки с тоской ждали обе стороны. В забаррикадированных районах передавали новости о петербургском «восстании» рабочих, о взятии ими арсенала и т. п. Мы видели, как далеко это было от действительности. Противная сторона была счастливее. Уже 9-го числа Дубасову, лишенному, как мы знаем, возможности использовать московскую артиллерию, удалось, благодаря тому, что Николаевская дорога не бастовала, подвезти конную батарею из Твери, не распропагандированную и тотчас же начавшую действовать. А тем временем Николай «большой», убедившись, что в Питере все успокаивается, положил гнев на милость и отправил в Москву семеновцев и конных гренадеров с батарейными (тяжелыми полевыми) орудиями. Подвезли еще полк из Польши, только что «бунтовавший» и усмиренный, жаждавший «загладить» свое «преступление». Началась решительная атака забаррикадированных районов, в сущности, одного, еще державшегося—красной цитадели, Пресни. В остальных районах дружинники, расстреляв свои патроны и измучившись сами гораздо более, чем измучили они дубасовцев (хотя и у тех Сумский полк еле двигался), с согласия Комитета прекратили борьбу, как только убедились, что ни на переход на сторону восстания гарнизона, ни на поддержку из Питера рассчитывать нечего.

Геройская защита Пресни прибавила еще одну из самых

славных страниц истории русской революции—но изменить положение дела она не могла. 19 декабря восстание могло считаться подавленным. Оно оправдало надежды, возлагавшиеся на партизанскую тактику—только благодаря ей можно было продержаться 10 дней; только благодаря ей потери собственно революции были слабее потерь реакции: в то время, как войска потеряли убитыми 35 человек, дружинников было убито всего 13. Но потери населения далеко не исчерпывались этими цифрами. Московские больницы зарегистрировали более тысячи убитых и умерших от ран. Среди них были рабочие, ставшие жертвою расстрела во время манифестаций—особенно жесток был расстрел на Тверской 10 декабря, когда убитые шрапнелью валились десятками. Но большинство были просто обыватели, застреленные у себя дома или на улицах забаррикадированных районов во время «осады». На жестоком уроке население училось, что нельзя во время гражданской войны оставаться «нейтральным».

«Торжество победителей» было ознаменовано, конечно, расстрелами. Но, нужно сказать, благодаря той же партизанской тактике, и для расстрелов у дубасовцев оказалось менее широкое поле, нежели какое было у многих из их предшественников. Версальцам в Париже в 1871 году легко было расстреливать, когда каждую баррикаду упорно защищало рабочее население околодка, за самой баррикадой, из домов, с крыш и т. п. Но что делать с населением, которое явно в вооруженной борьбе непосредственно не участвовало? Что делать, когда вся стрельба производилась какими-то почти мифическими «дружинниками», растаявшими, как пар в воздухе, задолго до появления «силы порядка»? Только семеновские офицеры с честью вышли из затруднения. Они нашли на Пресне какого-то пьяного обывателя («рабочего», говорили они), который им показывал «всех агитаторов». На основании доносов этого черносотенного пьяницы было расстреляно 17 человек, в том числе две женщины («курсистки», по определению семеновского офицера), а всего путем таких же приемов на Пресне было расстреляно 120 человек, да вдоль линии Казанской дороги, которой мстили за все железнодорожные забастовки вместе, еще 129 человек.

От «шальных» дубасовских пуль и шрапнелей погибло гораздо больше народу, чем от дубасовских палачей,—еще новое доказательство невыгоды «нейтралитета» в гражданской войне. Впрочем, и среди расстрелянных действительно принадлежавших к революционным организациям был ничтожный процент. Остальные были схваченные по «семеновскому» способу те же мирные обыватели.

Как видит читатель, то, что происходило в Москве в декабре 1905 года, не совсем соответствует тому представлению о «вооруженном восстании», какое сложилось на основании прежних примеров, хотя бы бегло упоминавшихся парижских восстаний: июльского 1830 г., февральского и июньского 1848 г. и Коммуны 1871 г. Там была, действительно, борьба вооруженных народных масс с войсками. В Москве в декабре было нечто в роде своеобразной войны между царской администрацией и революционными партиями, при чем обе стороны опирались на имевшиеся в их распоряжении организованные силы. А так как у революционеров силы эти были крайне ничтожны, то ничего, кроме партизанской войны, предпринять они не могли.

Тогда нам всем казалось, что это есть новый способ революционной вооруженной борьбы, единственный, возможный при технических условиях XX века. Мы думали даже, что все развитие военной техники ведет к замене борьбы масс столкновениями партизанских отрядов.

Империалистская война развеяла эту последнюю иллюзию; а октябрьские дни 1917 года в Москве показали, что и массовое вооруженное восстание в наши дни вещь вполне осуществимая. В октябрьские дни на улицах Москвы дрались не маленькие кучки дружинников, а выдвинутая рабочими массами красная гвардия вместе с примкнувшими к ней войсками—и могучий поток народного движения вовлекал все большее и большее количество этих войск в борьбу на стороне революции.

Этого явления не было в 1905 году. Никакой «красной гвардии» в Москве тогда не образовалось (в это время она возникла только в Финляндии). Рабочая масса великолепно забастовала—декабрьская забастовка в Москве была друж-

нее октябрьской,—первые дни с увлечением манифестировала, оказывала всяческую поддержку дружинникам, снабжая их пищей, квартирами, укрывая их и т. д., но бойцов для уличной войны она давала, самое большее, десятками на каждый забаррикадированный район. Сотен вооруженных рабочих не было, кажется, даже и на Пресне—отдельные дружины никогда не выходили из десятков.

Явление это было замечено тогда же. На него давался шаблонный ответ: не было оружия, не было технической подготовки. Но едва ли можно утверждать, что перед октябрем 17 года сколько-нибудь серьезная подготовка в Москве была. Стрелять учились отдельные группы и осенью 1905 года. Что же касается оружия, добыть его не представляло непреодолимых затруднений. Со времени черносотенных погромов конца октября буржуазная Москва была переполнена оружием. Каждый обыватель спешил запастись чем-нибудь стреляющим, для защиты своей квартиры и своего двора от громил, нашествия которых ждали ежечасно. После декабря, когда дубасовская полиция стала ходить с обысками, это оружие массами сдавалось в партийные организации напуганным—на этот раз уже дубасовцами—обывателем: московский комитет в несколько дней получил до полуторы тысячи штук хорошего огнестрельного оружия, винтовок, маузеров, браунингов и т. под. При не очень сильном нажиме рабочей массе удалось бы выжать это оружие из буржуазии и двумя неделями раньше. Не чрезмерно большие усилия требовались и для того, чтобы освободить и вывести на улицу запертых Дубасовым распропагандированных солдат. Наконец, ничего не было сверхестественного и в том, чтобы захватить несколько пушек. Начальство очень этого боялось. «Беда, если революционеры заберут хотя бы два орудия»—писал кому-то генерал, командовавший войсками московского военного округа: «хотя бы не действовали ими, но во всяком случае это будет их трофеем, что произведет сильное впечатление. Будет страшная наша оплошность».

Но для всего этого нужно было, чтобы масса глубоко проникла убеждением, что только оружие может решить дело. Мысль, что «стачкой можно всего до-

биться», еще крепко сидела в мозгах. Нужны были годы стачечной борьбы, чтобы ее оттуда выбить.

Неподготовленность масс—упирали особенно на техническую неподготовленность, как будто революцию можно технически подготовить, как международную войну—давала меньшевикам, с Плехановым во главе, повод попрекать большевиков: «не нужно было выступать». Совет столь же остроумный, как совет человеку, не умеющему плавать, отнюдь не входить в воду. А как он тогда выучится плавать?

Если Москва, по сознательности и организованности пролетариата шедшая на втором месте после Питера, оказалась не вполне подготовленной к массовому вооруженному выступлению, от провинциального пролетариата, шедшего еще сзади московского, ожидать такой подготовленности было еще труднее. Вот характеристика движения в очень, однако, крупном центре, где была сильная с.-д. организация, в Казани, данная одним из участников: «На московское восстание казанский пролетариат не отозвался активным выступлением: ни восстанием (как в Сормове), ни политической стачкой (как в Самаре). В боевых дружинах было лишь несколько десятков человек. Большое значение имел разгром местных революционных организаций. Но разгадка была не в этом. Казанские рабочие, в массе своей, были слабо сплочены, неорганизованы, революционная волна слабо захватила массу. На экономическую борьбу их было в 1905 г. легко сдвинуть, но на активную революционную борьбу они не были способны. В этом разгадка интеллигентского характера «казанской революции» 19—21 октября и пассивности массы в декабре. Среди казанских рабочих нужно было работать, работать и работать...».

Движения «московского» типа имели место, кроме упомянутого в этой цитате Сормова, в целом ряде местностей—но слиться в восстание хотя бы одной области им не удалось. Наиболее упорное сопротивление оказали рабочие дружины в Горловке (в Донбассе) и в Темернике, под Ростовом на Дону. Здесь сходство с Пресней дополнилось тем, что дружине удалось благополучно уйти, выдержав трехдневную бомбардировку. Больше успеха обещало восстание

на северном Кавказе, совпавшее с самым грандиозным, какое наблюдалось за эти дни где-либо, кроме Дальнего Востока, движением в войсках: поднялись кубанские пластуны (пешие казаки). Но здесь же мы имеем чрезвычайно характерный образчик полной несвязанности двух движений, военного и рабочего: пластуны не только не присоединились к новороссийским рабочим, но ушли из города к себе в станицу, где и отсиживались—один из полков—до февраля. Тем временем рабочее движение было подавлено войсками, подвезенными из других местностей.

Наоборот, только контактом рабочей и солдатской массы объясняется яркая вспышка движения в Сибири—точнее, вдоль сибирской железной дороги. Уже с октября дорога была в руках выборных железнодорожных комитетов, главной задачей которых была организация отправки демобилизуемых запасных маньчжурской армии на родину. Настроение этих запасных нам известно—в своих воззваниях они не церемонились ни с начальством, ни даже с царем, грозя оставить от них «пепел и кучи камней»—но цель у них была одна: как можно скорее вернуться на родину, т.-е. уйти из Сибири. Опереться на них местному движению было трудно—но и это «местное» движение само представлено было пришлым, железнодорожным элементом, к которому сибирский мещанин и крестьянин относились враждебно: нигде, кроме «черты оседлости», не было таких свирепых погромов, как в Сибири. В этой обстановке становится понятно, как два «карательных поезда»—Ренненкампфа и Меллера-Закомельского,—ничтожная в военном отношении сила, которую, казалось бы, ничего не стоило пустить под откос с первой хорошей насыпи, путем неслыханного террора в две недели «водворили порядок» по всей линии. Витте, командировавший эти поезда, мог быть доволен... Но и он, несомненно, был удивлен, что «Чита сдалась без бою», как доносил он Николаю. В Москве масса не умела взяться за оружие, но она была сильна своей сплоченностью—тот же Витте благоразумно решил ее не дразнить. Но в Сибири он «уничтожал революцию» беспощадно. Там в 1905 году революционной массы еще не было.

В революционных кругах не сразу почувствовали, на-

сколько декабрь был переломным пунктом. В революционных кругах тогда еще не оценивали, как следует, роль **паники** самодержавия во всех успехах, достигнутых с октября. С декабря эта паника проходит окончательно. Николай «маленький» твердо решил, что какие бы уступки ни вынудил у него револьвер Николая «большого», в минуту слабости,—эти уступки останутся на бумаге. В пятницу 23 декабря он принимал большую депутацию Союза русского народа, с Дубровиным во главе, пришедшую узнать—неужели и теперь манифест 17 октября останется в силе? «Успокойтесь», сказал им Николай, «взойдет солнце правды и мы восторжествуем .Будут обнародованы основные законы». Черносотенцы в первую минуту смутились—они не понимали, в наивности своей, что «основные законы»—это и есть средство разъяснить манифест 17 октября так, чтобы конституцией и не пахло. Автор письма, откуда мы это узнаем (сам «союзник»), видел Николая за два дня до этого и «вынес впечатление», что «государь бодр, оживлен, точно он на что-то хорошее решился и теперь успокоен будущим успехом». Это было через два дня после окончательного расстрела Пресни...

Николай несколько рано начал радоваться—его самодержавию летом 1906 года еще предстояли черные дни: но в одном он был прав—главный его враг, пролетариат, понемногу уходил с поля битвы. В 1906 году металлисты, каждый из которых бастовал в предыдущем году по $3^1/_2$ раза, не бастуют уже и одного раза. На 252 тысячи рабочих мы имеем только 213 тыс. забастовщиков—84,9%.

Отставшие в предыдущем году текстили держались лучше—арриергард подтягивался,—но и они дали менее одного забастовщика на одного рабочего (на 708 тыс. рабочих—640 тыс. бастовавших—90%). И, по мере ослабления пролетарского натиска, буржуазия поднимала голову, предприниматель становился все наглее и упрямее. Чрезвычайно выразительно тут сопоставление стачек, их удачи и неудачи в **первую** и в **последнюю** четверти 1906 года. В первую четверть мы имеем всего 73 тысячи забастовщиков, из них победили 34 тысячи, только 11 были побеждены и 28 добились соглашения—при взаимных уступках. В

последней четверти этого года мы имеем лишь 8 тысяч, из общего числа 37, добившихся соглашения, лишь 6 тысяч победивших рабочих—и 23 тысячи побежденных. В первой четверти года предприниматели победили всего в 15% всех столкновений с рабочими, в последней—в 62%.

Буржуазия наступала, рабочий отступал...

ГЛАВА VII.

Крестьянские восстания.

Рабочий класс начал русскую революцию. Он первый решился дать сражение царизму—и первое сражение проиграл. По существу дела это был проигрыш не одного класса, а всей революции—потому что **объективно** (независимо от чьих-либо суждений, на самом деле) других революционных сил в России 1905 г. не было. Но это ясно нам теперь, задним числом. Тогда же общее убеждение в том, что происходящая в России революция есть **буржуазная**, заставляло думать, что пролетариат является, так сказать, «зачинщиком», но что к нему примкнут понемногу и все другие классы, заинтересованные в беспрепятственном развитии капитализма в России. При этом меньшевики возлагали главную надежду на городскую буржуазию, мелкую и крупную, большевики же—на **крестьянство**. И то, что происходило в деревне с осени 1905 года, казалось, надежды большевиков оправдывало. Мы видели, что именно деревенское движение было главным, что поддерживало панику правительства, после того, как рабочее движение в Петербурге пошло на убыль. Теперь, после декабря, на него же возлагались главные надежды революционеров. Первое выступление рабочих отбито, думали они, но когда выступит деревня, на фоне ее восстания рабочая революция будет непобедима.

Присмотревшись ближе и вспомнив прошлое, мы **могли** бы более трезво отнестись к деревенскому восстанию. Прежде всего, мы увидели бы, что движение пролетариата было не только **рабочее**, но оно и типично-**городское**,

что это было, конечно, движение пролетариата вообще,— но, главным образом, движение рабочих крупнокапиталистических предприятий. В то время, как процент стачек по отношению к общему числу предприятий для мелких фабрик—до 20 рабочих—составлял 47: другими словами, не все мелкие фабрики бастовали даже в 1905 году, % стачек по отношению к числу предприятий с 501—1000 рабочих составлял уже 163,8: каждая крупная фабрика бастовала более одного раза, а для предприятий-гигантов, с числом рабочих более 1000, этот % равнялся 231,9: каждая из крупнейших фабрик бастовала более 2 раз. Сравнение числа стачек в городе и в деревне позволяет прибавить еще одну подробность. Хотя вне городов расположена большая половина русских промышленных предприятий (около 60%), число деревенских стачек было всегда меньше числа городских. Но в предшествующее революции десятилетие, когда движение было, главным образом, экономическим, стачки вне городов давали все же почти четверть общего числа: за десятилетие 1895—1904 г.г. 24,8% всех стачек происходили в предприятиях, находившихся в деревне. Но во время политического движения 1905 года «деревенские» забастовки упали до 15,7%. Итак, во-первых, производство было чем мельче, тем менее революционно; во-вторых, деревня—даже в лице ее пролетариата—была настроена еще более «экономистски», чем город; тогда как и город, мы видели, был еще, в лице своих широких слоев, в достаточной степени «экономистом».

Все это, вместе взятое, не обещало, что деревня окажет большое содействие доведению революции до конца. Уже в 1905 году можно было предсказать то, что оправдалось в 1917. Низвергнуть царизм мог только пролетариат—деревня, самое большее, могла принять участие в защите завоеваний революции, той защите, которую тов. Ленин считал труднее самого завоевания. Усилить город при самом завоевании—тем более заменить город, деревня ни в каком случае не могла. В 1917 году роль ее была совершенно второстепенной.

Представление о самостоятельной революционности

деревни было у нас одним из остатков народнического миросозерцания, остатком бакунинской мысли, что каждый крестьянин—прирожденный социалист и прирожденный революционер. Марксизму удалось побороть только первую половину этого ошибочного утверждения: в 1905 году, кроме эсеров, т.-е. немарксистов, никто не считал крестьянина «прирожденным социалистом». Но в «прирожденную» революционность деревни многие склонны были верить. Повторяя бессознательно, опять-таки бакунинскую, теорию голода, как революционизирующей силы, представляя себе революцию, как восстание «голытьбы», многие из нас ставили в центре деревенского движения деревенскую бедноту. Мы уже видели, что городскую, пролетарскую революцию вели отнюдь не самые голодные элементы пролетариата, не босяки и чернорабочие, а наилучше обеспеченные его слои: металлисты, железнодорожники, печатники. Характерно, что президиум первого совета рабочих депутатов, Иваново-Вознесенского, хотя иваново-вознесенское движение было движением текстилей, составился из электромонтеров и граверов, работавших на текстильных фабриках. По размерам заработка то была, конечно, «рабочая аристократия». Так обстояло дело на фабрике. Посмотрим, как обстояло оно в деревне.

Вернемся к самому началу крестьянского движения, к 1902 году. Прокурор Коваленский, составивший обширный доклад о «беспорядках» в Полтавской губернии весною этого года, так определяет материальное положение восстававших крестьян: «при самом широком счете всех земель, без остатка, получается на душу несколько менее $1^1/_2$ десятины». Своего хлеба не хватает около $10^1/_2$ миллионов пудов в год. «Площадь земли, могущая поступить путем найма сельскому населению, пополняет недостаток в размере $3^1/_2$ миллионов. Из сего следует, что люди эти вынуждены куплей добыть еще около 7 милл. пудов хлеба, считая по 50 к. за 1 п. ржи, на сумму около $3^1/_2$ миллионов руб. А так как у населения денег нет, то ему приходится их получать с прибавкой значительных % в виде займов или тяжкой работы. Из имеющегося, далее, в распоряжении моем материала, видно, что работа поденная в

губернии оплачивается весьма скудно, промышленность развита слабо, кустарных промыслов также нет. Площадь отхожих заработков с развитием из года в год производства сельско-хозяйственных машин равно уменьшается».

Это, если брать население поголовно—по «в Полтавской губернии уже в 1900 году было 16,9% населения безземельного». Приводимое, как пример, селение принадлежит к тем, «жители которого принимали наиболее деятельное участие в беспорядках». Арендные цены в одном из бунтовавших уездов «с 1886 г. по 1900, т.-е. за 14 лет, поднялись под яровой хлеб на 123%, под озимый на 92%». «Особенно резкий подъем цен воспоследовал в 1897 г.».

«Тяжесть положения крестьянского населения данной местности вырисовывается ярче, если принять во внимание то обстоятельство, что землевладельцы и арендаторы, преследуя экономические свои выгоды, отдают землю в наймы крестьянам, преимущественно, под уборку хлеба. В Константиноградском уезде за одну десятину полевой земли под хлеб требуется уборка, часто с возкой, по 2 дес. экономического хлеба. В Полтавском уезде крестьяне убирают за 1 дес. до 3-х. Выпасы для скота дают, но не всегда, и за тяжкие отработки в поле. В иных местах крестьяне вовсе не имеют, где пасти, лишены коров или должны держать свой скот на привязи».

Кажется, дело ясно—восстала именно деревенская беднота, придавленная, доведенная до отчаяния нуждою и эксплоатацией помещиков. Показания крестьян на следствии вполне подтверждают и дополняют прокурорскую характеристику. «Когда потерпевший Фесенко обратился к толпе, пришедшей его грабить, с вопросом, за что они хотят его разорить, обвиняемый Зайцев сказал: «У тебя одного 100 д., а у нас по 1 д. на душу, попробовал бы ты прожить на 1 д. земли, тогда бы посмотрел, как мы тебя бы кормили».

«Когда свидетель Казенец обратился к одному из подсудимых, уже в последней стадии грабежа в экономии Яхонтовой, с увещанием прекратить буйство, выражавшееся тем, что сказанный подсудимый выбивал стекла и рамы в окнах дома управляющего, тот отвечал: «Как ты думаешь, могу

ли я жить на $^3/_4$ десятины?» И спокойно увез за собой целый воз награбленного имущества».

«Типичны также объяснения, данные в Палате обвиняемым по делу той же Якоптовой крестьянином Кияном: он сказал, приблизительно, следующее: «Позвольте рассказать вам о нашей мужицкой несчастной жизни. У меня отец и 6 малолеток, без матери, детей, и надо жить с усадьбой в $^3/_4$ десятины и $^1/_4$ десятины полевой земли. За пастьбу коровы мы платим арендатору Кузьминову 12 р., а за десятину под хлеб надо работать 3 десятины уборки. И это все надо заработать двумя мужицкими руками. Теперь уже даже и за такую высокую цену землю с трудом найдешь. Жить нам так нельзя, продолжал Киян; мы в петле. Что же нам делать? Обращались мы, мужички, всюду. И у земского начальника были, ходили и в земскую управу, нигде нас не принимают, нигде нам нет помощи...».

Если мы на этом остановимся, мы получим обычную картину сословного восстания крестьянства против дворянства, бывших крепостных против их бывших помещиков. Но Коваленский, хотя сам стоял на этой точке зрения, в качестве добросовестного чиновника сообщал начальству все, что ему удалось узнать, и вот что он рассказывает о географии полтавского восстания 1902 года.

«Из данных судебных по делу следствий следует, что движение было предварительной пропагандой подготовлено в Лисичанском обществе, члены которого явились деятельнейшими агитаторами, как в активном участии своем в самых беспорядках, так и словесной проповедью новых идей и введением в обиход окрестного населения книг и брошюр преступного содержания. По общим отзывам, крестьяне этого общества отличались прежде особым благонравием и аккуратностью в работах (показания Коломийца и бывшего исправника Андриевского). Они даже владели землей, купленной с помощью Крестьянского Банка, но, по словам тех же свидетелей, внезапно прекратили, 3 года назад, платеж %, уверяя, что банк их земли отобрать не может».

А из другого места того же доклада мы узнаем, что «покупка земли с помощью Крестьянского Банка требует на-

личности у покупателя денег, по рыночной цене, а не по оценке Земельного Банка, которая несравненно ниже существующей, но если даже считать, что покупатель должен довнести только недостающие даже против оценки Земельного Банка 10%, то и тогда окажется, что он может быть только состоятельный человек».

Итак, лисичане (пропаганда среди которых велась социал-демократами «искровцами») не просто беднота: это начинающие беднеть и опускаться крестьяне-хозяева. В довершение характеристики надо добавить, что и напали лисичане не на помещика, а на крупного арендатора-капиталиста соседнего имения, заявив ему: «убирайся, мы и наши отцы здесь работали, это все наше». Ночью они «сожгли» этого арендатора, подробно рассказавшего на следствии, как постепенно, «за последние годы», все обострялись отношения между ним и крестьянами деревни Лисичьей.

Итак, беднота составляла армию крестьянского движения 1902 года. Ее штабом были не деревенские голыши, а мелкие сельско-хозяйственные производители, те, кого в те времена называли «хозяйственными мужичками»,—терявшие свое хозяйственное положение в непосильной конкуренции с капиталистическим земледелием. «Пугачевщина» начинает понемногу облекаться в формы, более соответствующие XX веку.

При первых погромах 1905 года мы опять, как-будто, находим «пугачевское», сословно-крестьянское движение. Вот как описываются, например, выступления крестьян в Курской губернии в феврале 1905 г. «В назначенный день недалеко от усадьбы зажигался омет соломы, костер или просто большой пук соломы на длинной жерди, и по этому сигналу собиралась толпа крестьян с подводами; подвод иногда съезжалось до 500—700. В одном случае (в Романовке) сигнал был дан набатным звоном. Собравшись, крестьяне направлялись на экономию, подходя к ней, делали несколько выстрелов из ружей, ломали замки у амбаров, нагружали хлеб на подводы и уезжали. Присутствие хозяина или управляющего нисколько их не смущало; они дозволяли ему быть свидетелем происходящего, не отго-

няли от себя, но в то же время и не вступали с ним ни в какие объяснения. Грабили, главным образом, зерновой хлеб; другие продукты увозили в редких случаях; поэтому никаких других построек кроме хлебных амбаров обыкновенно не трогали». «В грабеже принимали участие целые деревни,—мужчины, женщины и подростки; в числе арестованных за грабеж и сидящих в севской тюрьме, был, между прочим, один слепой нищий; сельчане снабдили его лошадью и подводой, помогли насыпать хлеба, и он таким образом привез себе целый воз. В некоторых случаях при первом походе на грабеж из данной деревни отправлялась только часть крестьян, но затем, соблазненные первыми, и остальные отправлялись громить следующую усадьбу. Какого-нибудь распределения экономий между деревнями не было; всякий раз приезжал кто хотел, из какой бы то ни было деревни, и приезжали иногда очень издалека».

На вопросы, при следствии, «чего вы хотели?», крестьяне единодушно отвечали: «мы хотели и хотим есть» [1]).

В других случаях, очень любопытных, непосредственной причиной была борьба с остатками крепостного права. Несколько раз в качестве источника волнений мы встречаем знаменитые отрезки. Так было в с. Долбенкове, принадлежавшем Сергею Романову, убитому 4-го февраля 1905 г. эсеровской бомбой. «Крестьяне села Долбенкова были окружены владениями долбенковской экономии, имевшей 17 тыс. дес. Но некоторые клинья в несколько сажен давали имению огромные барыши. «Несколько раз в продолжение своей пятилетней службы обществу ходил бывший долбенковский староста Иван Кудинов на поклон в контору просить продать ему за какие угодно деньги («за деньгами общество не постоит») 300 сажень земли, из-за которых много штрафов было переплачено крестьянами в экономию, но земля эта так и осталась экономической, так как оказалась очень «доходной».

«Был такой клочок земли и в самом Долбенкове,—угловое место на самой деревенской улице, клином врезавшийся в

---

[1]) П. Маслов. „Аграрный вопрос в России“ II, стр. 150—153.

порядок крестьянских изб, клочок земли, дорогой и на случай пожара, годный и для проходного скота. К нему давно уже приторговывалось долбенковское общество, несколько лет назад надававшее за него через своего старосту целых 500 рублей за $^1/_2$ дес

«Но этот клочок был за 1.000 рублей продан кулаку, который завел на нем кабак и продолжал донимать штрафами крестьян уже в свою пользу

«В таком положении были долбенковские крестьяне, разгромившие в феврале долбенковскую экономию. Эта экономия давала великому князю (Сергею) 130.000 руб. чистого дохода».

Отрезками обычно выжимались отработки—и их мы встречаем, как причину волнений. Имение и сахарный завод Терещенки были разгромлены за то, что «Терещенко не хочет отдавать работу за деньги, а только на отработки... Если не успеем убрать, то считают за нами вдвое, и опять это идет на отработок... Теперь штрафных денег мало, действительно, только за 15 лет—85 р. А почему? Потому что и штраф идет на отработки, вот его и не видать...

— «Десятина луга обходится нам вместо 12 руб., как назначено, в 30 руб., потому что деньгами не желают получать, а все—на отработок... «Если на чистые деньги,—говорят,—и 20 р. не возьмем, лучше скоту стравим»... Один раз 30 десятин луга так и пропали»..

Но остатки крепостного права вовсе не были главной причиной движения. На помещиков нападали не только бывшие крепостные, но и бывшие государственные крестьяне В Псковской губернии мы имеем, например, такой случай «Крестьяне—бывшие государственные, землей наделены по 5 дес. на надел, но в настоящее время в земле недостаток, без аренды жить невозможно. Аренда была дорогая, по случаю недородов деньги сполна не уплачивали, и в настоящее время имеют большой недостаток в выгоне и сенокосах, терпят стесненное положение. Арендная плата повсеместно увеличилась: за который участок платили после отмены крепостной зависимости 30 р., теперь около 400 р. и обязывают работать владельцу на своих

харчах». Если мы возьмем все случаи волнений в этой губернии, мы увидим, что из 121 случая малоземелье было основной причиной в 62-х, т.-е. более, нежели в 50%. Но при этом специально отрезки играли роль только в 4 случаях, а «ропот против сословных привилегий дворянства»,—всего в 2. Тот лозунг, под которым шло все крестьянское движение великой французской революции, «долой привилегии!», у нас занимает совсем второстепенное место.

Но не большее место занимали у нас и политические лозунги. В упомянутом сейчас списке причин движения в Псковской губ., они, собственно, вовсе отсутствуют,—если не считать неопределенного указания на «влияние манифеста 17 окт., свободы слова и общего революционного настроения», которое отмечено в 6 случаях. Наилучше организованным было движение в Саратовской губернии, где шла чрезвычайно интенсивная эсеровская пропаганда в деревне. «Было организовано около 200 крестьянских братств. Рекомендовалось «действовать всеми средствами: приговорами, стачками, бойкотом, боевыми дружинами. Кое-где начались террористические акты. Когда в октябре вспыхнула всеобщая стачка, саратовские крестьяне не остались в стороне. Они решили восстать... Крестьянский союз партии эсеров решил поддержать движение и постараться ввести его в правильное русло. Организации на местах должны были запастись оружием. Оружие добыли, обезоружив казенных лесничих. Образовались боевые дружины, которые являлись по селам, чтобы устранить начальство и уничтожить старый порядок. Все начальство изгонялось, выбирали новые сельские власти» [1]).

Вот, что, однако, писали в комитет министров крестьяне одного из наиболее волновавшихся саратовских уездов, Балашовского.

«Чтобы содержать свои семьи, приходится нанимать землю у купцов и помещиков, плата же арендная растет с каждым разом все больше и больше..

---

[1]) Все цитаты для характеристики крестьянск. движения 1905—6 гг. берутся из цитиров. соч. Маслова.

В нынешнем году цена дошла до 20 р. за десятину. Такую высокую плату земля оправдать не может. Как нам жить дальше, чем платить подати и кормиться самим, мы не знаем

Война отнимает у нас работников и кормильцев. По окончании же войны опять надо ждать новых налогов и дороговизны товаров, а истощенная земля с каждым годом родит все меньше и меньше, по темноте же своей мы не можем ничем помочь себе.

Посторонних заработков по близости тоже никаких не имеется.

Думаем мы, что справедливо было бы прекратить торговлю землей, которая должна перейти во владение тех, кто на ней работает и с нее кормится.

Вторая наша беда—наша темнота и невежество...

Кроме того мы желаем, чтобы не было запрета на книги и газеты для нас...

Кроме того мы желаем, чтобы в газетах было позволено писать все свободно, как это ведется в чужих государствах уже давно...

Третья наша нужда—наше бесправие и множество начальников, от которых мы видим больше стеснения и обиды, чем справедливости и защиты»...

Итак, даже при помощи эсеров дальше свободы печати в области чисто политической дело не пошло. Если перед митингом иваново-вознесенских рабочих возглас «долой самодержавие», вызывал шум, то на одном крестьянском митинге московской губернии на такой же возглас из толпы послышалось: «братцы! да что же вы слушаете?! Бей его чем-нибудь тяжелым по голове!».

В то же время *экономическая* подкладка движения выступает из балашевской петиции, как не надо яснее. А этой экономической подкладкой определялась вся *тактика* крестьянских выступлений в Саратовской губернии. Вот как описывали очевидцы действия восставших крестьян. «Главные моменты действий крестьян следующие: 1) удаление помещиков с семьей из усадьбы; 2) разбор и дележ хлеба и продуктов, а иногда и домашней движимости;

3) выведение скота; 4) расчет батраков и домашней прислуги и 5) часто поджог экономических построек. Помещики выезжают по предупреждению крестьян, и насилий над ними никаких не допускается. Одновременно с разгромом экономий крестьяне в принципе решают о передаче с весны помещичьей земли миру в уравнительное пользование, о чем составляются во многих местах общественные приговоры. Урядники, стражники скрываются, а по местам и арестованы крестьянами. Во главе крестьян, нападающих на помещичьи усадьбы, стоит обыкновенно вооруженная дружина; дележом хлеба и продуктов и деньгами заведуют комитеты или братства из местных крестьян. Захваченные в экономических конторах, в казенных винных лавках или у сборщиков питейных доходов суммы обращаются в общественную собственность. Поджог владельческих построек мотивируется крестьянами двумя соображениями: а) если постройки будут сожжены, то помещики не будут в состоянии скоро вернуться в деревню, и, следовательно, легче упрочится новый порядок землевладения; б) если постройки останутся целы, то они послужат удобным помещением для казаков, к которым у крестьян всеобщая ненависть. В результате пожарами истреблены сотни построек на несколько миллионов рублей. Сожжены до-тла все постройки в таких огромных имениях, как герцога Лейхтенбергского, кн. Вяземского, такие дома-дворцы, как кн. Прозоровского и Демидова. Часто сжигаются усадьбы безотносительно к тому, каковы ранее были отношения крестьян к владельцам, безотносительно к взглядам помещиков; сожжены постройки известных местных либеральных земцев—Львова, Ермолаева, Веселовского и др.; разорены до основания десятки старинных дворянских усадеб с ценными библиотеками, картинами и пр. В Балашовском, Аткарском, Петровском и Сердобском уездах уцелевшие помещичьи усадьбы считаются единицами» [1]).

Тут восстание мелкого сельского производителя против крупного землевладения, стоявшего ему поперек дороги,

---

[1]) „Русс. Вед.“, 7 ноября 1905 г.

уже целиком налицо. Как видим, у него была своя логика: крестьяне были практичнее эсеров, пытавшихся руководить их движением. Они понимали, что одного указа, манифеста и т. под. мало—надо фактически уничтожить помещичью экономию, чтобы старому режиму некуда было вернуться. Движение принимало, поэтому, очень революционные формы. Но насколько мало оно было революционным по существу, насколько мало оно угрожало, пока что, не только крупному землевладению, но и созданному последним политическому порядку, показывает деятельность центральной крестьянской организации, созданной усилиями тех же эсеров, крестьянского союза.

Зачатки этого союза относятся к весне 1905 года, а первым организованным его выступлением была, так называемая, «приговорная кампания»—составление крестьянами и отсылка в Питер «приговоров», петиций о своих нуждах, одну из которых (дер. Петровки, Балашовского уезда) мы сейчас цитировали. Уже эта форма—челобитья к царю—в те дни, когда интеллигенция «союза союзов» третировала правительство, как «банду разбойников», и даже помещичий съезд собирался ругаться с Николаем (см. выше, стр. 134), уже одна эта форма показывает, насколько крестьянство, даже распропагандированное, шло позади не только пролетариата, но даже буржуазии. Прошений «на высочайшее имя» было отправлено более 60 тысяч,—но Николай и Трепов почесались только тогда, когда от «приговоров» и прошений крестьяне перешли к более решительным способам действия.

Очевидцы движения определенно указывают, что крестьянский союз, (возникший окончательно на московском съезде 31 июля—3 августа 1905 г.) был в этом случае много правее крестьянской массы. «Съезд»,—говорит один из его участников,—«возглавляемый кадетами и эсерами, высказался за отклонение определенных решений на счет безвозмездной экспроприации помещичьих земель и на счет вооруженной борьбы за установление в России республики. Обвинявшие на интеллигентских собраниях социал-демократов в умеренности требований, эсеры здесь на съезде показали себя, как самые доподлин-

ные либералы. Они не стеснялись присутствием на съезде, хотя и в небольшом числе, подлинных крестьян землепашцев, которые на своей шкуре испытывали весь помещичий гнет, произвол и угнетение царской власти. Эсеры по вопросу, дать ли помещикам выкуп за землю, устами Фундаминского просили: «не осуждать помещиков на нужду и голод, не лишать их некоторого количества земли (до 50 десятин) и дать им кроме того пожизненную пенсию». Эсеры под моим напором не возражали вообще, «принципиально», как они говорили, против конфискации у крупных помещиков земли, но когда вопрос касался так называемых культурных помещичьих имений, они поджимали хвосты. Эсеры провели на съезде пункт 3 резолюции о земле, в котором говорилось: «у частных владельцев должна быть отобрана земля, частью за вознаграждение, частью без вознаграждения, подробные же условия, на которых частновладельческие земли будут отобраны, должны будут определены Учредительным Собранием, которое и издаст по этому поводу закон». «Крестьянский союз должен возможно полнее разработать этот вопрос». Заправилы съезда вместе с эсерами вообще не давали развернуться прениям по этому основному для крестьян вопросу» [1]).

Автор приведенного отрывка объясняет такую тусклость крестьянских резолюций, главным образом, пагубным влиянием эсеров. Но эти последние должны же были иметь какую-нибудь точку опоры—не так уже они были сильны, чтобы навязать русскому крестьянству то, чего оно не желало и слышать. Несомненно, что рабочий съезд Фундаминского с его слезницей о бедных помещиках просто прогнал бы с трибуны. И наш автор должен признать, что «расплывчатые постановления» губернских съездов крестьянского союза «отражали, конечно, в первую очередь политическую отсталость крестьянской массы и, главным образом, ее буржуазных верхушек. Здесь-то и была, как говорят немцы, «зарыта собака». Эсеры выражали интересы не деревенской бедноты, а наиболее зажиточных слоев деревни» [2]).

---

[1]) А. Шестаков. „Бунт земли" стр. 53—54.

[2]) Там же, стр. 52.

Эсеры должны были равняться по «хозяйственному мужичку», который в 1905, как и в 1902 г. продолжал руководить движением. Это отмечалось в разных местах. Так, в Подольской губернии, где движение носило (весною 1905 г.), главным образом, забастовочный характер, «руководителями были более зажиточные (богатых нет) крестьяне, более боязливыми были безземельные, так как без ежедневного заработка они не могут существовать и вынуждены были вскоре прекратить забастовку во избежание голода. Были попытки поддержать бедняков сбором провизии с зажиточных семей, но этому помешали прибывшие войска» [1]).

Но наиболее отчетливо выступает эта черта на главном театре крестьянского восстания,—в Саратовской губернии. Один балашовский, Саратовской губернии, помещик писал Вольному Экономическому Обществу в начале 1908 года: «Верхний зажиточный слой крестьянства овладел аграрным движением. «Чумазый», который так недавно хватал «сицилистов» и представлял по начальству, теперь почти целиком записался в ряды революционеров». Балашовский помещик, как видим, разделял обще-народнический предрассудок о реакционности «кулака»,—ему наблюдаемое им казалось свежей новостью, хотя деревенские пропагандисты, и социал-демократы, и социалисты-революционеры, еще лет за пять согласно отмечали то же самое явление. Но продолжим выписку—вот что говорил «чумазый»: «Купцу и барину земля без надобности: сами земли не пашут и за хозяйством не доглядывают. А бедному мужику земля и совсем ни к чему: он и с наделом управиться не может. Неурожаи от непропашки; нужен хороший скот, сбруя, семена, плуг, хороший ремонт, да денег в кармане на случай неурожая. А бедный мужик только царским пайком и дышет. Безземельных да малоземельных наделять—это все барские затеи: надел изгадили и банковскую землю изгадят. Банк землю должен хозяйственным мужикам определять, да не по 13 десятин на двор, а по 50, по 100». «Таковы речи, которые

[1]) Маслов, цит. сочин. стр. 162.

мне чуть не каждый день приходится слышать от хозяйственных мужиков, причисляющих себя обыкновенно к левым партиям», резюмирует корреспондент Вольно-Экономического Общества.

Итак, не случайно «умеренные» эсеры оказались политическими руководителями крестьянского движения и не случайно крестьянские съезды принимали «расплывчатые» резолюции. Опять, как и в 1902 году, беднота была лишь армией восставших—штабом этой армии были зажиточные элементы деревни, тот самостоятельный мелкий производитель, который ненавидел в помещике не столько бывшего барина, сколько своего конкурента на вновь открывшемся хлебном рынке.

Эта руководящая роль «хозяйственного мужичка» еще раз нашла себе выражение в социальном составе крестьянских депутатов первой государственной думы. Подробнее об этом моменте истории революции мы поговорим ниже—но, чтобы закончить характеристику крестьянского восстания, этот штрих необходим. Из крестьянских депутатов трудовой группы, самой левой, только 14,—т.-е. около 30%—имели надел не более 2 десятин, т.-е. принадлежали к «деревенской бедноте», тогда как 15 имели более 4 десятин, т.-е. принадлежали к типичному «середняку», но двое из них имели более 10 десятин, принадлежа, несомненно, к разряду собеседников балашовского помещика. Сильное подозрение внушают и остающиеся 13, не указавшие размеров своего надела. И это—самая левая, наиболее революционная группа. Среди беспартийных имевших более 10 десятин уже 11 человек—т.-е. более 25%. А кроме того крестьяне послали в думу 24 кадета «размеры землевладения» которых,—говорит цитируемый нами автор,—«еще выше» [1]).

Тем не менее, под земельным проектом трудовой группы подписались все крестьяне-депутаты: в экономическом вопросе они были все солидарны.

Мнение об «устойчивой стене крестьянского консерватизма», вдохновлявшее авторов булыгинского избиратель-

---

1) П. Маслов, цит. соч., стр. 277.

ного закона (см. выше, стр. 147) было, таким образом, радикально опровергнуто. В той области, которая более всего интересовала помещика, крестьянин оказался совсем неконсерватором. Но, тем не менее, кое в чем помещики были правы. Во-первых, правы были они, когда утверждали, что «крестьянам чужда мысль об ограничении самодержавной власти». Это было неверно по отношению ко всей массе крестьян—в наиболее наивной форме, в форме лозунга «нужно царя переменить», не вполне осознанное самими крестьянами анти-монархическое настроение широко было разлито по всей черноземной полосе. Но это было правильно по отношению к зажиточным слоям, руководившим крестьянством политически. Трудовая группа государственной думы по чисто политическим вопросам послушно плелась за кадетами, стремившимися «поднять корону из грязи». Крестьяне соглашались и с тем, что «только единение царя с народом является источником законодательной власти» и с тем, что «из-за амнистии не следует доводить до разрыва» (мы увидим, что на этом должны были разорвать сами кадеты) и с тем, что «на Руси не должно быть больше войны, на Руси должен быть мир». Один депутат дал хорошую характеристику адреса думы царю—адреса, к которому присоединилась и трудовая группа. «Я представляю себе автора адреса,—сказал депутат Меркулов,—со скрещенными руками и поникшей головой, молящего о пощаде, просящего о милости... Он просьб своих не выражает ясно, а делает недомолвки. Общая идея автора адреса—идея смирения. Он спешит обмолвиться теплым словечком с властью. Когда он говорит об отмене смертной казни, то не упоминает о приостановлении тех приговоров, которые уже состоялись. Когда он говорит об аграрной реформе, то кажется, что эти слова—не истинное желание, а какое-то вынужденное заявление».

Да, даже и в вопросе об аграрной реформе возлагавшие упование на крестьян черносотенцы, до известной степени, оказались правы. Крестьянский революционер и здесь не доходил до конца, не был совершенно непримиримым. Это со всею ясностью и сказалось в столь единодушно выдвинутом аграрном проекте трудовой группы.

И он не стоял на революционной—еще с Пестеля выдвигавшейся всеми революционерами—точке зрения конфискации крупной земельной собственности. И он допускал,—а вслед за ним допускал это и аграрный проект социалистов-революционеров—«вознаграждение за принудительное отчуждение» «на счет государства». Другими словами, и он допускал соглашение с помещиками.

На последовательно революционной точке зрения стоял только пролетариат. И если уже он не смог в 1905 г. довести революцию до конца, то тем менее способно было на это крестьянство.

ГЛАВА VIII.

Конституционные потуги буржуазии.

Мы рассмотрели то массовое движение, которое и составило в целом первую русскую революцию, 1905—06 годов. Две его волны, рабочая и крестьянская, не совпали: рабочая достигла высшей точки в декабре 1905 года, крестьянская дошла до нее только летом 1906 г. Аграрное движение происходило весною и летом 1905 г. в 96 уездах, осенью 1905 г. в 171 уезде и лишь весною и летом 1906 г. оно захватило 305 уездов, т.-е. большую половину Европейской России. Осенью этого года число «бунтующих» уездов падает уже до 72, весной и летом 1907 г. слегка поднимается (82 уезда), чтобы к осени этого последнего года упасть почти до нуля (три уезда) [1]).

Этот разнобой двух движений, конечно, должен был способствовать их неудаче. Но объяснять им все было бы неправильно. В 1917 году царизм был свергнут, и довольно легко, одним городом—деревня не успела тут принять участия. Значит, для объяснения неудачи, придется принять в расчет еще одно условие—и его мы тоже видели. Это условие заключалось, коротко говоря, в неизжитом массами экономизме. В то время, как верхушка рабочего класса избавилась от экономистского мировоззрения уже к самому началу XX века, уже со времен «Искры» поняла, что начинается борьба за власть, а не вытор-

---

[1]) Чтобы читатель получил представление о плотности крестьянского движения, необходимо отметить, что число случаев восстания, приходившихся на каждый уезд, в среднем не превосходило 3—4. Сплошным движение было лишь в немногих местностях.

говыванио уступок у власти, для широких кругов это было не совсем ясно. И нельзя их за это винить, если на Стокгольмском («Объединительном») съезде Р. С.-Д. Р. П. в апреле 1906 года не кто другой, как Плеханов, в резолюции о вооруженном восстании предлагал заменить слова «вырвать власть», словами: «вырвать права силой», вызвав этим негодующее замечание тов. Ленина: «перемена была действительно с-ног-сшибательная. В резолюции о восстании говорится не о борьбе за власть, а о борьбе за права. Подумайте только, какая невероятная путаница внесена была бы в сознание масс этой оппортунистической формулировкой и как нелепо было бы бьющее в глаза несоответствие между величием средства (восстание) и скромностью цели (вырвать права, т.-е. от старой власти вырвать права, добиться уступок старой власти, а не свержения ее)» [1]).

Но если рабочий класс к 1905 году не окончательно еще изжил экономизм, то крестьянство еще и не начинало его изживать даже в 1906 г. Тут сознания, что борьба идет за власть, а не за права, не было даже и у верхушки: один из лидеров «трудовой группы», Аладьин, с трибуны первой государственной думы нашел возможность читать крестьянские письма, где говорилось о надеждах народа на «царя батюшку», о том, что «наш царь—есть царь народа, а не царь чиновников и царедворцев» и тому подобная галиматья. Руководившие тогда слои крестьян еще твердо надеялись получить то единственное право, в котором они ощущали жгучую потребность, право на землю, из рук старой власти.

Революция 1905 года не была доведена до конца потому, что восставшая масса не была до конца революционной. Но не следует себе представлять исторического процесса, как чего-то автоматического, действующего вне и независимо от воли людей, которые в этом процессе участвуют, из действий которых он складывается. В борьбе классов, как и в борьбе отдельных людей, борющиеся пользуются недостатками и слабостями один другого. Недостаточной революционностью восставшей массы пользовалось,

---

1) „Доклад об объединительном съезде“.

мы видели, и правительство, т.-е. помещики, то пытаясь подкупить (булыгинская дума, 17 октября), то запугивая (9 января, декабрь 1905 г.). Эту недостаточную революционность еще больше использовала и буржуазия, пытаясь развратить движение. Масса боролась за права по несознательности, не понимая, что от старой власти нечего ждать прав, что нужно самой стать властью, и тогда права придут сами. Буржуазия старалась внушить массе, что эта борьба за права и есть настоящая, «правильная» революция, а борьба за власть есть «анархия». Но, развращая массу, буржуазия, в то же время, и пользовалась ею, пользовалась для запугивания власти, т.-е. помещиков, которые ни с кем не хотели делиться своими «правами», даже с буржуазией.

То, что составляло главный недостаток нашей первой революции, ее недоконченность, было главным козырем в руках буржуазии. Опираясь на это, буржуазия надеялась превратить начинавшуюся великую революцию в маленькую, 1789 год подменить 1848. И одно время могло казаться, что ей это удалось. Одно время могло казаться, что Россия остановится на 1849-м годе. Только октябрь 1917 г. окончательно разбил надежды русской буржуазии.

В заключение характеристики первой русской революции нам и остается рассмотреть роль в ней буржуазии. Мы увидим, что роль эта была во многом пророческой: русская буржуазия 1905 г. давала возможность предвидеть буржуазию 1917 года.

То, что выступает перед нами в 1905—6 г.г., как русская буржуазия, было одним целым только по отношению к пролетариату. Тут, как мы увидим, разницы не было: все группы буржуазии, без исключения, рукоплескали пролетариату, когда он начинал быть революционным, все одинаково осуждали его, когда он хотел довести революцию до конца. Но сама по себе буржуазия была собранием различных групп—и расхождение их интересов всего резче сказывалось на их отношениях к власти. Этим расхождением и объясняется то, что буржуазия не образовала у нас одной политической партии, хотя бы разбитой на «фракции», как это было с пролетариатом, а разбилась на не-

сколько партий, взаимная вражда которых была острее, не только чем у большевиков и меньшевиков, но даже, чем у социал-демократов и социалистов-революционеров.

Слева направо, три основные буржуазные группы шли в таком порядке. На крайнем левом крыле стояла буржуазная интеллигенция, отчасти руководящий аппарат промышленности, отчасти представители наиболее квалифицированных и наиболее ценимых в буржуазном обществе профессий: инженеры, журналисты, адвокаты, доктора. Эта группа представляла собою буржуазную идеологию в наиболее чистом виде, а так как конкретным воплощением этой идеологии является право буржуазного общества, основанное на господстве личной собственности, а теоретическую разработку ее ведет буржуазное обществоведение, то теоретики и практики буржуазного обществоведения и буржуазного права, профессора и адвокаты, являлись естественными вождями этой группы. «Мелкая интеллигенция», земские врачи, учителя, агрономы, статистики, техники были или левым флангом этой левой группы, или промежуточным звеном между нею и революционными партиями.

Непосредственно направо от буржуазной интеллигенции мы готовы ожидать представителей промышленного капитала; так это и было всюду в Европе: но не у нас. Революция захватила Россию на гораздо более поздней ступени экономического развития, нежели какую бы то ни было европейскую страну. Германская революция 1848 года кончилась призывом немногочисленных германских коммунистов к образованию самостоятельной рабочей партии: при чем практическое осуществление этот призыв нашел лишь 20 лет спустя. У нас самостоятельная партия пролетариата была уже налицо, когда началась революция. Достаточно этих двух фактов, чтобы видеть, насколько классовое расслоение в России, в эпоху революции, было глубже, чем даже в Германии в 1848 г. О Франции эпохи «великой революции» нечего даже и говорить: там в начале революции не только рабочей партии, но и рабочего класса, как особого целого, совсем еще не было—французский пролетариат не старше начала XIX столетия, его именно революция

то и создала. Эта гораздо большая зрелость русских классовых отношений и приводит к тому, что наш промышленный капитал не мог добиваться своих целей, нужного ему «правового порядка», опираясь на массовое движение. Правда, в первую минуту он этого не понял, он надеялся и у нас использовать рабочих так, как во Франции его предшественники использовали недифференцировавшийся, не распавшийся еще, как следует, на классы «народ». Летом 1905 года отдельные фабриканты договаривались до предложения—объявить всеобщий локаут, выгнать этих рабочих на улицу и таким путем ускорить революцию. Но большинство и тогда таким путем идти не пожелало, а когда октябрьская стачка почти стихийно перешла в борьбу за 8-часовой рабочий день, политическая позиция промышленного капитала совершенно определилась: он мог быть только с теми, кто «усмирял», а не с теми, кого «усмиряли».

Ближайшим соседом буржуазной интеллигенции у нас, таким образом, неожиданно оказались наиболее передовые помещики. Этой группе, среди средневековых условий русской деревни, приходилось не столько вести капиталистическое, предпринимательское хозяйство, сколько создавать необходимые условия для такого хозяйства. Благодаря этому, составившиеся из таких местных хозяев земства выполняли в русской деревне функции, которые во вновь колонизуемых странах Азии и Африки выполняли миссионеры. Там сначала являлись попы, протестантские и католические, строили школы, больницы, приручали, так сказать, местное население; потом уже являлись капиталисты, чтобы это население эксплоатировать. У нас попы и монахи играли эту роль только на самой заре русского капитализма, в XV—XVI веках: в новейшее время они были к этому решительно неспособны. Помещику-предпринимателю приходилось брать миссионерские обязанности на себя. Но лично он, конечно, их исполнять не мог—ему нужны были интеллигентные помощники. Вот отчего мелкая интеллигенция делается элементом, совершенно необходимым для земства (отсюда и название этой интеллигенции: «третий элемент»—в дополнение к двум основным элементам деревни, помещикам и крестьянам). Эту роль «третьего элемента» и его необходимость для самих помещиков превосходно охарак-

теризовал известный земец Д. Н. Шипов (председатель московской губернской управы, в 1919 году председатель одной из главных белогвардейских организаций Москвы, так называемого «национального центра»). Плеве он говорил: «...в настоящее время ни одна сословная группа, как таковая, не может претендовать на руководящую роль в жизни общества. Эта роль может принадлежать теперь и в будущем только тем общественным группам, которые явятся средоточием умственных и духовных сил, а эти силы преимущественно сосредоточиваются в «третьем элементе». В числе «третьего элемента» есть, несомненно, люди неблагонадежные в политическом отношении, как таковые же найдутся и в земской среде, но едва ли возможно обобщать заключение о политической неблагонадежности большинства лиц, составляющих «третий элемент». Нельзя не принять во внимание, что известное, неспокойное и легко возбуждаемое настроение этой среды находится в значительной мере в зависимости от неопределенности часто их положения не только в государстве, но и в земстве. В большинстве же эти люди вполне бескорыстно посвящают свой труд земскому общественному делу». А другому архи-реакционеру, Штюрмеру,—будущему министру Николая во время войны, в разгар распутинщины,—он предлагал, с трогательной наивностью, «опереться» на этот самый «третий элемент», подражая примеру земства: «Народившаяся и все крепнущая всесословная интеллигенция представляется правительству беспочвенной и опасной. Но если дворянство после реформ шестидесятых годов утратило свое значение, то правительству необходимо получить опору в новых общественных группировках. Нельзя вечно относиться отрицательно к всесословной интеллигенции. Само государство ее создает, широко открывая двери в средние и высшие учебные заведения и ежегодно выпуская тысячи людей всех сословий, с расширенным кругозором и повышенными запросами к жизни. Надо утилизировать интеллигентные силы, надо сделать их по возможности консервативными, а не толкать их в оппозицию, и не возбуждать в них справедливое недовольство, постоянно оскорбляя их самолюбие и затрудняя им возможность приложения своих сил и знаний на благо общественной и государственной жизни».

Штюрмер мог бы ему показать уже тогда, на примере левых земцев, как такая «опора» перекашивает самого опирающегося на левый бок. В Союзе Освобождения, основанном на деньги левых земцев, командовал, мы помним, именно «третий элемент» (см. выше стр. 101). Слишком необходимый слуга оказывался сильнее хозяина. Но без «третьего элемента» нечего было и думать о капиталистическом хозяйстве в деревне; когда, после 1905 года, земцы увидели опасность «третьего элемента», им ничего не осталось, как ликвидировать все свои «культурные начинания», сокращать число школ, больниц и т. п., ликвидировать земскую агрономию и земскую статистику, иными словами, равняться по дикому помещику и возлагать все надежды на остатки крепостного права—или эмигрировать из деревни, оставляя ее на жертву «чумазому».

Таким образом, из двух основных групп русской буржуазии, налево оказалась буржуазная интеллигенция вместе с наиболее прогрессивной частью поместного дворянства, направо—промышленный капитал, политически не отделившийся от торгового и банкового; еще правее было крупное землевладение старого типа, жившее отрезками и отработками и к буржуазии в собственном смысле уже не принадлежавшее. Лозунгом левой группы было превращение России в «нормальную» конституционную страну, где монарх существует «для больших оказий», в текущем же порядке управление находится в руках министерства, вышедшего из **парламентского большинства**. Методом управления в таком государстве является **политическое одурачивание массы**, которую при помощи газет, школы, разных просветительных и политических организаций, избирательных собраний и т. д., постоянно обманывают насчет ее действительных интересов, внушая массе, что ей нужно и выгодно то, что на самом деле нужно и выгодно только буржуазии. Объясняют ей, например, что ей выгодна и нужна двухпалатная система, так как одна палата, будто бы решает слишком «поспешно», так вот, для «поправок» нужна вторая, а вторую устраивают всегда невзначай, так, чтобы в ней перевес был на стороне буржуазии. Способ этот, как показывает пример Западной Европы и Америки, очень надежен, и при помощи его можно держаться долго, но он

предполагает, как необходимое условие, культурное превосходство одурачивающих над одурачиваемыми; первые должны быть образованнее вторых. Вот почему к этому способу, естественно, тяготела у нас наша буржуазная интеллигенция. В то же время, будучи людьми «штатскими», не военными, буржуазные интеллигенты не чувствовали склонности к открытой силе: ее пришлось бы применять чужими руками, руками военных людей, а опыт показывал, что последние, при таких условиях, легко из слуг становятся господами.

Именно на этом основании правая группа, в руках которой была армия, все надежды возлагала на насилие. Сознавая свое невежество, одурачить массы она не надеялась; применявшиеся ею для этого способы, разные «союзы русских людей» и «русского народа», могли обмануть только слои населения, столь невежественные, что их и обманывать не стоило — все равно они могли быть использованы только, как физическая сила. А так как лозунгом этой группы было сохранение старого порядка во всей его неприкосновенности и во что бы то ни стало, то и поэтому ни на какие другие средства, кроме голого насилия, ей рассчитывать не приходилось.

Средняя группа не могла сочувствовать методам исключительно голого насилия потому, что голое насилие дезорганизует производство, а это была группа капиталистов-предпринимателей, заинтересованных в том, чтобы производство шло без сбоев. Но и для одурачивания масс средств у нее было мало. Фигура Кит Китыча слишком определенна, его повседневная деятельность у всех на виду, и только очень уж ловкие люди из этой среды могли разыгрывать из себя «друзей народа», да и то перед очень простодушными массами. Представителям этой группы не суждены были громкие избирательные успехи, как их соседям слева, но потихоньку да полегоньку они прибирали власть к рукам путем экономического принуждения. Массы людей материально от них зависели; эти материально зависимые люди, клиенты, хочешь-не хочешь, должны были служить своим «благодетелям»; а другие, боясь лишиться заработка, не смели против них выступать. В результате эта партия и оказывалась наиболее устойчивым буржуазным центром. Мо-

нарх был для нее не просто украшением—ей нужна была «твердая власть», и она не прочь была сохранить от самодержавия, что можно, но только, чтобы оно служило капиталу. Исторически, знаменитые «деятели 60-х годов», все эти Милютины, Самарины, Чичерины и Кавелины и были родоначальниками позднейших октябристов; ибо их задачей было поставить самодержавие на службу капитализма.

Но исторически самая старая буржуазная группировка в России, «Союз 17 октября» (нет нужды пояснять, что в таком виде он мог появиться только после 17 октября 1905 г.), никоим образом не мог занять командующего положения в буржуазной реакции. Это был центр, а в критические минуты всегда выдвигаются крылья. Простодушная публика видела на сцене только правых с их погромами, да левых, с их медоточивыми речами о «народной свободе» и «мирном пути развития»; а на самом деле правительство, утвердившееся под шум этого спора, вело именно октябристскую линию. Этим мы займемся подробнее, когда будем изучать столыпинщину

После распадения «Союза освобождения» (фактически это произошло, как мы помним, весною 1905 года) буржуазия не имела до октября определенных политических группировок. Старой формой ее организации являлись земские съезды, усиленно старавшиеся догнать уходившую все дальше и дальше влево буржуазную интеллигенцию. О настроении июльского съезда мы уже имеем представление (см. выше, стр. 142). Но в августе ст. ст. появился манифест о «булыгинской думе». Приближались выборы—нельзя же было выступать на них от имени «земского съезда» или почти уже не существовавшего «Союза Освобождения», не связанного, вдобавок, партийной дисциплиной и не могшего давать своим членам определенных практических директив. В октябре 1905 г., как раз в разгаре пролетарской забастовки, «Союз» собрался на последний съезд, чтобы официально кончить свои дни, как «Союз», и превратиться в настоящую партию. Потеряв уже на мартовском съезде свое левое крыло, на октябрьском союз потерял свой центр—Прокопович, Кускова, Богучарский и др. отказались войти в состав образовавшейся

на съезде новой партии, и образовали особую группу «Без заглавия», не имевшую никакого политического значения. В партию Союз Освобождения перешел, таким образом, одним своим правым крылом.

Тем не менее, октябрьское настроение было таково, что это бывшее правое крыло «Союза» говорило и принимало резолюции почти что «под социалиста». Бывший лидер правого крыла и теперешний лидер «конституционно-демократической» партии, П. Н. Милюков, прежде всего, старался отмежеваться от буржуазии. «Настоящая граница,—говорил он,—...там, где они («наши противники справа») выступят во имя узких классовых интересов русских аграриев и промышленников. Наша партия никогда не будет стоять на страже этих интересов». Напротив, слева нет такой определенной границы—да нет, собственно, и «противников». «Между нами и нашими, мы хотели бы сказать, не противниками, а союзниками слева,—говорил Милюков,—также существует известная грань, но она совершенно иного характера, чем та, которую мы проводим справа. Мы, подобно им, стоим на том же левом крыле русского политического движения. Но мы не присоединяемся к их требованиям демократической республики и обобществления средств производства. Одни из нас не присоединяются к этим лозунгам потому, что считают их вообще неприемлемыми, другие, потому, что считают их стоящими вне пределов практической политики. До тех пор, пока возможно будет итти к общей цели вместе, несмотря на это различие мотивов, обе группы партии будут выступать, как одно целое; но всякая попытка подчеркнуть только что указанные стремления и ввести их в программу будет иметь последствием немедленный раскол. Мы не сомневаемся, однако, что в нашей среде найдется достаточно политической дальновидности и благоразумия, чтобы избежать этого раскола в настоящую минуту».

Едва ли нужно напоминать читателю, что к «обобществлению средств производства» практически не стремилась еще тогда ни одна партия, и большевики и меньшевики были согласны, что революция, пока что, в России буржуазная, и спорили только о том, как понимать «буржуазную революцию». Одурачивание уже начиналось. В минуту наивыс-

шего подъема рабочего движения новорожденные кадеты спешили заявить: «Мы тоже социалисты, только разумные, не требуем птичьего молока, а те, что налево—неразумные. Вот и вся разница». И, в полном соответствии с этим, съезд принял по поводу происходившей забастовки самую что ни-на есть, сочувственную резолюцию. «Требования забастовщиков, как они формулированы ими самими,—гласила эта резолюция,—сводятся, главным образом, к немедленному введению основных свобод, свободному избранию народных представителей в учредительное собрание на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования и общей политической амнистии. Не может быть ни малейшего сомнения, что все эти цели общи у них с требованиями конституционно-демократической партии. В виду такого согласия в целях учредительный съезд конституционно-демократической партии считает долгом заявить свою полнейшую солидарность с забастовочным движением. На своем месте и доступными партии средствами, члены ее стремятся к осуществлению тех же задач и, подобно всем остальным борющимся группам, решительно отказались от мысли добиться своих целей путем переговоров с представителями власти».

Конечно, и в «булыгинскую» думу кадеты шли «с исключительной целью борьбы за политическую свободу и за правильное представительство. Едва ли может быть сомнение в том, что, добиваясь нашей цели, мы не можем рассчитывать ни на какие соглашения или компромиссы и должны держать высоко тот флаг, который уже выкинут русским освободительным движением в его целом, т.-е. стремиться к созыву учредительного собрания, избранного на основании всеобщего, прямого, тайного и равного голосования», говорил Милюков.

Словом, не только почти-социалисты, но и почти-республиканцы, стремятся исключительно к «народной свободе» (второе название партии так и гласило: «партия народной свободы») и не идут ни на какие компромиссы с царизмом. Простодушные люди могли не заметить, что уже самое название партии было компромиссом (соглашением): под «кон-

ституцией» в ходячем словоупотреблении все разумели монархическую конституцию, т.-е. царскую власть, ограниченную народным представительством, на подобие того, как это было в те времена во всех монархиях Западной Европы. А под «демократией» все всегда разумели республику. Название «конституционно-демократический» означало, в сущности, «монархически-республиканский», т.-е. ни то, ни се; ни два, ни полтора; ни монархия, ни республика. А практически это значило: «как повернутся обстоятельства. Поднимутся волны революции еще выше, будем республиканцами. Спадут—вернемся опять к монархии». На январском (1906 г.) съезде кадетов, тотчас после разгрома рабочего восстания, эта перемена и была осуществлена с чрезвычайной ловкостью рук. Програмка была дополнена фразой: «Россия должна быть конституционной и парламентской монархией».. А чтобы отмежеваться от «осрамившихся» «союзников слева», на январском съезде по поводу кадетской тактики было сказано: «Партия к. д. всю силу полагает в самой широкой организации общественного сознания всеми способами, за исключением вооруженного восстания».

С первых своих шагов новая партия, включившая в себя буржуазную интеллигенцию, с профессорами и адвокатами во главе, и наиболее либеральных помещиков, типа Петрункевича и братьев кн. Долгоруких, во всю ширину развернула свою тактику одурачивания массы. С самого начала в ней все, начиная с ее имени, было ложью. Но массу дурачили именно потому, что на нее опирались, ее считали силой. Когда Витте, в период правительственной паники, ища точки опоры, обращался между прочим, и к новорожденным кадетам, приглашая их лидеров вступить в состав правительства, официально ему было гордо отвечено: «мы вступим лишь в состав правительства, которое обязуется созвать учредительное собрание». Неофициально кадеты были откровеннее. Когда Гессен, один из кадетских вождей, пришел к Витте, «чтобы узнать,—говорит тот,—как я буду относиться к партии кадетов», Витте ему сказал: «Вообще к взглядам этой партии отношусь симпатично и многие воззрения ее разделяю и что потому я готов поддержать ее, но при одном непремен-

ном условии, чтобы она отрезала революционный хвост, т.-е. резко и открыто стала против партии революционеров (в то время еще правых революционеров не было, были только левые), орудовавших бомбами и браунингами (револьверами). На это мне Гессен ответил, что они этого сделать не могут и что мое предложение равносильно тому, если бы они нам предложили отказаться от нашей физической силы, т.-е. войска во всех его видах».

Итак, до декабря 1905 года кадеты, употребляя биржевые термины, играли на повышение революции. Они предугадывали возможность такого положения вещей, какое сложилось гораздо позже, в феврале 1917 года, когда победившая народная масса, под влиянием мелкой «демократической» интеллигенции, передала власть кадетскому министерству Львова. Несомненно, что и в декабре 1905 г., если бы народ победил, меньшевики и эсеры постарались бы, чтобы к власти были призваны «образованные» и «опытные» кадетские вожди. В скобках сказать, это же показывает, что в вооруженное восстание, до декабря, верили не только «безумные» большевики, но и «разумные» буржуа, только последние, конечно, предпочитали, чтобы на баррикадах дрался кто-то другой, а не они... Но как бы то ни было, в кадетской игре на повышение было не без правильного расчета. А когда «настроение» изменилось, кадеты с такою же легкостью могли сыграть и на понижение, как мы сейчас увидим.

Но прежде, чем перейти к этому моменту, нам нужно посмотреть на будущих октябристов. Эти, конечно, по отношению к революции, держали иные речи и, нужно сказать, речи, гораздо более искренние, чем кадеты. Будущий лидер октябристов, А. Гучков, говорил на земско-городском съезде в ноябре 1905 года: «Ни одна страна в исключительные моменты не обходится без военного положения. Представители Польши говорят, что введение его у них ничем не вызвано. Но это не так, я знаю: в Польше вооруженное восстание. Далее, что подразумевается в резолюции под словами об ограждении от насилий? Ведь насилия начались со стороны революционеров. Если говорить об ограждении, так надо ограждать с обеих сторон. Между тем одну сторону предлагают наказывать, другую—амнистировать... Мы руки крайним

партиям, конечно, не протянем». Очень близкий к октябристам, хотя и не принадлежавший формально к «Союзу 17 октября», кн. Е. Трубецкой (основавший позднее партию «Мирного обновления», столь же безжизненную, как и группа «Без заглавия») писал тогда же в «Русских Ведомостях»: «Перед русским обществом в настоящее время становится такая альтернатива: или итти тем насильственным путем, коего неизбежный логический конец—анархия, т.-е. всеобщее уничтожение, или же попытаться мирным путем пересоздать, улучшить и тем самым укрепить нынешнее слабое непоследовательное и постольку, разумеется, плохое правительство. Среднего пути быть не может. Сесть между двумя стульями в настоящее время всего опаснее, ибо как раз между двумя стульями находится тот провал, который грозит поглотить сначала русский либерализм, а затем всю русскую интеллигенцию и культуру... Занимая такое положение по отношению к правительству, мы тем самым, разумеется, проводим резкую демаркационную линию между нами и крайними партиями. Но пора, наконец, признать, что, поскольку мы не жертвуем нашими принципами, эта демаркационная линия неизбежна».

Совершенно естественно, что если кадеты, в целях одурачивания массы, старались возможно более четко провести границу между собою и «правыми» и затушевать границу между ними и «левыми», октябристы, как чистые представители крупного капитала и крупного—но не отсталого—землевладения, четко отмежевывались именно слева. Кадеты признавали желательным ввести 8-часовой рабочий день «там, где это возможно» (как-будто какая-нибудь социалистическая партия требовала немедленного введения этого дня всегда и всюду!)—октябристы о нем не говорили ни звука. Кадеты заявляли, что они за принудительное отчуждение помещичьих земель в пользу крестьян «по справедливой оценке» (позже, после декабря, они пояснили, что «справедливой» оценкой называется такая, которая не считается с искусственно вздутыми арендными ценами, а что стоит земля на самом деле, плати полным рублем...), октябристы признавали только «допустимым в случаях государственной важности принудительное отчуждение ча-

сти частновладельческих земель на справедливых условиях вознаграждения». В одном документе, подписанном одним из основателей «Союза» фабрикантом Крестовниковым, разъяснялась вся опасность «принудительных отчуждений». «В своих программах они (социал-демократы и социалисты революционеры),—говорит этот документ,—большею частью говорят пока только о национализации (отобрании в казну) земли помещичьей, удельной и кабинетской, но это только для начала, а затем они будут требовать и отобрания от всех в казну всякого другого имущества. Поэтому мы не можем сходиться со всеми теми, кто говорит о наделе даром крестьян землею, об отобрании земли у помещиков».

Итак, «священной собственности», нужно касаться, как можно осторожнее, а со всеми, кто на нее покушается, надо вести непримиримую борьбу. Мы видели уже, как Гучков оправдывал правительственные репрессии, военное положение и т. п. еще до декабря. Собравшийся в феврале первый съезда Союза 17-го октября едва не провалил резолюцию, где, применяясь к настроениям мелкобуржуазной городской массы, перед которой предстояло скоро выступить в качестве кандидатов на думских выборах, центральный комитет «Союза» предлагал сказать: «Введение военного положения может быть вызвано только вооруженным восстанием или приготовлением к нему и должно быть отменено, как только минует крайняя в нем необходимость. Не следует злоупотреблять этим жестоким правом, а еще менее злоупотреблять его применением там, где оно по необходимости было введено. Во всяком случае применение смертной казни без судебного приговора в каких бы то ни было случаях должно быть немедленно прекращено». За эту резолюцию было подано 142 голоса, а против нее 140. Один делегат воскликнул: «Помилуйте, да мы только разговаривать стали, как ввели военное положение!».

При таком настроении кажется удивительным, почему же октябристы не откликнулись на зов Витте после октября, когда он и их, как кадетов, приглашал вступить в его кабинет. На этом вопросе стоит остановиться на минуту, потому что на нем мы можем хорошо видеть, насколько октябристы были умнее правительства Витте и насколько в

классовом отношении они были сознательнее. Между октябристами и Витте, конечно, не могло быть споров об «учредительном собрании»—буржуазному центру эта фраза была ни к чему, он не на фразах строил свою политику, как кадеты. Не было, мы видели, разногласия и в том, чтобы революционеров гнуть в бараний рог. Но было, однако же, два пункта расхождения очень серьезных. Во-первых, после октября нельзя уже было отказать в праве голоса на выборах рабочим—как это делала «булыгинская» конституция. Мы видели, что самый манифест 17 октября был, в некоторой мере, «подходом» именно к рабочей массе. Об этом октябристы и Витте не спорили. Но в то время, как Витте больше всего опасался перевеса в думе «крайних» партий, сильных среди пролетариата, и потому хлопотал о том, чтобы дать рабочим поменьше места в думе, заперев их для этого в особую, крайне малочисленную «курию», но зато курию с чистым классовым составом, где голосовали все совершеннолетние рабочие, лидеры октябристов, на совещаниях по поводу нового избирательного закона (опубликованного впоследствии в разгар декабрьского восстания, 11 декабря) настаивали попросту на всеобщем избирательном праве, но лишь для граждан, достигших 25-летнего возраста (как в Пруссии). Утопить пролетарское меньшинство в крестьянской и мещанской массе казалось им гораздо более «верным» средством, чем пролетарская курия. «Теперь представлены два проекта,—говорил Гучков на совещании, под председательством Николая в Царском Селе.—Первый основан на цензовом начале, и, однако, в тоже время им к участию в выборах привлекаются рабочие, но из них преимущественно те, которые проявили за последнее время больше волнения; масса же, так называемого, городского простонародья: дворники, сторожа, извозчики, ремесленники и т. д., устраняется. Рабочие получают особое представительство в лице 14 депутатов, которые будут держать в своих руках нити рабочего движения и представлять из себя легализованный стачечный комитет. Не следует бояться народных масс; привлечением их к участию в политической жизни страны будет достигнуто наиболее прочное успокоение. Дарование общего избирательного права неизбежно, и если не дать его теперь,

то в ближайшем будущем оно все-таки будет вырвано. Провозглашение же этого принципа в настоящее время явится актом доверия, справедливости и милости».

Это соображение—что при всеобщем избирательном праве удастся утопить сознательную часть пролетариата («тех, которые проявили за последнее время больше волнения») в массе «дворников, сторожей и извозчиков», показалось так убедительно, что к Гучкову и Шипову пристал один из представителей крупнейшего землевладения—и в то-же время крупный сахарозаводчик—граф Бобринский. «Недавно еще, когда я ехал сюда, и в совете министров я стоял за выборы при классовой группировке избирателей», сказал Бобринский, «но теперь, выслушав только что произнесенные речи и приведенные в них доводы, я отказываюсь от своего прежнего мнения и высказываюсь за общее избирательное право».

Так буржуазия уже в 1905 году отлично понимала, какой может быть для нее выгодной штукой пресловутое «всеобщее избирательное право». Но чиновники, из которых составилось большинство совещания, были люди отсталые. По старой памяти, еще от времен Плеве, они пуще всего боялись, как бы в думу не попал в большом числе окаянный «третий элемент», и спешили запереть рабочих и крестьян в сословную коробку. Чтобы от крестьян был крестьянин, от рабочих—рабочий, и больше никаких. Эту точку зрения с особенным жаром отстаивал министр внутренних дел Дурново, речью которого закончилась эта часть царскосельского совещания.

Дурново же был и причиной того, что октябристы (или как их тогда величали, «общественные деятели») отказались войти в кабинет Витте. Последний давал им какие угодно портфели—но портфель министра внутренних дел был забронирован за Дурново. А октябристы и тут показали, что они не дураки: они великолепно понимали, что в момент борьбы с революцией министр внутренних дел, главный начальник полиции—все. И действительно, Дурново на практике оказался сильнее самого Витте. Изображать же «общественную» декорацию при Дурново октябристам не было никакого расчета.

Но пролетариат не сразу пожелал воспользоваться предоставленным ему указом 11 декабря 1905 г. правом. Твердо

уверенная в том, что октябрьско-декабрьская революционная волна—отнюдь не последняя, что предстоит еще новый подъем революции, в связи с восстанием в деревне, пролетарская верхушка решила, что нет никакой надобности держаться относительно виттевской думы иной тактики, чем какая была решена относительно думы Булыгина. Большевики объявили безусловный бойкот выборов. В них приняли участие только самые отсталые слои пролетариата, да кое-кто из меньшевиков, неофициально—официально и меньшевики не решались сломать тактику бойкота, пока она не отменена была Стокгольмским «объединительным» (потому что он должен был объединить фракции «большинства» и «меньшинства») съездом партии. Это было уже к самому концу избирательной процедуры—большая часть выборов прошла в марте. Результат был тот, что самой левой партией на выборах оказались кадеты.

Спекулировавшие на бомбы и браунинги, на вооруженное восстание в ноябре, кадеты теперь отлично «спекульнули» на разгром этого восстания. Сыграв на повышение—неудачно—они не стали унывать, и теперь играли на понижение. Для них было чрезвычайно выгодно настроение городской мелкобуржуазной массы, которая составляла в городах подавляющее большинство избирателей (по виттевскому закону право голоса было предоставлено всем «квартиронанимателям», из рабочих, значит, тому ничтожному меньшинству, которое жило не в казармах и не в каморках, а занимало самостоятельные квартиры), за выделением рабочих в особую курию. Но городская мелкая буржуазия была одновременно озлоблена и на правительство, за его репрессии—в Москве, где обыватель так пострадал от дубасовских пушек, озлобление было особенно велико—и на левые партии, своей «необдуманностью» вызвавшие эти репрессии. Социалисты—но «разумные», республиканцы—но «умеренные», это как раз была та приманка, на которую теперь ловился мелкобуржуазный пескарь. Кадеты показали себя превосходными рыболовами. Они храбро обещали все на свете—обещали «стереть главу змия», сиречь самодержавия, избирательными бюллетенями. Центральный орган партии к. д. «Речь», писал: «Войдя в думу, мы примемся за свою задачу и начнем с отрицания самой думы». На 3-м,

апрельском, съезде кадетов была принята резолюция, гласившая, что «партия не остановится даже перед возможностью открытого разрыва с правительством». Словом, обыватель мог быть доволен: кадеты всыпят Дубасову по первое число за его расстрел. А что они против вооруженного восстания, так это лишь показывает, что они умные люди: мелкий буржуа без пены у рта теперь говорить не мог об этом вооруженном восстании.

И обыватель наградил кадетов выше даже их собственных ожиданий. В городах проходили почти исключительно кадеты и даже крестьяне, как мы видели, послали 24 кадетских депутатов. [1]) Всего кадеты получили 179 мест (а с очень к ним близкими прогрессистами и партией демократических реформ 197). Но так как в думе было 478 депутатов, то абсолютного большинства они все же не имели.

В этом была главная трудность положения. Будь в думе кадеты большинством—они живо надули бы своих избирателей и стали бы столковываться с правительством; будь они в ничтожном меньшинстве, они продолжали бы «смело» повторять те громкие фразы, которыми они на выборах очаровали мещанина, а что фразы никаких реальных последствий не имеют, так это, дескать, естественно: нас же так мало. Но кадеты не были ни подавляющим большинством, ни ничтожным меньшинством; они были руководящей партией думы; им пришлось образовывать большинство, создавать большинство из очень пестрого материала, самой неудобной частью которого было, возникшее неожиданно не для одних кадетов, огромное левое крыло, в лице трудовиков (94 человека). Эти последние были, мы видели, крайне наивны и малосознательны политически, но—главная беда для кадетов—они были искренни. Они в самом деле верили, что через думу можно «отхлопотать» права и землю. Кадеты тоже обещали «отхлопотать», но про себя то они отлично знали, что это дело несбыточное, и вполне готовы были расплатиться со своими избирателями «по гривенничку за рубль», как цинично признавался один их доброжелатель (мы это сейчас уви-

---

[1]) Левые помещики дали 29 кадетов—½ всех крупных землевладельцев, выбранных в думу

дим). Трудовики же ни о каком «выворачивании кафтана» понятия не имели. «Вести» за собою такую публику было делом неимоверно трудным.

Положение было тем труднее, что атмосфера вне думы накалялась с быстротою, которой опять-таки никто не ожидал. Мы видели, как падало число забастовок и бастовавших с начала к концу 1906 года. Но тогда я намеренно опустил вторую четверть года, охватывающую месяцы, когда избиралась, собиралась и начинала свои занятия первая Дума [1]). В то время, как за первую четверть 1906 года мы имеем только 73 тысячи забастовщиков, за вторую мы имеем слишком втрое больше, 222 тысячи, из которых почти для двух третей (144) стачка кончилась или победой рабочих или «компромиссом»,—т. е., во всяком случае, уступками хозяев. Число забастовок по месяцам росло так: в феврале 17, в марте 92, в апреле—1026, в мае—449, в июне—86. Волна, как видим, была короткая,—но она характерна, как лишний образчик тех иллюзий, которые даже в 1906 г. продолжали существовать в широких кругах пролетариата. От Думы и рабочие чего-то ждали, во всяком случае ее созыв казался им чем-то значительным: а на самом деле Дума была созвана просто во исполнение соглашения с парижской биржей, которая только что дала, наконец, Николаю денег на «поправку» после войны. Заем не был обусловлен согласием Думы—после декабрьского расстрела личный кредит «Романовых» опять мог считаться восстановленным. Но французам все же нужен был, для мелкобуржуазных подписчиков на новый заем, фиговый листок—даем, дескать, взаймы не самодержавию, а «конституционной» России. Пуанкарэ, тогдашний французский министр финансов, и посоветовал не убирать слишком скоро в сарай полезной декорации и все-таки поставить на сцену обещанную пьесу «созыв народных представителей». Так как таково же было желание и русских капиталистических кругов (в первую думу почти не попавших: октябристы потерпели на первых выборах жестокий разгром), то в Царском Селе решили созвать думу. Опас-

---

[1]) Заседания открылись 27 апреля ст. ст.

ностью это ни малейшей, как-будто, не грозило—деньги были уже в кармане. Но было заранее решено—если дума осмелится поднять аграрный вопрос, разогнать ее немедленно. Пуанкарэ не мог быть в претензии: он же, ведь, не требовал, чтобы думе дали, действительно, права,—а только, чтобы созвали...

Вся эта закулисная история первой думы стала известна только теперь—тогда же, повторяем, даже некоторые рабочие относились к думе серьезно, видели в ней какой-то «этап» революции. Наивную доверчивость мелкобуржуазных масс мы уже видели. Видели мы также, что крестьянское движение разгорелось в большой пожар именно к весне—лету 1906 года, т.-е. тоже к «Первой Думе». А крестьянское движение имело огромное влияние на войска. Известия о «беспорядках» в различных полках стали приходить прямо десятками. И на этот раз движение захватило и петербургский гарнизон: даже первый полк гвардии, Преображенский, выразил свою солидарность с трудовой группой. Причину этого мы опять видели: «трудовая группа» выражала интересы «хозяйственного мужичка», дававшего главный процент солдатской массы столичных полков (характерно, что еще одним из первых восстаний крестьян в 1902 году руководил запасный унтер-офицер Преображенского полка). Опасность для правительства это представляло, конечно, меньшую, нежели менее частые солдатские бунты осени 1905 года, ибо только на фоне революционного выступления пролетариата солдатский бунт мог приобрести крупное революционное значение. Но на обывательскую массу это сильно действовало; сильно действовало это, как сейчас увидим, и на правительство.

Все это во много раз более трудным делало положение думских кадетов. Нужно было «соответствовать» не только трудовикам в самой думе—нужно было итти в ногу и с движением широких масс вне думы. Кадеты—они в этом сами признавались—шли в думу тушить революцию, а она от думы именно и начала, казалось, вновь полыхать. Еще в области чисто политической, пользуясь малой сознательностью трудовиков и совершенной бессознатель-

постью вне-думской массы, кадеты кое-как изворачивались. Мы видели, какой адрес царю подсунули они трудовикам, и те его послушно приняли. Но уже в области социальной наладить внутренний мир оказывалось труднее. Левые помещики были дворяне и желали такими оставаться. И вот, когда встал вопрос об уничтожении сословий, из уст представителей конституционно-демократической партии послышались совсем странные речи. Кадетский специалист по государственному праву, Кокошкин, говорил: «Мы желаем сохранить сословия, но все реальное содержание сословий обусловливается и сводится к неравенству прав, к известным привилегиям или ограничениям. Раз привилегия и ограничения будут уничтожены, то реального различия существовать уже не будет. Остается только один вопрос—вопрос о названии, который не заслуживает внимания». Пусть дворяне, все-таки, называются дворянами, а крестьяне—крестьянами... А когда дворян прокатили на вороных в Тамбовской губернии, кадеты добились отмены выборов думою, в связи с чем 10 депутатов-крестьян должны были уйти. Крестьяне это заметили.

Но со всей непримиримостью должны были встать противоречия, когда начались прения по запретному для думы, но она этого не знала—аграрному вопросу. Мы знаем, что думу решено было разогнать, если она вообще коснется этого вопроса—а она ни о чем другом почти и не говорила. Аграрный вопрос занял $^3/_4$ времени всей короткой думской сессии. Столковаться, казалось, было нетрудно: мы помним, что и крайнее левое крыло думы, трудовики, стояли в этом вопросе на соглашательской позиции—настоящих аграрных революционеров в думе вовсе не было. Но трудовики и тут были искренними соглашателями: не всю помещичью землю, и не даром, но они все-таки надеялись получить. А кадеты, под давлением своего помещичьего крыла, старались, чтобы большая часть земель осталась у помещиков, и чтобы последние никак не лишились необходимых им рабочих рук. Они соглашались пожертвовать только «диким помещиком», земельным ростовщиком». «Без всяких ограничений подлежат отчуждению все земли», гласит кадетский проект, «обычно сдававшиеся до

1 января 1906 г. в аренду за деньги из доли или за отработки, а также земли, обрабатывавшиеся преимущественно крестьянским инвентарем и земли впустележащие, по признанные годными для обработки». Но отнюдь не подлежат отчуждению: «земли, на которых расположены фабрично-заводские или сельско-хозяйственные промышленные заведения, т.-е. земли, для них технически необходимые, находящиеся под строениями, складами, сооружениями и пр.».

Итак, помещичью землю, на которой барин сам не хозяйничал изволь, но крупного хозяйства, боже сохрани, не трожь. А между тем, мы помним, вся конкуренция то была между крупным и мелким хозяйством, и громить-то начали крестьяне с арендаторов-капиталистов. Но на этот счет кадетская программа говорила совершенно категорически: «при этом является желательным доведение размеров обеспечения до потребительной нормы, т.-е. до такого количества земли, которое, по местным условиям и, принимая в расчет прочные промысловые доходы, где таковые существуют, —было бы достаточно для покрытия средних потребностей в продовольствии, жилище, одежде, и для несения повинностей».

«Потребительское» крестьянское хозяйство кадеты соглашались допустить: пусть мужичок не голодает; но чтобы пустить его конкурировать на рынке с помещиком, как производителя—это уже извините. Один из наиболее искренних кадетов, Е. Н. Щепкин, признавался откровенно, что кадетский проект—«это повторение реформы 1861 года». Там было «освобождение» в кавычках, теперь будет «наделение землей» тоже в кавычках. Но крестьяне были уже не те, что в дни «великой реформы». «Мы теперь не должны останавливаться на полумерах, как это было в 1861 г.», прямо заявил один из крестьянских депутатов думы. «Если землевладельцы не согласны уступить свою землю» (подразумевалось, на условиях трудовой группы), говорил другой, «то народ все равно возьмет ее и ничего не уплатит».

С точки зрения правительства такие речи явно провоцировали на разгон. Это не было уже правительство Витте—Николай поспешил расстаться с крайне несимпатичным ему министром, как только был заключен заем, ради которого,

главным образом, Витте и поставили во главе кабинета; предлогом было «левое» большинство думы (кадеты и трудовики),—но впоследствии Столыпина не уволили же за еще более «левую» Вторую Думу. Этот Столыпин, бывший саратовский губернатор, считавшийся там «либералом» (он и впоследствии показал себя, как правый октябрист), в сущности, был душою нового кабинета—премьером формально был старый чиновник Горемыкин, всегда выдвигавшийся на пост, когда от занимавшего его требовалось, прежде всего, полное безличие. Столыпина выдвинули в июне, одновременно с тем, как дворянский съезд приступил к Николаю с настойчивым требованием—положить конец раздававшимся на всю Россию разговорам об отобрании у дворянства его земель. Дума «исполнила условие», заговорила об аграрном вопросе, и даже говорила исключительно о нем—думу явно следовало разогнать. Дворянство не могло терпеть более.

Столыпин—он был как раз министром внутренних дел—брался провести этот разгон собственными средствами. Но это предполагало полную уверенность начальства в своей вооруженной силе,—а этой уверенности у Трепова, попрежнему еще стоявшего за Николаем (Трепов умер лишь в конце лета 1906 г.), не было. Уж если преображенцы оказались ненадежны, что же думать о других полках. И вот у Трепова явилась мысль—использовать для разгона кадетов. Правительство не могло не оценить той ловкости, с какой кадеты одурачили своих избирателей в марте. Почему им не удается то же в июле? Думу распустят, но останется «думское» министерство, комитет уполномоченных «народного представительства»—можно даже изобразить это простачкам, как большой «шаг вперед».

Столыпину очень не хотелось уступать место кадетам. Он стал подбивать Николая на образование «коалиционного» кабинета из чиновников (прежде всего, его самого) и «общественных деятелей», повторяя, таким образом, попытки Витте в ноябре 1905 года. Но «общественные деятели», в лице приглашенного в премьеры нового кабинета Шипова, решительно высказались за призвание к власти именно кадетов. Шипов говорил Николаю при их личном свидании в Петергофе: «В настоящее время и при сложившихся усло-

виях возможно образование кабинета только из представителей большинства государственной думы. Оппозиционный дух, который в настоящее время ярко проявляется среди к.-д. партии, не может внушать серьезных опасений. Такой характер ее в значительной мере обусловливается занимаемым ею положением безответственной оппозиции. Но если представители партии будут привлечены к осуществлению правительственной власти и примут на себя тяжелую ответственность, с ней сопряженную, то нынешняя окраска партии, несомненно, изменится, и представители ее, вошедшие в состав кабинета, сочтут своим долгом значительно ограничить требования партийной программы при проведении их в жизнь и уплатят по своим векселям, выданным на предвыборных собраниях, не полностью, а по 20 или 10 копеек за рубль».

Николай пожелал знать, как именно кадеты будут надувать своих избирателей. И Шипов удовлетворил его любопытство, объяснив ему, как это можно сделать по пяти главным вопросам: отмене смертной казни, политической амнистии, аграрному вопросу, равноправию всех национальностей и автономии Польши. В дополнение Шипов сказал: «что если представители к.-д. партии были бы призваны к власти, то весьма вероятно, что в ближайшем времени они признали бы необходимым распустить государственную думу и произвести новые выборы, с целью освободиться от многочисленного левого крыла и создать палату из сплоченных прогрессивных элементов страны. Государь, как мне казалось, был удовлетворен представленными мной пояснениями и спросил, кто из членов конституционно-демократической партии пользуется в ней большим авторитетом и более способен к руководящей роли».

Милюков, в своей статье по поводу воспоминаний Шипова, не опровергает этой характеристики—и даже почти подтверждает ее. Он говорит: «Несомненно, Шипов был прав в том, что к.-д. у власти оказались бы вовсе не такими разрушителями и революционерами, какими представлял их Столыпин и все, кому это было нужно.

Несомненно, что в порядке практического осуществления

програмы были бы введены все поправки и дополнения, диктовавшиеся государственными соображениями».

«Но,—прибавляет он,—конечно, к.-д. не могли бы отказать в амнистии террористам (это был основной пункт расхождения, даже более серьезный, чем аграрная реформа)...» Крестьянской землей кадеты готовы были пожертвовать, но своими головами, чтобы пойти, восстановляя «порядок», под эсеровские бомбы и браунинги,—это уже дудки. И это был очень важный пункт расхождения. Для Николая бомбы и браунинги и были «настоящей революцией», как мы знаем,—террористы и были «настоящими революционерами»: кто шел против них, тот был истинно предан престолу и отечеству. Столыпин рискнул своей головой, обнаружил преданность—отсутствие ее у кадетов было плохим предзнаменованием для их министерства.

Другим роковым для кадетов обстоятельством было то, что буржуазная интеллигенция, еще не отняв министерских портфелей у бюрократии, уже готова была из-за этих портфелей передраться... Муромцев, кадетский председатель думы, вызвал к себе Милюкова—фактического лидера партии, но на выборах провалившегося—и, рассказывает Милюков, «после некоторых прелиминарий, прямо в упор поставил мне вопрос: кто из нас двоих будет премьером». Шипов и тут попытался выступить в роли «честного маклера», предлагая такую комбинацию: Муромцев премьер, а Милюков министр иностранных дел. Но Муромцев на это ответил: «двум медведям в одной берлоге ужиться трудно». Между тем Милюков, по отзывам наблюдавших его в то время, «смотрел уже на себя, как на премьера».

Но в конце-концов, эти мелочи—столь, однако, характерные,—как бы нибудь сгладились, не сорвись кадеты на самом главном: в решительную минуту оказалось, что они вовсе не хозяева в думе, и что с их выступлением в министерство Николай ровно ничего не выигрывает.

Выяснилось это так. Под давлением дворянского съезда правительство Горемыкина—Столыпина выпустило «сообщение», гласившее, что никакого «принудительного отчуждения частно-владельческих земель» не будет. Это было грубое вмешательство в работу Думы, еще далеко не кон-

чившей обсуждения аграрного вопроса. «Принудительное отчуждение» стояло во всех проектах—и вдруг министерство заявляло, что, как бы дума там ни решила, а помещичьей земли все равно не тронут. Возмущенное «народное представительство» решило на «сообщение» правительства ответить «обращением к народу», опровергающим сообщение и ставящим вещи на свое место. Кадеты страшно струсили,—кадетские юристы сейчас же сообразили, что такой шаг думы в руках Столыпина может великолепно сыграть роль формального повода для роспуска. Но настроение депутатов было таково, что восстать прямо против «обращения к народу» кадеты все же не решились. Они попробовали засаботировать «обращение», подсунуть думе такой текст его, «главный смысл которого», по словам представителя с.-д. фракции, «сводился к укору народа и призыву его к спокойствию, а не к обличению тех правительственных насильников, которые делали думу бессильной». И вот, при голосовании этого странного «революционного документа», призывавшего народ к спокойствию, и произошел скандал: проект получил одни кадетские голоса (124). Правые и социал-демократы (52 голоса) голосовали против, а 101 трудовик воздержались. Прошли уже те времена, когда эти наивные люди голосовали за кадетский адрес царю — два месяца думских заседаний и их кое-чему научили.

Для Трепова это должно было быть ударом грома из ясного неба. Да у них вовсе нет большинства в думе, у этих кадетов. Какой же смысл имеет их министерство? Столыпин мог торжествовать. 8 июля ст. ст. последовал царский указ о роспуске думы, мотивированный тем, что дума стала мешаться не в свои дела. Одновременно были назначены на январь 1907 года новые выборы. Было образовано и новое правительство, Горемыкин получил отставку, но премьером стал не Милюков, а Столыпин. Для украшения своего кабинета он опять попробовал пригласить «общественных деятелей», но теперь это до того походило на издевательство, что даже октябристы обиделись. Позднейшей политикой столыпинского кабинета они, впрочем, не могли быть особенно недовольны.

Опасения Трепова за «порядок и спокойствие» оправдались лишь в самой незначительной степени. От ареста петербургского Совета Рабочих Депутатов было гораздо более звучное эхо, чем от разгона 1-й думы. В Свеаборге и Кронштадте вспыхнули военные восстания—но правительство было к ним подготовлено и подавило их с гораздо меньшим трудом, чем севастопольское в ноябре 1905 года. Крестьянство ответило волнениями довольно крупного масштаба — особенно велико было движение в Ставропольской губернии, депутату которой, Онипко, грозила смертная казнь за участие в кронштадтском восстании. Но и это отнюдь не было страшнее того, что правительство видало и раньше. Пролетариат, бойкотировавший думу, напомнил, однако же, торжествующему самодержавию о своем существовании попыткой всеобщей забастовки. Москва и Питер забастовали довольно дружно—но и для самих забастовавших это была чистая демонстрация, не добивавшаяся никаких конкретных целей. Наиболее жалким был ответ героев разогнанной думы—кадетов. Собравшись в Выборге, за финляндской границей, они выпустили еще одно «воззвание к народу». Охарактеризовать его смысл и значение всего лучше подлинными словами их лидера: «Выборгский манифест, о котором наговорено столько нелепостей, был минимумом того, что можно было сделать, чтобы дать выход общему настроению. Для членов партии народной свободы это была попытка предотвратить вооруженное столкновение на улицах Петрограда, заведомо осужденное на неудачу, и дать общему негодованию форму выражения, которая не противоречила конституционализму, стоя на самой грани между законным сопротивлением нарушителям конституции и революцией. Пример такого сопротивления в Венгрии из-за конфликта по вопросам народного образования был налицо.

«Согласившись с левым крылом думы на совместное конституционное выступление в Выборге, конституционные элементы тотчас же после Выборга, на совещании в Териоках, отвергли революционные выступления, как и последовавшие затем восстания в Кронштадте, Свеаборге и т. д.

«Самое приглашение народу—не платить податей и не давать солдат—имело условное значение,—в случае, если не

будут назначены выборы в новую гос. думу,—и применение этих мер начиналось не немедленно а по выяснении настроений в народе и не раньше осеннего призыва. Таким образом, в сущности, Выборгское воззвание осталось политической манифестацией и мерой на крайний случай, который не наступил, ибо выборы во вторую думу были назначены» [1]).

Эти строки написаны Милюковым в 1921 году,—когда у него не могло быть решительно никаких поводов скрывать свою революционность 1906 года, наоборот, были все основания ее еще увеличивать. Ведь, он теперь лидер левого, «республиканского» крыла кадетов. Но на этот раз добросовестный историк одолел в нем политика и он не смог скрыть, что даже и единственное «революционное» воззвание кадетов преследовало контр-революционные цели

Политическая роль буржуазной интеллигенции казалась сыгранной навсегда. Начиналась крутая дворянская реакция, но она работала уже не на себя: она расчищала дорогу реакции буржуазной. Анализируя социальный смысл «столыпинщины», мы увидим, что, с точки зрения «буржуазной революции», как понимали ее меньшевики, игра отнюдь не была в чистый проигрыш, несмотря на поражение кадетов.

---

[1]) „Три попытки" (из истории русского лжеконституционализма), стр. 63—64.

ГЛАВА IX.

Революция 1905 года на окраинах.

Империя «Романовых», как всем известно, не была национальным целым: как и все государства, созданные торговым капиталом, она объединила под одной властью самые разнообразные, по происхождению, народы, имевшие несчастье жить около торговых путей, необходимых русскому торговому капиталу прямо или косвенно. Обитатели восточных берегов Балтийского, северных и восточных Черного, западных Каспийского морей, племена, населявшие бассейны Вислы, Немана, Западной Двины, Днестра или Прута, люди, говорившие на языках, совершенно чуждых не только русскому, но и друг другу, грузины и поляки, финляндцы и крымские татары, латыши и киргизы, все состояли подданными русского царя и—за немногими исключениями—на совершенно одинаковых политических условиях, то-есть без всяких прав по отношению к центральной власти, которая считала себя русской, хотя последние—с середины XVIII века—носители ее были чистокровные немцы по происхождению.

Этот факт настолько бросался в глаза, что его сознавали даже наиболее умные слуги последних российских самодержцев. Витте писал в своих записках (около 1910 года): «Вся ошибка нашей многодесятилетней политики—это то, что мы до сих пор еще не сознали, что со времени Петра Великого и Екатерины Великой нет России, а есть Российская Империя. Когда около 35% населения инородцев, а русские разделяются на великороссов, малороссов и белоруссов, то невозможно в XIX и XX веках вести политику,

игнорируя этот исторический, капитальной важности факт, игнорируя национальные свойства других национальностей, вошедших в Российскую Империю—их религию, их язык и проч.».

Не понимали этого только сами «Романовы». Польшу лишил последних остатков самостоятельности еще Александр II (см. ч. II, стр. 135). Закавказье было лишено ее еще раньше. Александру III осталось заняться «обрусением» Прибалтийского края; в теперешних Латвии и Эстонии дело скоро дошло благополучно до того, что в культурной стране, где почти все население было грамотное, имело свою литературу, газеты и т. д., судья разговаривал с подсудимым или со свидетелями через переводчика, не хуже, чем в европейских колониях центральной Африки. Николаю II осталось «обрусить» Финляндию, за что он и принялся с рьяностью, которая скоро подарила революции эту маленькую страну, еще при Александре II бывшую образцом «благонамеренности».

Благодаря этой стрижке всего и всех под «романовскую» гребенку, взрыв против самодержавия в 1905 году должен был охватить не только русскую середину «империи», но и ее нерусские окраины, при чем, поскольку население этих окраин нестари было культурнее центра, движение там должно было принять более сознательный, более определенно-политический характер, чем в самом этом центре. На 9-е января, кроме Петербурга, только окраины ответили чисто-политическими забастовками—в центральной России движение еще оставалось полу-экономическим.

Но победа или поражение революции зависели именно от этого центра. Поскольку самодержавие победило в центре, оно могло не бояться окраинных революций— опыт XIX века ручался, что с ними, прочно стоя в центре, легко справятся. Исход польского восстания 1830—31 г. был предрешен разгромом декабристов в 1825 году, восстание 1863 года не могло удасться, раз не вышло крестьянское восстание в центральной России. Вот отчего, следя за общим ходом успехов и неудач революции 1905 г., можно было не выходить за пределы центрального района. Движение на окраинах своим ходом могло в известной степени помочь или помешать, ослабить или усилить центральное, но заменить его оно не

могло. Не национализм поэтому, а вполне реальные задачи исторического объяснения заставляют излагать 1905 год, как цепь событий, прежде всего, русских—беря даже теснее, петербургско-московских. Но не сказать в заключение несколько слов о революции окраин нельзя помимо всего прочего еще и потому, что окраины, как сейчас увидим, кое-что внесли в центральную революцию.

Труднее всего—в сжатом очерке даже невозможно—выделить из этой последней Украину. Украинское движение тех дней переплетается с общерусским почти неразрывно. Первый съезд российской социал-демократической партии был созван по инициативе киевского союза борьбы за освобождение рабочего класса. Первые демонстрации, первый выход революционного движения на улицу, в 1901 году, имел место в Харькове. Первые большие крестьянские волнения происходили, весною 1902 г., в Полтавской и Харьковской губерниях. Театром первой всеобщей забастовки, летом 1903 г., был юг России—т.-е., прежде всего, опять-таки Украина. Первое крупное военное восстание—выступление «Потемкина»—связано с Одессой, и т. д., и т. д. Но обо всем этом приходится рассказывать, как о моментах революции 1905 г. вообще, как о моментах общерусской революции. Если прибавить к этому, что национальные лозунги в украинском движении 1905 г. не играли почти никакой роли—предъявлялось только требование введения местного языка в школе и суде, т.-е. «национально-культурной» автономии, требование политической самостоятельности явилось лишь в 1917 г., то читатель согласится, что в «сжатом очерке» трудно дать особый отдел украинского движения 1905 г. Можно скорее себе представить историю первой русской революции, написанную с украинской точки зрения, но это уже работа для украинского историка.

Совершенно обратное положение получается для Польши и для Финляндии. Когда эта книжка попадет в руки читателя, родившегося после 1914 года, этот молодой человек просто не поймет, к чему в русской истории говорится об иностранных государствах, и именно этих. Если уж автор хочет говорить о «соседях»—тогда нужно говорить и о

Румынии, и о Турции, и о Персии. Действтельно, сейчас Польша и Финляндия для нас более «иностранные государства», нежели, например, Германия. В тот момент, когда пишутся эти строки, Берлин—столица страны, воевавшей с нами в 1914 году,—менее «заграница» для русского, чем Варшава или Гельсингфорс. И с трудом представляешь себе те времена, когда Варшава была первым «русским» городом для возвращающегося из-за границы россиянина, а в ином гельсингфорском магазине этот россиянин, после безуспешных попыток объясниться на ломаном немецком языке, слышал из уст изумленной этими лингвистическими потугами продавщицы вопрос: «а вы по-русски не говорите?»

Но как ни обособились от России эти две бывшие части «российской империи» за последние 5 лет—Польша даже за последние 8 лет,—все же в революции 1905 года обе они занимают определенное место. Ни без Польши, ни без Финляндии ее нельзя себе представить, хотя, как польскую или финляндскую революции нельзя объяснить из русской, так и наоборот — для объяснения русской Польша и Финляндия многого не дадут.

Польское революционное движение, как движение рабочее, долго считалось старше русского—пока оставались в тени наши политические организации 1870 годов (южно-русский и северно-русский «рабочие союзы»), польская партия «Пролетариат» (1880-е годы) казалась предшественницей русской социал-демократии. Теперь мы знаем, что оба движения ровесники: но развивалось польское рабочее движение, благодаря более европейскому типу польской промышленности и близости к движению западно-европейскому, быстрее русского. Эта большая быстрота развития хорошо сказалась в таком, например, факте: 1-ое мая 1891 года варшавские рабочие отметили уличными манифестациями, тогда как у петербургских хватило только сил на весьма конспиративное собрание в сотню человек. В то время, как в Петербурге, в начале 1905 года, великий князь Владимир ружейными залпами загонял в революцию рабочих, шедших с челобитной к царю, Варшава была уже охвачена ярким политическим движением, и на расстрел 9 января варшавский пролетариат ответил дружной забастовкой и уличными манифе-

стациями, которые кончились расстрелом, уступавшим только петербургскому. Нигде в остальной России ничего подобного еще не было. До октября 1905 года Варшава четыре раза видела всеобщую забастовку—и всякий раз волны революционного движения поднимались так высоко, что царская администрация справлялась с ним только при помощи открытой силы.

К сожалению, с этой стороны именно в Польше у царской администрации были большие преимущества. Как пограничная область, Польша была наполнена войсками. При этом царское правительство очень остерегалось пополнять их новобранцами из местного населения. Новобранцев-поляков посылали служить куда угодно—в Сибирь, на Кавказ, но только в Польше не оставляли; офицеры-поляки тоже не имели права служить у себя на родине. Стоявшие в Польше русские полки пополнялись великороссами, украинцами, татарами, много было казаков, а гарнизон собственно Варшавы, по своему социальному составу, был очень близок к петербургскому: в Варшаве стояла часть царской гвардии. Движения, возникавшие в войсках и здесь, обыкновенно, не были связаны с местными революционными организациями и оставались совершенно чужды польской революции.

Последняя, по всей исторической обстановке, неизбежно должна была носить, и носила действительно, отпечаток, резко выделявший ее из русского революционного движения: в Польше для всех мелкобуржуазных революционных групп, и для значительной доли пролетариата, на первом месте стояли национальные лозунги, прежде всего лозунги освобождения Польши от русского господства. И в Польше была интернационалистическая рабочая организация «Социал-демократия Польши и Литвы» (в сокращении П. С.-Д.), но влияние на рабочих у нее оспаривала «польская партия социалистическая» (сокращенно П. П. С.)—а среди мелкой буржуазии последняя господствовала безраздельно. Для «пепеэсовцев», фактических создателей теперешней буржуазной Польши, изгнание «москалей» стояло на первом плане. Их влияние было тем серьезнее, что Польша, в отличие от России, имела мощный слой городской мелкой буржуазии, на котором держалось восстание 1863 года и который своей

идеологией заражал и близкие к нему слои польских рабочих. Когда революция потерпела неудачу, национализм был последним, что осталось от нее у польского мещанина— и он откачнулся в сторону своеобразного польского «октябризма», партии «народовых демократов» (в просторечии «эндеков»), у которых сочеталась лютая ненависть к социализму с лозунгом независимости Польши—и с антисемитизмом [1]).

Внешняя обстановка, среди которой приходилось бороться польским революционным партиям, была несравненно труднее русской. Польша почти не выходила из «военного положения». Казни без суда, которые центральная Россия видела только в декабре 1905 года, здесь были обычным явлением, и варшавский генерал-губернатор доказывал даже, что он имеет на это «право». Тот же генерал-губернатор, когда возникал вопрос о снятии военного положения, заявлял, что тогда ему ничего не остается, как подать в отставку—так он к этому «положению» привык. Варшавская охранка по части пыток славилась на всю «империю»—первое место у нее оспаривать могла только рижская.

При большой политической сознательности движения все это должно было приводить к крайнему обострению его формы. Несомненно, что будь в Польше внешние условия 1863 года (когда Пруссия считалась надежнейшим союзником и прусская граница почти не охранялась), движение вылилось бы там в форму настоящего вооруженного восстания. Но со времени разрыва с Германией, в конце 1880-х годов, в Польше стояло 400.000 русских солдат, и они были рассеяны по всей стране в таком изобилии, что попытка образовать «банды» была бы подавлена в самом зародыше. Не находившая себе воплощения энергия вооруженного восстания, накопляясь в рабочих массах, расплылась в *террор*—по части террористических покушений Польша далеко превосходила Россию, где, однако, в течение 1905 года они сделались ежедневным явлением [2]). Но террор и здесь, как повсю-

---

[1]) Более подробно о внутренних польских отношениях нам придется говорить в связи с политикой Столыпина и империалистской войной.

[2]) Только за *апрель* и *май* этого года в России было 116 покушений на разных чинов администрации, причем из них 42 человека были убиты, а 62 ранены.

ду, сам по себе никаких результатов дать не мог—он только мог увеличить панику начальства, создававшуюся массовым движением. При неудаче последнего начальство ободрялось, и террористические покушения, при всей своей частоте все же не очень разрежившие его ряды (после смерти Плеве от эсеровской бомбы ни один министр внутренних дел за все время революции не стал жертвою покушения, попытка убить московского Дубасова кончилась неудачей—он был только ранен, а за покушение на него заплатило жизнью несколько террористов,—устроитель 9-го января вел. князь Владимир Романов не получил и царапины, попытка взорвать Столыпина стоила жизни многим, но не ему, и т. д., и т. д.), лишь давали нравственное оправдание совершавшимся им жестокостям. «С нами не церемонятся, чего же мы будем церемониться». В Польше не могло быть иначе, чем в России: польский террор давал выход накопившемуся чувству мести, с одной стороны, оправдание совершавшимся жестокостям—с другой стороны, но революции он вперед не двигал и двигать не мог. Движение затихало здесь, по мере того, как оно затихало в самой России, и под конец «эндеки» дошли до совершенно нелепой надежды—получить хотя бы автономию Польши из рук Николая. Мы увидим впоследствии, что на этой почве последний сумел развести даже некоторую демагогию.

Для русской революции польское движение, однако же, не прошло бесследно. Во-первых, еще до 1905 г., в подпольный период движения (и это возобновилось после 1907 г., когда движение должно было опять уйти в подполье), Польша служила великолепным мостом между заграничными эмигрантскими центрами революции и организациями, работавшими внутри России. Через Польшу вели кратчайшие пути сообщения между Россией и Западной Европой. Будь в Польше «тишь и гладь», русской полиции ничего бы не стоило следить за этими путями. Но в Польше русский революционер был отовсюду окружен такой дружественной, сочувственной атмосферой, он так легко находил там возможность перебраться за границу или из-за границы в Россию, перевезти транспорт литературы и т. п., что польское движение оказывало русскому неоценимую товарищескую услу-

гу. С другой стороны, польское движение, быстрее созревавшее, теснее связанное с Западной Европой, давало выдержанных революционеров-марксистов, игравших роль и в международном рабочем движении—но через Польшу оказывавшихся тесно связанными и с Россией. Достаточно назвать Розу Люксембург, воспитанницу одной из варшавских гимназий, говорившую по-русски лучше иного русского. Позже этого рода связь польского и русского движений еще больше распространилась, и Россия получила от Польши ряд выдающихся революционеров: товарищей Дзержинского, Радека и немало других.

Революционное движение в Финляндии имело с польским то общее, что оно было тоже резко заострено в сторону национальных лозунгов—и финляндцы [1]), в своей мелко-буржуазной массе (а она здесь гуще и сильнее польской), в первую голову боролись против самодержавия за национальную независимость. Им это было легче, чем полякам, ибо некоторые остатки этой независимости у них еще имелись налицо. Присоединяя Финляндию в 1809 г., Александр I уже готовился к войне с Наполеоном (1812 г.) и более всего хлопотал о том, чтобы прикрыть тыл Петербурга и обеспечить себе беспрепятственные сношения с Англией через Балтийское море и Швецию. Для всего этого важно было иметь Финляндию на своей стороне, почему Александр, чтобы «приручить» финляндцев, и оставил за ними политическую автономию. В Финляндии было нечто в роде конституции, хотя, правда, очень устаревшего, средневекового типа: был сословный сейм. В судах, в местном управлении, в школе, в церкви господствовали местные языки, сначала один шведский, официальный язык Финляндии до завоевания ее русскими, потом русское правительство, не без демагогических целей (разделяй и властвуй!), дало право гражданства и финскому—языку подавляющего большинства сельского населения. Наконец, у Финляндии фактически было и свое войско. Правда, оно не

---

[1]) Этот термин приходится употреблять, ибо финны живут не в одной Финляндии—а в Финляндии, кроме финнов, есть шведы на юге и западе и лопари на севере.

составляло особой армии с особым военным управлением, но русские полки, стоявшие в Финляндии, пополнялись из местных уроженцев, и командный состав их был туземный (преимущественно шведский). Вне Финляндии финляндцы не служили.

С этого конца и повел на них наступление Николай II, подталкиваемый своим военным министром Куропаткиным. На каких-то маневрах обнаружилось, что финляндские солдаты не понимают русской команды. Девяносто лет так было, Россия вела в это время войны, в которых участвовали и финляндцы (крымскую, например; в 1877 г. в Болгарию тоже ходил финский гвардейский батальон), и никто от этого беды не видал. Но тут сообразили, что это ужасно опасно в случае войны. И вот в 1899 г. финляндцев огорошили законом, согласно которому они должны были отбывать воинскую повинность, наравне со всеми подданными царя, в России. Можно себе представить, что значило для финского крестьянина, не понимавшего ни слова по-русски, очутиться в русской казарме где-нибудь в Туле или в Саратове. Не говоря уже о громадном принципиальном значении закона,— которому финляндцы, не обинуясь, придавали значение «государственного переворота»,—им уничтожался коренной признак политической автономии.

Результат закона был тот, что ни один финляндец к отбыванию воинской повинности в следующем году не явился. Началось знаменитое «пассивное сопротивление». В борьбе с ним царское правительство постепенно сломало все остатки автономии, не решившись только ввести русского языка в школе и суде (на почте и на железной дороге все обязаны были понимать по-русски), словом, финляндцам оставляли пока-что только культурную автономию, но российские националисты давали понять, что и это только «пока», что окончательное обрусение Финляндии только вопрос времени; в частности определенно выдвигался проект непосредственного присоединения к «империи» Выборгской губернии, ближайшей к Петербургу.

Борьба,—начатая совершенно зря, с точки зрения интересов царизма, ибо финляндцы до тех пор были примерными «верноподданными»,—ожесточалась; от «пассивного» сопроти-

вления логика вела к «активному». В июне 1904 года был убит посланный проводить новую политику финляндский генерал-губернатор Бобриков.

Но эта форма вооруженной борьбы, террор, в Финляндии не привилась: кроме убийства Бобрикова, здесь за всю революцию было совершено лишь одно террористическое покушение. В связи с ростом финляндской промышленности здесь быстро рос пролетариат (сплошь финский по языку), и развивалось рабочее движение. В 1903 году образовалась финская социал-демократическая партия. Авангардом революционного движения стала именно она, а не шведско-финляндские «активисты», главным подвигом которых осталось убийство Бобрикова. Рабочее движение здесь, как и в Польше, не осталось на экономической стадии, а быстро перешло в политическую, и уже в октябре 1905 года здесь оказалось возможно то, чего не удалось осуществить в самой России в декабре,—массовое вооруженное восстание.

В Финляндии были для него исключительно благоприятные условия. В лесистой Финляндии всякий крестьянин—охотник и отлично умеет владеть ружьем; во время завоевания финские партизаны были чуть ли не опаснее для русских, чем шведская армия. Огромная морская граница, стеречь которую, как следует, трудно было бы флоту и получше тогдашнего русского, чрезвычайно облегчила контрабандный ввоз оружия. Несколько пароходов занимались этим специально, и русским таможенным крейсерам редко удавалось их поймать. В противоположность Польше, русских сухопутных войск в Финляндии было очень мало,—ближайший сосед, Швеция, давно потерял значение серьезного военного противника, и тратить войска на оборону от него не стоило. А флот, для которого столица Финляндии, Гельсингфорс, была одной из главных стоянок, был так настроен, что скорее можно было опасаться, что он примкнет к восстанию, нежели надеяться, что он его подавит. Наконец, последнее условие: финский язык, продолжавший господствовать в обиходе масс, был непроницаемой завесой, отделявшей русского жандарма от объекта его наблюдения в Финляндии,—по-шведски он еще кое-как мог разобраться, но по-фински ему можно было крикнуть под нос «долой самодержавие!», и он только хлопал бы глазами.

Благодаря всем этим условиям, финнам удалось сорганизоваться и вооружиться так, как это не имело места нигде на всем протяжении «империи». И когда присланный на место Бобрикова новый генерал-губернатор князь Оболенский (тот самый, что так энергично сек полтавских и харьковских крестьян в 1902 г.) очутился перед сплошной массой вооруженных рабочих и крестьян, ему ничего не оставалось, как капитулировать. По его настоянию, Николай в октябре 1905 года подписал указ, по которому не только восстановлялась финляндская политическая автономия (кроме, однако, армии!), но и средневековый сейм был заменен собранием, избранным на основании русской «четыреххвостки». Армия не была восстановлена, но пролетариат остался под оружием, образовав впервые в истории русского революционного движения красную гвардию. Эта организация продолжала держаться до июля 1906 года, когда она была разбита, в связи с подавлением свеаборгского восстания, при участии белой гвардии, организованной шведской буржуазией Гельсингфорса. Оба эти названия идут от той поры.

Восстановленная автономия продержалась еще дольше: ее удалось сломить Николаю фактически только к 1909 г. (частичные нарушения начались уже с 1907 г.). Эта автономия и теперь сыграла роль незаменимого тылового прикрытия, но уже для русской революции. На финляндской территории, начинавшейся в 50 минутах езды от Питера, беспрепятственно происходило все, что было «строжайше запрещено» в «империи»: съезды профессионально-политических союзов, конференции революционных партий, заседания революционных комитетов, печатание революционной литературы и т. д., и т. д. Только в конце 1907 года правительство Столыпина решилось посягнуть на эту базу русской революции, и только с 1909 года автономия финляндского народа перестала давать убежище русским революционерам. А охранялась автономия фактически только винтовками финских рабочих и крестьян. Так прочны оказывались результаты вооруженного восстания там, где его удалось организовать, хотя бы на тесном пространстве одного из углов романовской «империи».

Польская и финляндская революции, как видим, не были

органически, тесною внутреннею связью связаны с русской, если не считать того, что руководящую роль в обеих играл пролетариат, и что пролетарское движение всего мира объединено тесною связью. Но, как буржуазные революции, польская и финляндская могли быть обращены даже против русской, что и случилось в наши дни. Связь их с движением центральной России была больше внешняя. Революция разбудила все ненависти против «Романовых»,— рядом с ненавистью к русскому царю и ненависть к «царю польскому» и к «великому князю финляндскому», заслуженные не менее.

С Кавказом мы попадаем в русло революционного течения, уже гораздо более органически связанного с русскою революцией. Прежде всего, на Кавказе, среди природы, всего менее похожей на русскую и даже вообще на европейскую, вырос один из крупнейших центров общерусского пролетарского движения, сыгравший в нем роль, крупнее которой мы, пожалуй, не найдем в самой России, вне Питера и центрального промышленного района да Урала,—Баку. Вокруг первых, открытых в пределах «российской империи», нефтяных приисков вырос огромный город с интернациональным рабочим населением, где были представлены все народности Кавказа, но где как-раз наиболее квалифицированный слой был общерусским. Баку принял большое участие в южной всеобщей забастовке 1903 года. Так как обещанные тогда предпринимателями уступки не были осуществлены, стачка возобновилась в декабре 1904 года. Новые надувательства предпринимателей вызывали новые взрывы, кончившиеся уже упоминавшимся выше грандиозным погромом и пожаром августа 1905 года; отражение его на внутреннем русском движении нам уже известно.

Через Баку, где, повторяю, было представлено в различных образчиках население всего Кавказа, последний был, таким образом, связан с общерусским пролетарским движением. Вот отчего, когда говорят о кавказской революции, то имеют в виду обыкновенно не Баку, а страну, на первый взгляд гораздо более отрезанную от остальной России всем своим прошлым, чем даже Польша или Финляндия, и, тем не менее, связавшуюся с русской революцией, пожалуй,

теснее, чем они. Этой страной была Грузия, точнее даже ее западная часть, небольшой уголок, население которого мерялось даже не миллионами, а лишь сотнями тысяч, Гурия, давшая русской революции два образчика: большевикам—иллюстрацию к лозунгу вооруженного восстания, меньшевикам—образчик их «революционного самоуправления».

Грузия, страна с чрезвычайно старой культурой (грузинская история начинается со времен Александра Македонского, т.-е. за тысячу слишним лет до начала первых сведений о России), имела несчастье находиться на перекрестке бойких торговых дорог, от Черного моря к Каспийскому и из Европы в Азию. По этой причине ее история—история постоянных нашествий и завоеваний. После македонского завоевателя сюда приходили и римляне, и персы, и византийцы, и турки, и опять персы. Две последние разновидности завоевателей призвели опустошения особенно сильные: персы в конце XVIII в. оставили в Тифлисе только два дома, все остальное было выжжено дотла. После этого России уже не пришлось завоевывать Грузию,—царские войска ее просто заняли (в 1801 г.), грузины были слишком ослаблены, чтобы оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление. Царское правительство уверяло, что оно заняло своими войсками Грузию для ее «защиты». «Защитники», конечно, не имели никакого понятия о грузинском прошлом, о грузинской культуре. Грузия управлялась, как одна из русских губерний, притом губерния, состоящая на военном положении. Одно лишь туземное учреждение оказалось вполне понятно русским генералам из помещиков: в Грузии сохранились крупные остатки феодализма, было многочисленное дворянство и крепостное право. Грузинских дворян русские генералы соглашались считать за людей, хотя и второго сорта: многочисленное грузинское помещичье сословие, по составу весьма похожее на польскую шляхту,—немного магнатов, получивших русский княжеский титул, и масса мелкопоместных, владельцев десятков десятин, — сделалось аппаратом русского управления, аппаратом, при помощи которого русское начальство, не знавшее грузинского языка, могло «наводить порядок» в Грузии. Магнаты становились русскими генералами и губернаторами, или вице-губернаторами при рус-

ских, а мелкопоместные довольствовались должностями приставов и даже урядников.

В 1864 году крепостное право было отменено и в Грузии, но грузинские дворяне при этом широчайшим образом использовали и свое положение в крае, и полное невежество русского центра насчет грузинских порядков. Нигде «освобождение» не заслуживало больших ковычек, чем здесь. Некоторые русские авторы уверяли даже, что в Грузии вообще была не отмена крепостного права, а лишь некоторое его смягчение, и они были не так далеки от истины, поскольку на грузинских крестьянах осталась лежать масса средневековых повинностей. Земли они получили невероятно мало,— в среднем на двор не больше полуторы десятины. В Тифлисской губернии на миллион с четвертью десятин, оставшихся у дворян, крестьяне получили менее ³/₄ миллиона десятин. А доход по «уставным грамотам» при «освобождении» распределился так: в Тифлисской губернии на долю помещика, в виде разных поборов, с десятины приходилось 13 р. 50 к. золотом, а на долю крестьянина 8 р. 50 к.; в Кутаисской (две эти губернии вместе и составляли Грузию) на долю помещика приходилось 16 р. 60 к., а крестьянина—13 р. 30 к. Многолюдный разряд крестьян-«переселенцев» (хизан) совсем не получил земли в собственность, и помещик мог их прогнать, когда вздумается.

Совершенно понятно, что поставленное в такие условия крестьянство могло пропитаться только о т х о ж и м и п р о м ы с л а м и. «Громадное большинство гурийского крестьянства—не самостоятельные хозяева, это скорее полупролетарии или даже настоящие пролетарии; их земледельческое хозяйство при таких земельных отношениях, какие сложились после уничтожения крепостного права, в самом лучшем случае дает возможность только лишь не умереть с голода.

Такие селения, как Хидистави, Амаглеба, Суреби, Чохатаури и пр., отсылают большую часть своих рабочих рук в промышленные центры Кавказа, главным образом в Батум, Поти, Новороссийск. Гурийцы составляют значительную часть промышленных рабочих по всему побережью Черного моря; много их идет и на бакинские промысла,

а также в Тифлис и другие города. Нужда разбросала их по всей России и загнала даже на восток Азии, где их насчитается несколько десятков тысяч душ» [1]). О размерах этого отхода дадут понятие несколько цифр: из одного гурийского сельского общества на 520 «дымов» (дворов) ухсдило на заработки 322 человека, в другом с 350 «дымов»—266, в третьем с 473—300, и т. д. [2]).

Соседний Батум был переполнен гурийскими рабочими, и большая батумская забастовка февраля 1902 года, кончившаяся расстрелом (19 рабочих было убито), дала первый толчок революционному движению в Гурии. Крестьяне и раньше боролись с помещиками обычными деревенскими средствами: «красным петухом», убийством скота, потравами, порубками. Высланные из Батума «на родину» рабочие внесли сюда смысл и некоторую организацию (о влиянии именно рабочих мы еще будем иметь случай привести интересные «показания очевидца»). Уже в апреле 1903 года в гурийских селах устраивались сотенные манифестации крестьян под красными знаменами и с социалдемократическими лозунгами. В январе следующего года гурийская организация формально вошла в состав партии. Политические митинги настолько вошли в обычай, что разгон полицией одного из них, в апреле 1904 года, вызвал всеобщее возмущение, как нарушение некоторого завоеванного уже права. Похороны убитых при этом случае крестьян превратились в грандиозную манифестацию. А месяц спустя гурийской полиции пришлось иметь дело с событием, не совсем обыкновенным в России: с крестьянской маевкой. В декабре этого года (напомним, что дело было в разгар русско-японской войны) Гурия уже не давала новобранцев и не платила налогов. 9 января 1905 года было отмечено бурными митингами и манифестациями.

18 февраля того же года Гурия была объявлена на военном положении. Одновременно, однако же, в Гурию был отправлен губернаторский чиновник для расследования «пре-

---

1) Каландадзе и Мхеидзе, „Очерки революционного движения в Гурии".

2) Шахназарян, „Крестьянское движение в Грузии".

тензий» крестьян. Чиновник, конечно, ни до чего с крестьянами не договорился,—в качестве крестьянских требований он получил програму-минимум Р. С. Д. Р. П. Чиновник уехал, а крестьяне начали осуществлять програму «явочным порядком». Были последовательно сожжены все «сельские управления» (только за 10 дней, с 1-го по 11 марта 1905 г., их сгорело 16), выгнаны или истреблены пристава и урядники. Помещики подались и начали заключать с крестьянами договоры, по которым крестьянские платежи определялись в $^1/_{10}$ дохода с земли,—помещики рады были, что крестьяне хоть вообще соглашались платить... Попытки подавить движение при помощи казаков, при поголовном, хотя и плохом, вооружении гурийцев, не давали никаких результатов. Двинули пехоту и артиллерию. Но на Кавказе не была принята та мера предосторожности, которую царское правительство приняло в Польше: в стоявших на Кавказе полках было много местных уроженцев. Войска, долго стоявшие на границах Гурии,—наступление их отчасти задерживали сами помещики, опасавшиеся, что их вырежут,—оказались распропагандированными, и в июле начальство, опасаясь уже солдатского бунта, отвело их за границы Гурии. Последняя фактически оказалась в руках восставшего населения

Порядки, которые теперь здесь установились, лучше всего описать словами совершенно беспристрастного свидетеля, буржуазного профессора Н. Я. Марра, которого некоторые кавказские товарищи обвиняли даже в агитации против социал-демократов. Тем ценнее то, что он рассказывает,—а вдобавок Марр сам родился в Гурии и превосходно знает ее язык и весь быт. Так вот что он говорит об этих местах, каковы они были в августе 1905 года. «В селах идет интенсивная общественная жизнь. Собрание следует за собранием, и удивляешься, как крестьяне, обремененные полевыми работами, поспевают всюду, принимают в прениях живое участие и высиживают целые часы, иногда дни, на заседаниях. Сегодня суд, завтра обсуждение принципиальных общественных вопросов с речью знаменитого странствующего оратора, послезавтра решение местных дел: школьного, дорожного, земельного и т. д., и т. д.

Повторяю, на месте властей старого режима нет, а где они еще имеются, то бездействуют и стараются быть незамеченными, образуют своего рода тайные сообщества. Поэтому местные жители в праве понять превратно, когда в новейшем воззвании наместника провозглашается своевременным прекратить существование тайных сообществ и организаций. В Гурии сейчас под тайными обществами подразумевают полицию, общество чиновников и т. п. Гурия совершенно открыто разделена на районы, каждый в ведении особого лица. Районному начальнику, которого гурийцы называют просто «районом», подчинены «представители» (цармомадеэнэли). В ведении каждого представителя—три селения. Во главе селения—сотский (асис-тави, «глава ста»), которому подчинены десятские (атис-тави «глава десяти»). Десятский стоит во главе кружка (тцрэ) из десяти, сам он—десятый. Он сообщает устно каждому члену кружка о предстоящем заседании, собирает членский взнос своего кружка, с каждого члена—10 к. в месяц (раньше было 20 к.), докладывает обществу, т.-е. жителям данного села или нескольких сел, смотря по вопросу, на собрании о жалобе кого-либо из своего кружка. Бумажное делопроизводство совершенно устранено. Все дела ведутся устно. Суд принимает всякие жалобы и решает дела, не взыскивая ни копейки. Решение приводится в исполнение беспрекословно, при неисполнении общество само выступает против ослушника»... «На собрания являются женщины наравне с мужчинами. Собрания происходят в зависимости от погоды, под открытым небом или в помещении, например, в школе или церкви Запоздавших торопят звоном в церковный колокол. Интерес представляют собрания, на которых обсуждаются принципиальные, общественные и даже научные вопросы. И на такие собрания собираются все поселяне и поселянки, хотя активно могут участвовать в них лишь наиболее развитые,—обыкновенно рабочие из города, занимавшиеся самообразованием, и местные интеллигенты. Среди развитых рабочих в деревне—в высшей степени симпатичные типы, жаждущие знания и высоко ставящие науку, независимо от ее прикладного, утилитарного значения. На мое удивление и замечание, что такой взгляд редко встре-

чается ъ интеллигенции, что наука ценится и в образованном обществе по степени материальной полезности, один из таких рабочих мне заметил, что иного отношения от современных интеллигентов и нельзя ожидать, так как современные интеллигенты происходят из буржуазии или носители буржуазного миросозерцания: естественно, что они и на науку смотрят с буржуазной, утилитарной точки зрения»... «Надо, однако, отметить, что некоторые деятели чувствуют если не этот существенный пробел духовного порядка, то недостаток образования в народе, доходящий порою до крайнего невежества. И эти некоторые, к моему удивлению, не из интеллигенции, а из рабочего сословия: развитые рабочие с особенной горечью оплакивают этот пробел, ближе стоя к народу и лучше оценивая возможные последствия такого пробела при упрочении прогрессивного дела. «Наша беда в том ,—говорил мне один из таких развитых рабочих,— что свобода нас застала врасплох: она пришла к нам раньше, чем образование». «И тем страстнее занимаются они, эти рабочие, самообразованием, составляя с этой целью кружки и товарищества,—занимаются даже сейчас, в боевой момент»... «Умственный свой кругозор гурийцы стараются расширить слушанием принципиальных дебатов на различных собраниях, представляющих зачатки своего рода народных университетов. На одном из таких собраний гастролировал известный в околотке оратор Хтис-Цкалоба, действительно выдававшийся ясностью изложения и знанием дела. Шел спор двух фракций социал-демократической партии, так-называемых «большинства» и «меньшинства». Хтис-Цкалоба был оратором «большинства», но единственным оратором. Против него выступил ряд противников. Прения напоминали университетский диспут диссертанта, специально проработавшего свою тему, в схватке с многочисленными принципиальными оппонентами из публики. Оппоненты Хтис-Цкалобы старались привлечь на свою сторону неподготовленную и мало понимающую публику громкими, заискивающими фразами об интересующих ее общественных вопросах. Наш оратор, однако, не терял спокойствия и шаг за шагом старался разбить своих оппонентов. Многие из присутствующих зевали, как и у нас на

лекциях и диспутах, но многие слушали, затаив дыхание. Темою в значительной степени являлся вопрос о роли рабочих и Маркса в выработке научного социализма. Об общем интересе народа можно судить по тому, что прения с двух часов пополудни длились до часу ночи, и большинство собрания досидело до конца» [1]).

Из дальнейшего рассказа об одной демонстрации, видно, что начальство в Гурии собственно оставалось, но играло совершенно своеобразную роль: «рассказывали, что пристав очень боялся, как бы его не заставили нести красное знамя во главе процессии».

Это освобождение собственными силами из-под царского ига маленькой страны, в сотню с небольшим тысяч жителей, исполнило величайшим энтузиазмом всех наших товарищей летом и осенью 1905 года. Меньшевикам казалось, что здесь осуществился их идеал «революционного самоуправления»: в Тифлисе сидит царский наместник, а в Гурии, под носом у Тифлиса, царствует полная свобода! И свобода, завоеванная оружием, прибавляли большевики: вот вам пример возможности в России успешного вооруженного восстания.

И те, и другие, несомненно, торопились видеть осуществление своего идеала. Прежде всего, Гурия, изрезанная горами, покрытая лесами, по природным условиям не шла в сравнение с центральной Россией: в Гурию без всяких баррикад было потруднее проникнуть, чем в любую забаррикадированную московскую улицу. А во-вторых, только издали могло казаться, что гурийская самостоятельность взята с бою против регулярной военной силы. Правда, при каждой «ликвидации» сельского управления разговаривали винтовки и револьверы. Но на противоположной стороне были стражники или казаки, маленькими отрядами; в самом большом бою, при Носакерали (в октябре 1905 г.), действовала одна сотня пластунов (пеших казаков) против 30 хорошо вооруженных гурийских дружинников и нескольких сотен коекак вооруженных крестьян. В сущности, это было не крупнее тех сражений, какие происходили в декабре того же

---

1) Проф. Н. Марр, „Из гурийских наблюдений и впечатлений".

года на улицах Москвы, где, к слову сказать, тоже немалое участие принимала грузинская дружина. Крупные же силы кавказский наместник не решался двинуть,—мы знаем, почему. Когда ему прислали из России «свежие», нераспропагандированные войска, он—в декабре—перешел в наступление и без больших потерь со своей стороны водворил «порядок», шествие которого в Гурии отмечалось горящими селениями и трупами застреленных людей. И плохим утешением для гурийцев было то, что командовавший «усмирением» вождь царских палачей генерал Алиханов был впоследствии убит бомбой террориста. В Гурии в это время уже господствовало спокойствие кладбища.

Гурийские события поэтому не могли служить примером ни в пользу возможности вооруженного восстания (этот пример дала, на противоположном конце «империи», Финляндия), ни в пользу революционного самоуправления. Их значение в том, что бросилось в глаза даже буржуазному профессору: это был на-редкость чистый образчик крестьянского движения, руководимого пролетариатом.

Была, однако, еще одна окраина России, где эта связь пролетарского и крестьянского движения была почти столь же тесна: этой окраиной была Латвия.

Латвия сделалась вотчиной «Романовых» гораздо раньше, чем Польша, Финляндия или Грузия. Первое вторжение в Латвию царских войск относится еще к до-романовскому времени, к XVI веку («ливонская война»). Второй Романов (подлинный, без кавычек), Алексей, в середине XVII века пытался взять Ригу—безуспешно. В начале XVIII века, в самый момент образования «российской империи», Латвия вместе с Эстонией вошли в ее состав, и отделились только с разрушением «империи», в XX веке. Господство «Романовых» было здесь тем прочнее, что оно нашло подготовленную почву: обе страны уже издавна не были свободны, их еще с XIII века захватили немецкие «крестоносцы», сделавшиеся господствующим классом, и новые завоеватели могли опереться на старых. Немецкое дворянство Латвии и Эстонии превратилось в еще более преданных «романовских» слуг, чем грузинское: последние цари считали его даже на-

дежнее русского, и придворные, а также высшие полицейские должности при них были переполнены людьми из «остзейского» [1]) дворянства. Одним из ближайших людей к последнему царю был барон Фредерикс, министр двора,—человек совершенно неспособный, но совершенно «свой» в царской семье.

Остзейские дворяне были учителями русских во многих хороших делах: от них перешли в центральную Россию, например, розги—на место московских «батогов», т.-е. палок. От них же русские помещики научились, насколько выгоднее перекуривать весь свой хлеб в водку, чем отправлять его на рынок в виде зерна или муки: «одна лошадь свезет на столько же вина, сколько шесть лошадей хлеба». Они первые показали и пример, как нужно «освобождать» крестьян: при «освобождении» крепостных в Латвии и в Эстонии, в 1819 году, у них была отобрана вся земля, так что с тех пор эстонские или латвийские крестьяне могли быть только арендаторами барской земли, либо батраками на ней.

Это крестьянство в глазах немцев-баронов было прямо низшей расой. Потомки «рыцарей», завоевавших край в средние века, не могли даже приучить себя к мысли, что латыш или эст—тоже человек. В крепостное время отношения были примерно такие же, как в Америке между плантаторами-белыми и рабами-неграми. И, как и там, на помощь плантатору являлся поп (в данном случае поп сначала католический, до XVI века, потом лютеранский) и наставлял рабов кротости и смирению. При русских царях с ним стал соперничать поп православный. Крестьяне, увидав драку двух попов, обрадовались-было и стали надеяться на улучшение своей участи; в частности латыши начали переходить в православие. Но скоро они должны были убедиться, что, как бы ни дрались между собою попы, помещику никакая конкуренция не угрожает, и что если даже совсем выгонят «пастора», «барон» (так звали в тех

---

[1]) „Остзее“,—„восточное море“ немцы называют Балтийское море, потому что оно лежит на восток от Германии; отсюда Эстония и Латвия—„остзейские провинции“.

краях «барина») все равно останется. После этого крестьяне к православию охладели. «Обрусение» свелось тогда, как уже упоминалось, к гонению на местные языки [1]) и наводнению страны русскими чиновниками, разговаривавшими с населением через переводчика.

Это происходило в стране едва ли не самого европейского типа во всей империи: в то время, как % городского населения в Европейской России конца XIX века в среднем не превышал 13, в Латвии он равнялся 31. Здесь почти треть населения были горожане. А подавляющее большинство сельчан составлял пролетариат. На 3 миллиона населения края было не более 600.000 крестьян-арендаторов (считая с семьями); а чистых пролетариев было не менее 1.300.000, остальные были батраки, даже не с наделом, а только с усадьбой. Помещичье землевладение носило столь буржуазный характер, как нигде в России: имения «баронов» были громадными сельскохозяйственными предприятиями, занимавшими иногда сотни рабочих. Соответственно с этим классовые противоречия в деревне были чрезвычайно отчетливы: никакая деревня, даже гурийская, не была так подготовлена всем своим экономическим развитием к социал-демократической пропаганде, как латвийская. Вдобавок эта окраина обладала двумя крупными городскими центрами, будущими столицами латвийской и эстонской республик. Из них Рига принадлежала к числу крупнейших промышленных и пролетарских центров «империи»; Ревель был менее значителен в промышленном отношении, но и это был крупный морской порт, с большим процентом рабочего населения.

Рабочее движение здесь достигло уже очень большого развития с конца XIX века. В 1903 году возникла латышская социал-демократическая партия, почти сплошь большевистская,—меньшевики в Латвии не играли никакой роли. Уже очень скоро эта партия стала партией латышского пролетариата в целом, не только городского. Она на-

---

[1]) Их было три: немецкий, язык господствующих классов, латышский, из арийской семьи, ближайший родственник литовского, и эстонский, столь близкий к финскому, что финны и эстонцы свободно понимают друг друга.

шла своеобразную точку опоры для своей агитации. Так как «бароны» единственной духовной потребностью своих рабов считали религию,—«душу спасти» даже крестьянину нужно!—то церкви стали единственными общественными центрами деревни, где крестьяне могли собраться и поговорить. Социал-демократические агитаторы использовывали церкви или находившиеся около церквей трактиры (потому что в самой церкви пастор мешал, и были лишние «уши» дьячка, сторожа и т. под.), как клубы. Богослужение все более и более становилось удобным поводом для собрания митинга. Сплошь и рядом во время проповеди пастора поднимался из толпы человек и предлагал вместо этой дребедени его послушать. Толпа валила за ним на паперть и на площадь перед церковью, и лютеранская проповедь, на глазах ошарашенного пастора, сменялась социалистической пропагандой. Оттого рост революционного движения в Латвии сопровождался совершенно неожиданным явлением,—закрытием церквей. В разгар латвийского движения 1905 г. церкви закрывались начальством десятками.

Открытое движение началось в городах. Рига в январе 1905 года пережила почти такие же дни, как Варшава; Ревель в октябре этого года был одним из немногих городов «империи», где пролетариат на несколько дней стал полным хозяином, принудив капитулировать губернатора. Но хотя там и тут рабочие вооружались, и в Риге дошло дело даже до баррикад, вооруженное выступление наподобие финляндского или хотя бы гурийского здесь не могло иметь места по той же причине, что и в Польше: и Рига, и Ревель были военными крепостями (для Риги крепостью являлся Усть-Двинск, но он в 17 верстах), в них были сосредоточены большие военные силы, составленные из пришлого, чуждого коренному населению элемента, и привлечь его на сторону этого населения было трудно. Вот почему при всей революционности настроения латышского, в особенности, пролетариата, с надеждой на успех он мог выступить вооруженною рукою только в деревне.

Латвийская и, в несколько меньшей степени, эстонская деревни стали таким путем единственным местом в «империи», где осуществилось вооруженное восстание на широ-

ком пространстве вне крупных промышленных центров. Характерной особенностью движения был его резко выраженный классовый характер. В Москве, в Ростове, по сибирской дороге, в Гурии рабочие и крестьянские дружины дрались с царскими войсками: здесь крестьяне непосредственно воевали с помещиками и их по-военному организованной челядью. В дополнение к последней, потомок крестоносцев выхлопатывал себе обыкновенно, еще отряд драгун—и со всею этой силой вел против вооружившихся крестьян партизанскую войну. Но времена крестовых походов прошли, и крестьяне явно оказывались в XX веке сильнее «рыцарей». До 300 баронских усадеб были взяты, сожжены и разгромлены восставшими. Остзейское дворянство в ужасе бежало в соседнюю Пруссию, и Вильгельм с горечью и негодованием писал Николаю о том, как благородные баронессы должны поступать чуть не в горничные и прачки, чтобы снискать себе пропитание. Всеми своими сторонами, даже и этой, латвийское движение начинало очень напоминать, как видим, то, что в 1917 году в огромном размере повторилось по всей России.

Царское правительство, конечно, не могло остаться равнодушным к этой картине. В «остзейские» губернии были двинуты, как и в Москву, отборные гвардейские части: дело шло, ведь, о спасении преданнейших слуг царского дома. В Эстонию был командирован специальный отряд из восставших в октябре 1905 года кронштадтских матросов: несчастных людей, тогда опоенных водкой, теперь одурманивали надеждой на «прощение» в случае верной службы против своих братьев-крестьян, языка которых матросы не понимали. Во главе всей этой рати шли те же остзейские бароны в генеральской и офицерской форме,—их было сколько угодно на царской службе, а в этой экспедиции они приняли участие с особым наслаждением.

Перед крупными регулярными частями отряды латышских и эстонских крестьян, конечно, не могли держаться. Наиболее смелые бежали в леса и оттуда некоторое время вели мелкую партизанскую войну. Множество было расстреляно «на месте сопротивления». Казни без суда, в центральной России являвшиеся редким исключением, в Поль-

ше начинавшие переходить в правило, здесь были правилом без исключения. Жестокости командовавших отрядами «усмирителей» остзейских баронов вызывали негодование даже у Витте. Всего при «усмирении» погибло до десяти тысяч человек. Особенную ненависть проявили бароны по отношению к латышской социал-демократии: простая принадлежность к этой партии каралась каторгой. Суровую школу прошел латышский пролетариат зимою 1905—6 года: недаром он дал впоследствии таких выдержанных бойцов Октябрьской революции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Первая русская революция кончилась неудачей. «Вихрь покрутился, и все осталось по-старому»,—язвил один, не то право-меньшевистский, не то кадетский публицист (отличить правого меньшевика от кадета уже в те времена было очень трудно).

Так ли это было на самом деле? Действительно ли все «осталось по-старому»?

Присмотревшись к делу ближе, мы увидим, что изо всех кадетских иллюзий иллюзия цитированного нами сейчас кадето-меньшевика была самой опасной для буржуазии.

Если брать, прежде всего, самый **общий** итог первой революции, то его придется определить так: **народ не боялся больше бунтовать.** Раньше «бунт» казался чем-то страшным; кажется, подымешь руку на начальство, да оно тебя в порошок сотрет, молнией испепелит. И вот, доведенный до отчаяния, народ решился,—«поднялся бунтом». Он поплатился за это жестоко, масса его сынов была перебита, перевешана, сослана, перепорота и обесчещена. Но «всех не перебьешь!», «всех не сошлешь!» оправдалось. И рабочий класс, и крестьянство остались на своем месте, при своем деле. Земля не расселась и не поглотила их, огонь небесный не испепелил. Напротив, у народа осталось в памяти струсившее, прятавшееся по углам или лебезившее перед толпой начальство. И хотя это начальство теперь вылезло снова из углов и расхаживало гоголем, «побежденный» народ насмешливо на него поглядывал, думая про себя: «погоди время, мы тебе уже лучше покажем».

После дубасовских пушек московское простонародье,—не только пролетариат,—явно меньше боялось начальства; на-

род «обстрелялся», а на войне обстрелянный солдат стоит трех новичков. Этого не учел Протопопов, когда расставлял по крышам Петрограда свои пулеметы в феврале 1917 года. До 1905 года это, может быть, было бы действительно, после 1905 года «обстрелянный» народ этим запугать было нельзя.

Эта «привычка бунтовать» объясняет нам, почему так гладко, дружно и быстро, «как по нотам», прошла вторая революция. Хорошо спелся хор еще в 1905 году.

Итак, первый итог этого года—*изменение массовой психологии*. «Раб» превратился в «бунтовщика», и снова сделать его рабом было уже не в силах человеческих.

Но глубже этой психологии было изменение *идеологии* масс. Царизм долго прятал от народа свою подлинную сущность. Долго, и порою не без удачи, изображал он из себя попечительного отца всех своих подданных. И были наивные люди, которые в царя-отца верили. Мы помним, с какими чувствами шел петербургский пролетариат к Зимнему дворцу 9 января 1905 года. Но в схватке грудь грудью с революцией царизму не удалось удержать на лице маску. Личина слетела в пылу борьбы, и звериный лик царя хозяев и помещиков, царя эксплоататоров, стал виден самым близоруким. В начале 1905 года даже рабочая масса еще шарахалась в испуге, слыша «долой самодержавие». В конце 1906 года даже крестьяне выучились петь: «Царь-вампир из страны тянет жилы, царь-вампир пьет народную кровь». Мы увидим, что на выборах во 2-ю думу рабочие без исключения, а во многих местах и крестьяне не стеснялись подавать голоса за представителей революционных партий, о которых они отлично знали, что те идут «против царя».

Организационно в это время революция уже была разбита, урок выучили слишком поздно, но на будущее и он пригодился.

Но если крестьяне 1905—6 годами были подготовлены к тому, чтобы равнодушно встретить падение «Романовых» в 1917 году, то рабочие расстались с гораздо большим. О «монархизме» рабочих смешно было говорить в 1907 году, но смехом они встретили бы и того, кто вздумал бы их уверить, что поп Гапон «шире социал-демократов». Споры большевиков, меньшевиков и эсеров в начале 1905 года были для рус-

ского пролетария какой-то непонятной «барской блажью», только дискредитировавшей спорящих. В зависимости от талантливости того или другого агитатора, рабочий шел к «бекам», к «мекам» или к эсерам. Теперь и меки, и эсеры остались, но рабочие подобрались по слоям. Тоньше всего был эсеровский слой: на выборах по рабочей курии эсеры неизменно шли в хвосте, и хвост этот, в Москве, например, был самый коротенький. За меньшевиками шли привилегированные группы рабочих, которым слишком много приходилось жертвовать во время революции, и которые поэтому все больше чувствовали вкус к «легальности». Подавляющая масса шла за большевиками [1]).

И, раз выбрав себе партию, рабочие держались ее твердо. «Фракции» образовались перед революцией или в самом ее начале; но попытка образовать новую фракцию в большевизме в 1909 году не встретила никакой поддержки рабочей массы. Выделившаяся интеллигентская группа повисла в воздухе. Всем инстинктом рабочий класс понял, что может быть только **одна** рабочая партия, что революция может победить только при **едином** руководстве.

До чего важен был **этот** итог первой русской революции, мы можем оценить, наблюдая западно-европейское рабочее движение наших дней. На Западе теперь только в муках рождается эта единая революционная рабочая партия, которая в России сложилась уже к 1907 году. Ранняя политическая зрелость русского пролетариата была плодом именно его первого неудачного выступления. Даже и неудачные революции оказываются «локомотивами истории».

А для самой этой единой рабочей партии 1905 год был колоссальным **предметным уроком**. Большевики уже перед революцией знали, **что** надо делать: но **как** это сделается, было совершенно неясно. Казалось достаточно «провозгласить» всеобщее вооружение народа, чтобы из земли выросла армия, готовая отразить врага. После декабря 1905 г. мы оценили слова Маркса, что восстание — есть искусство;

---

[1]) На „Лондонском“ съезде партии 1907 года меньшевики имели крупное меньшинство только благодаря поддержке мелкой буржуазии западной России („Бунд“) и Кавказа. Их чисто-пролетарское представительство было ничтожно по размерам сравнительно с большевистским.

мы поняли, не только в книжке, а жизненно поняли, что у революции есть свои стратегия и тактика, не хуже стратегии и тактики международных войн, и что, не овладев этой военной наукой революции, никакого результата добиться нельзя. 1917 год показал, что урок пошел впрок, — ни одна из ошибок 1905 года не была повторена.

А своими объективными результатами неудача 1905 г. предопределила весь дальнейший ход русской истории. Поскольку в России непосредственно остатки крепостничества не играли той роли, какую они играли во Франции в 1789 году, расширение внутреннего рынка и дальнейшее развитие промышленного капитализма зависели от успеха аграрного переворота. Только переход в руки крестьян того громадного земельного фонда, который служил до сих пор средством эксплоатации этих крестьян, мог создать прочную базу для дальнейшего развития промышленленности. Неудача в этом направлении безнадежно суживала внутренний рынок и с фатальной неизбежностью заставляла капитал искать внешних. Скороспелый империализм русской буржуазии больше всего объясняется неудачным исходом первой русской революции. Никакие Дарданеллы ей не были бы нужны, если бы перед нею был такой потребитель ее товаров, как разбогатевший землею русский крестьянин при наличии «крепких» хлебных цен на мировом рынке. Мы увидим, что даже одних этих «крепких» цен оказалось достаточно для такого подъема после 1909 года, равного которому не было во всей предыдущей истории русской промышленности; что же было бы, если бы при этом еще и земельный фонд крестьянства увеличился в полтора раза?

«Вихрь» отнюдь не «покружился» на одном месте. У этого циклона было свое определенное направление. Он далеко снес влево русскую народную массу и вымел, в конце-концов, за границы России тех, кто над нею куражился в 1905 году. Никогда еще Немезида (богиня мести) не прилетала с такой быстротой, как в России XX века, точно и эта богиня обзавелась аэропланом. В другие века и в других местах люди долгими поколениями ждали возмездия за учиненное над ними насилие: у нас и преступление, и наказание свершились на глазах одного поколения.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ *).

Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	Политика царского правительства: б) внешняя.
1896	Большая стачка текстильщиков в Питере (май); питерский „союз борьбы за освобождение рабочего класса"; „московский рабочий союз".	Частичн. вспышки крестьянского движения, преимущественно на юге;		Понижение выкупных платежей (попытки подкупа крестьянства); судебная реформа в Сибири (подготовка движения на Дальний Восток). Ходынская катастрофа (май).	Конвенция с Китаем о постройке Маньчжурской дороги (май); поездка Николая в Париж.
1897	Крупные забастовки в Питере (январь) и Орехово-Зуеве; „союзы борьбы" в Киеве, Екатеринославе и Николаеве; образование еврейского рабочего союза („Бунда"; октябрь). Начало „экономизма": „Рабочая мысль". Всеобщая забастовка в Иваново-Вознесенске (дек.).		Первое выступление „легального марксизма": журнал „Новое Слово".	11 ½ часовой рабочий день (2 июня; начало политики подкупа рабочих); „правила" о сверхурочных работах (20 сент.) сводят закон почти на нет. Денежная реформа Витте—окончательное введение в России золотого обращения (указ 3 января; реформа подготовлялась с 1895 г.).	Соглашение с Австрией о балканской политике (обеспечение тыла дальневосточной авантюры); президент Фор в Петербурге—открытое провозглашение русско-французского союза.
1898	Образование Российской социал-демократической рабочей партии (март); большая забастовка и погром текстильных фабрик в Твери (октябрь). Расцвет „экономизма"; „Рабочее Дело". Движение среди металлистов юга России (забастовки на Франко-русском, Брянском и др. заводах).	Циркуляр министра внутренних дел о крестьянских волнениях (17 июля ст.ст.).	Совещания земских деятелей в Петербурге; собрания в Вольном Экономическом Обществе (выступления „легальных марксистов")		Решена постройка большого флота (ассигнов. 90 милл. р. на судостроительство, начало марта); занят Порт-Артур (27 марта); Россия созывает конференцию о всеобщем мире (август).

Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	Политика царского правительства: б) внешняя.
1899	Забастовка в Риге (началась 1 мая) и в Сормове (июль); продолжение движения на юге России (Мариуполь); участие металлистов растет. Повторные забастовки текстильщиков.	Продолжающиеся вспышки крестьянского движения. Образование первых эсеровских групп.	Всероссийская студенческая забастовка (началась в феврале, в Питере); дальнейшее развитие „легального марксизма"—журналы „Начало" и „Жизнь".	„Временные правила" об отдаче студентов в солдаты за участие в беспорядках (29 июля по инициативе Витте). Закрыто Московское юридическое общество. Изменение финляндской конституции (февраль).	Россия открывает гаагскую „мирную" конференцию (май); соглашение с Англией о разделе „сфер влияния" в Китае.
1900	Всеобщая забастовка в Харькове 1 мая; рабочие демонстрации с красными знаменами (заводские рабочие и железнодорожные мастерские). Выход первого № „Искры" (декабрь).		Волнения в Киевском университете: 183 студента сданы в солдаты.	Ограничения прав земства: закон 12 июня о предельности земского обложения; изъятие продовольственного дела из ведения земства. Закрыто Вольное Экономическое Общество.	„Боксерское" восстание в Китае (июнь). Русские войска занимают Манчжурию; 7000 китайцев утоплено в р. Амуре.
1901	Начало массовых уличных демонстраций (студенты и рабочие; первая 19 февраля в Харькове, следующие в Москве, Петербурге и Казани; все весною; осенью в Кишиневе и Екатеринославе). Празднование 1 мая в Тифлисе (3000-я демонстрация), Харькове и Петербурге (баррикады у Обуховского завода; расстрел рабочих). Борьба „Искры" с „Рабочим Делом". Собрания московских рабочих под руководством профессоров с разрешения охранки.	Все разгорающийся борьба крестьян с помещиками, особенно при помощи „красного петуха" (Воронежская губ.). Эсеровские кружки начинают сливаться в партию. Начало крестьянского движения в Гурии.	Съезд земских деятелей агрономической помощи населению (февраль).	Циркуляр мин. внутренних дел о воспрещении взаимных сношений между земствами и городскими думами по предметам, относящимся к общим правительственным распоряжениям (25 августа). Новый устав о воинской повинности в Финляндии (упразднение финляндской армии; июнь).	Свидание Николая с Вильгельмом II в Данциге: Николай сообщает своему другу, что Россия готовится к войне с Японией.

*) Все числа месяцев по старому стилю.

Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	б) внешняя.
1902	Начало „зубатовщины“: в Москве учрежден „Совет рабочих механического производства“, (14 февраля; 19—манифестация зубатовцев у памятника Александру II в Кремле). Повторение демонстраций в Москве и Киеве (в феврале). Забастовка и расстрел рабочих в Батуме (март). Празднование 1 мая в Баку, Харькове, Сормове и Саратове. Грандиозная всеобщая забастовка в Ростове (ноябрь; тысячные митинги под открытым небом). Подготовка созыва 2 съезда Р.С.Д.Р.П.: конференции в Белостоке (апрель и октябрь). Проект программы партии.	Начало массового крестьянского движения (в Полтавской и Харьковской губернии, март; „разобрано“ более 80 усадеб помещиков и крупных арендаторов). Организация эсеровской партии (центральный орган—„Революционная Россия“). Мин. внутр. дел Сипягин убит Балмашевым (апрель). Неудачное покушение на усмирителя харьковских крестьян, губернатора Оболенского („боевая организация партии соц. революционеров“; Гершуни).	Первый общеземский съезд (2 мая). За границей начинает выходить орган „левых земцев“ „Освобождение“ (июль). Студенческая демонстрация в Москве (февраль); первый всероссийский студенческий съезд (март).	„Особое совещание о нуждах сельско-хозяйственной промышленности“ (под председ. Витте; январь). Назначение министром внутренних дел Плеве (апрель); репрессии против местных комитетов „особого совещания о нуждах сельско-хозяйственной промышленности“. Разгром земской статистики.	Свидание Николая с Вильгельмом в Ревеле; Николай заявляет, что война с Японией откладывается до 1904 года.
1903	Грандиозная всеобщая забастовка на юге России (май—июль) и крах „зубатовщины“. Начало движения в Одессе (майская забастовка, устроенная местными зубатовцами); стачки в Баку (июнь), Тифлисе и Батуме (июль), Киеве (июль; расстрел рабочих), вторично в Одессе (июль). Забастовка печатников в Москве (сентябрь); возникновение (нелегально) профес. союза печатников. Второй Съезд РСДРП (Брюссель-Лондон; июль-август); утверждение партийной программы и организация партии. Раскол по организационному вопросу: „большевики“ и „меньшевики“. Центральный орган партии „Искра“ переходит в руки меньшевиков.	„Беспорядки“ в Саратовской, Ворочежской, Пензенской, Тамбовской, Киевской и Подольской губерниях; стачк. батраков и поджоги усадеб. Крестьянские волнения становятся обычным явлением. Арест Гершуни; во главе „боевой организации“ эсеров становится Азеф. Убийство „боевой организацией“ уфимского губернатора Богдановича за расстрел забастовки в Златоусте.	Образование „Союза Освобождения“ (съезд в Швейцарии, в июле). Первый съезд „земцев-конституционалистов“ (ноябрь).	Попытки погасить рабочее и крестьянское движение мелкими уступками: закон о фабричных старостах и закон о „вознаграждении предпринимателями рабочих, потерпевших от несчастных случаев“ (июнь). Отмена круговой поруки в деревне (март). Рядом с этим идут репрессивные меры: подчинение фабричной инспекции губернаторам (май), учреждение уездной полицейской стражи. Отобрание в казну имуществ армянской церкви, за поддержку национального армянского движения. В апреле — Кишиневский погром. Отставка Витте (август). Единодержавие Плеве.	Учреждение Дальневосточного наместничества (август); Мюрцштегское соглашение с Австрией о Македонии (октябрь; вторичная перестраховка тыла на случай дальневосточной войны). Переговоры с Японией по поводу Кореи; усиление влияния военной партии (Безобразов и Абаза) в Петербурге, в связи с уходом Витте. Однакоже, Николай сообщает Вильгельму (в Висбадене, в октябре), что войны и в 1904 году еще не будет, так как Россия „не готова“.
1904	Относительное затишье в рабочем движении, в связи с войной (в 1902 году общее число забастовщиков, по официальным данным, 37 тысяч, в 1903—87 тысяч, в 1904—только 25 тысяч;—минимум за все десятилетие). Огромная забастовка в Баку, в декабре. Тогда же начало движения в Петербурге (подготовка 9 января 1905 г. Гапоновское	Продолжающиеся крестьянские волнения в 10-ти губерниях. Плеве убит Сазоновым (15 июля).	Учредительный съезд „Союза Освобождения“ (январь). Парижская конференция всех оппозиционных и революционных организаций, кроме социал демокр. (сентябрь).	Разгон Тверского земства Штюрмером (январь). Крах системы Плеве после его смерти (июль), в связи с японской неудачей (август). Назначение Святополка-Мирского и „эра доверия“. Совещания под председательством Николая	Японская война. (разрыв дипломатических сношений 24 января старого стиля; в ночь с 26-го на 27 нападение японцев на русскую эскадру в Порт-Артуре; переход японцами р. Ялу 18 апреля; этим началась

Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	б) внешняя.
1904	„Собрание фабр.-заводских рабочих",—утвержденное в апреле. Борьба между большевиками и меньшевиками. С декабря выходит большевистская газета „Вперед".		2-ой съезд „Союза Освобождения" (октябрь). Съезд земских деятелей в Петербурге (6—8 ноября) Банкетная кампания.	о введении народного представительства (ноябрь-декабрь). Под влиянием Витте и Победоносцева они кончаются ничем (рескрипт 12 декабря об „административных реформах").	сухопутная война; падение Порт-Артура 20 декабря ст. ст.; другие важнейшие даты см. в тексте.
1905 Январь.	3-го—Забастовка на Путиловском заводе. 6-го—Гапон оглашает свою петицию. 9 го—Шествие рабочих к Зимнему Дворцу и расстрел. В течение января и февраля перекатная забастовка по всей России. Расстрелы в Риге и Варшаве.		Движение „просветительных обществ" (начало Московское Общество сельского хозяйства резолюцией 14-го января). Организация союза инженеров в Петербурге; следом за инженерами объединяются в союзы другие группы петербургской интеллигенции (профессора, врачи, художники, бухгалтера и т. д.).	18-го января Николай принимает в Царском Селе „депутацию" петербургских рабочих; Николай прощает им „преступление" 9-го января, и выражает уверенность в преданности ему рабочего класса. 29-го образована комиссия под председательством Шидловского для исследования причин недовольства рабочих.	12—16 января (ст. ст.) начало неудачного наступления Куропаткина, сражение при Сандепу.
Февраль.	Образовавшееся в конце предъидущего года „Бюро комитетов большинства" рассылает организациям приглашения на 3-ий партийный съезд. Большевики издают „Вперед".	Аграрные волнения; забастовочное движение сельских батраков, преимущественно на юге и юго-западе; погромы усадеб в Саратовской, Орловской и Курской губерниях.	Забастовка студенчества. Съезд земцев. Петербургские союзы интеллигенции сливаются в Союз Союзов. Союз инженеров превращается постепенно во всероссийскую организацию.	4-го февраля убит вел. кн. Сергей Романов. 18-го февраля — указ Николая о привлечении „достойнейших, доверием народа облеченных, избранных населением людей к выработке и обсуждению законодательных проектов".	11—25 февраля (ст. ст.) Мукденское сражение.
Март.	Большие забастовки в Москве. Забастовки на юго-западной жел. дороге (Киев).		Один за другим возникают другие профессионально-политические. союзы: начиная с академического (конец марта). В марте же— третий съезд „Союза Освобождения".	16 марта. Утвержден проект выработки „булыгинской" конституции (сначала в совете министров, затем в Особом совещании).	3 го марта—отставка Куропаткина; главнокомандующим назначен Линевич.
Апрель.	Образование железно-дорожного союза.		Конституируются всероссийские профессионально-политические союзы писателей, учителей, инженеров и т. д.	17 апреля. Указ о „свободе совести" (отпадение от православия перестает быть наказуемым преступлением; раскольники получают право открытого богослужения). В виде репрессии по отношению к студенчеству, отменены экзамены,—т.-е. все студенты „оставлены на 2-й год".	

Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	б) внешняя.
1905					
Май.	3-ий Съезд РСДРП. в Лондоне (без меньшевиков, которые устраивают отдельную конференцию в Женеве), резолюция о вооруженном восстании. Начало всеобщей забасточки в Иванове-Вознесенске; первый совет рабочих депутатов.	В мае возникновение всероссийского крестьян. союза.	Образован. всероссийского Союза Союзов. Земский съезд в Москве, решающий послать депутацию к Николаю.	Крестьянам „прощена" 75-миллионная недоимка (апрель).	14—15 мая Цусимское сражение. 21 мая—Вильгельм предлагает Николаю посредничество Рузвельта. 26 мая—Нота Рузвельта России и Японии о посредничестве.
Июнь.	Баррикады в Лодзи (убито более 500 человек); восстание на броненосце „Потемкин"; забастовка в Одессе; расстрел.		6-го июня—депутация Земского съезда у Николая.	Конец июня—петергофские совещания о булыгинской конституции; решение противопоставить революции „устойчивую степу консервативных крестьян".	
Июль		Начало движения сельского пролетариата в Латвии.	В июле—съезд земцев и представителей от городов, решающий „обратиться к народу".		11 июля—свидание Николая с Вильгельмом в Бьоркё; проект русско-германского союза против Англии. 27 июля — начало русско-японских переговоров в Портсмуте (С.Ш.).

Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	б) внешняя.
1905					
Август.	Всеобщая забастовка и военное положение в Варшаве. Забастовка и погром в Баку, более 100 убитых. Пожар Балахано-Сабунчапских промыслов.	Крестьянский союз окончательно конституируется под главенством эсеров.		6-го августа—указ о законосовещательной („Булыгинской") думе. 27-го—университетская автономия.	23 августа — Портсмутский мир.
Сентябрь.	19-го—начало большой забастовки в Москве (стачка печатников); весь месяц—митинги в стенах высших учебных заведений.		13-го—земско-городской съезд в Москве высказывается против „булыгинской" думы.		
Октябрь.	6-го—забастовка железнодорожников; Московская забастовка превращается во всероссийскую. 13-го — возникновение петербургского Совета Рабочих Депутатов. 19-го—Питерский СРД провозглашает фактическую свободу печати. 26-го и 28-го—восстание матросов в Кронштадте. 29-го—начало борьбы Питерского пролетариата за 8-мичасовой рабочий день.	Начало массового крестьянского движения; разгром 2000 усадеб, преимущественно в черноземных губерниях.	12—18—учредительный съезд кадетской партии.	8-го—Николай в первый раз призывает Витте. 17-го—подписал манифест о конституции. Витте—премьер. 18-го—начало погромов по всей России. 21-го—амнистия политическим осужденным. 24-го— восстановление финляндской автономии.	Николай отказывается ратифицировать договор в Бьоркё; Россия поворачивает к союзу с Англией против Германии.

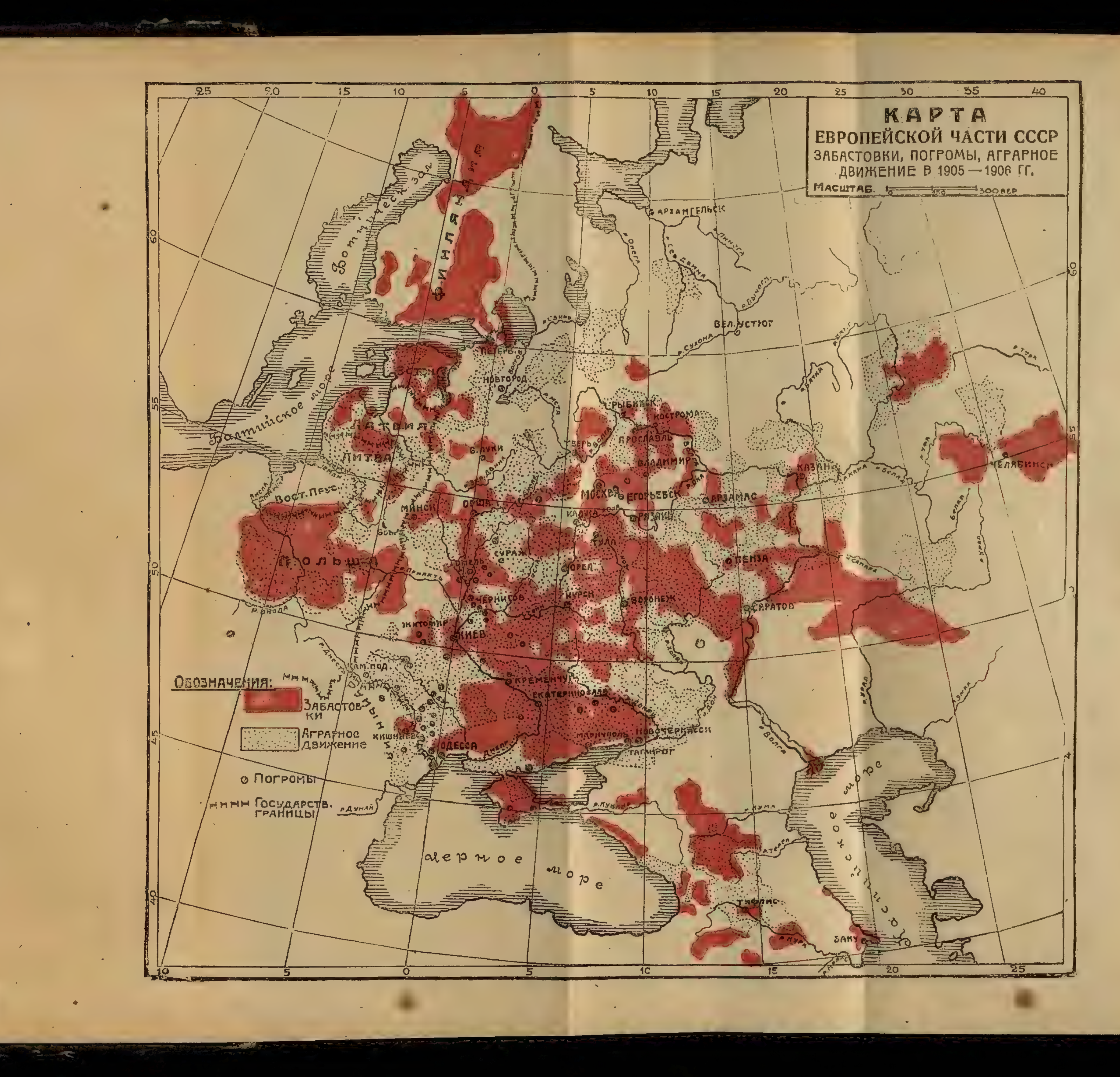
Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	б) внешняя.
1905 Ноябрь.	2-го—5-го—забастовка протеста против предполагавшегося расстрела кронштадтских матросов. 8-го — прекращена борьба за 8-мичасовой день. 14-15-го—восстание Черноморского флота (лейт. Шмидт). 15-го—всероссийская почтово-телеграфная забастовка. 22-го—образование московского Совета РД. 26-го—арест председателя Петроградского Совета, Хрусталева-Носаря.		Последний общеземский съезд; правая буржуазия выделяется в будущий „Союз 17-го Октября".	11-го—снято военное положение в Польше. Переговоры „обществ. деятелей" (будущих октябристов) о вступлении в кабинет. 26-го—отменена предварительная цензура.	
Декабрь.	2-го—восстание в Ростовском полку в Москве; манифест питерского совета об отказе от платежей и т. д... 3-го—арест Питерского Совета; забастовка (не всеобщая) в Питере; 4-го—Московский Совет решает объявить всеобщую забастовку. 5-го — Московская партийная конференция большевиков решает вооруженное выступление. 6-го—воззвание Московского Совета и рев. организаций, с.-д. и с.-р., о всеобщей забастовке с переходом в вооруженное восстание;	В декабре разгар крестьянского движения в Латвии.		Начало декабря—царскосельские совещания об изменении „булыганской" конституции. 11-го—новый избирательный закон, предоставляющий право голоса рабочим, запертым в особую курию,	

Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	б) внешняя.
1905 Декабрь.	10-го—Московские баррикады. 17-19-го—разгром Пресни и окончательное подавление восстания.				
1906 Январь.	Подготовка „объединительного" съезда РСДРП (объединенный ЦК., из 3 б-ков и 3 м-ков).	Первый съезд партии социалистов революционеров.	2-ой съезд кадетской партии; партия к.-д. окончательно усваивает монархическую программу.	Разгул карательных экспедиций в Прибалтийском крае и в Сибири („карательные поезда" Меллера-Закомельского и Ренненкампфа).	Конференция в Альжезирасе по марокканским делам (январь—апрель); Россия поддерживает притязания Франции на Марокко, чтобы устроить заем на парижской бирже.
Февраль.	Кампания за бойкот выборов в Государственную Думу.	С января все усиливающиеся вспышки крестьянского движения, преимущественно на Украине и черноземных губерниях	Первый съезд Союза 17-го октября.	„Положение" о Госуд. Думе (20-го). Николай отвергает проект Витте по аграрному вопросу и увольняет автора проекта, Кутлера.	Переговоры в Париже о займе.
Март.	Выборы в Думу; пролетариат выбирает „фабричную трубу", [illegible] и т. п. Неорганизованное участие экономически-настроенных рабочих, при закулисной поддержке меньшевиков.		Победа кадетов на выборах в Гос. Думу; в Париже кадеты ведут агитацию против русского займа.	Закон о профессиональных рабочих союзах (4-го).	Продолжение переговоров о займе: новый французский министр финансов Пуанкаре требует санкционирования займа Госуд. Думой или, по крайней мере, созыва последней.

Годы.	Рабочее движение.	Крестьянское движение.	Буржуазная оппозиция.	Политика царского правительства: а) внутренняя.	б) внешняя.
1906 Апрель.	Стокгольмский „объединительный“ съезд (IV-ый с 1898 г.); „меньшинство“ становится большинством (ЦК из 3 б-ков и 7 м-ков). Отказ от тактики бойкота Гос. Думы; решение образовать в Думе с.-д. фракцию.		3-ий съезд кадетской партии.	22-го отставка Витте; премьером становится Горемыкин. 23-го издание „Основных законов“, удостоверяющих, что несмотря на 17 октября, Россия остается самодержавной монархией. 24-го положение о помещичье-чиновничьем Государственном Совете (наморднике „Думы“); 27-го торжественное открытие I-ой Государственной Думы.	Окончание Альжезирасской конференции и переговоров о займе; Николай II получает 850 милл. золот. рублей безо всяких условий.
Май.	Оживление стачечного движения (больше стачек, чем за все предыдущие четыре месяца).	Крестьянское движение достигает в мае—июне своего максимума, далеко превзойдя движение октября-ноября 1905 г.	Образование в Думе крайнего левого крыла („трудовики“); из него постепенно выделяется с.-д. фракция, из попавших в Думу рабочих и кавказских меньшевиков (Рамишвили и др.) Адрес - челобитная Думы царю, принятый всеми прот. крайн. правых и с.-д. фракц.	Заявление от имени правительства в ответ на „адрес“ Думы, с указанием, что Дума начинает соваться не в свое дело. (13-го).	
Июнь.	Окончательно конституируется с.-д. фракция Гос. Думы (декларация 16-го).	Все учащающиеся погромы помещичьих усадеб, к которым присоединяются все новые и новые случаи волнения в войсках; Преображенский полк высказывает свою солидарность с „трудовою группой“ Гос. Думы.	Под давлением трудовиков, Дума все больше и больше времени отдает аграрному вопросу.	20-го—правительственное сообщение по земельному вопросу, удостоверяющее, что, как бы Дума ни решила, земля помещиков останутся за ними.	
			Переговоры кадетов с Треповым и Столыпиным об образовании кадетского министерства для роспуска Думы. Неудача переговоров (разрыв на вопросах о принудительном отчуждении части помещичьих земель и об амнистии).		
Июль.	Попытка всеобщей забастовки в Москве и в Питере, по случаю разгона Госуд. Думы и для поддержки свеаборгского восстания.	Волнения после разгона Государственной Думы, крестьянские (особ. на Сев. Кавказе) и военные (в Свеаборге и Кронштадте).	В ответ на „правительственное сообщение“ Дума выпускает обращение к народу, призывающее „сохранять спокойствие“; „обращение“ принято голосами одних к.-д. против всех остальных, как правых, так и левых. (6 июля). 10-го—„Выборгское воззвание“.	9-го—манифест о роспуске I-ой Государственной Думы.	

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Примечание. Прилагаемая карта составлена на основании карт, приложенных к книге Обнинского.


КАРТА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР
ЗАБАСТОВКИ, ПОГРОМЫ, АГРАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1905—1906 ГГ.
МАСШТАБ
300 вер.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Забастовки
Аграрное движение
Погромы
Государств. границы
Архангельск
Вел. Устюг
Петерб.
Новгород
Рыбинск
Кострома
Тверь
Ярославль
Владимир
Казань
Челябинск
Москва
Егорьевск
Арзамас
Минск
Орша
Рязань
Калуга
Тула
Пенза
Сураж
Орел
Курск
Чернигов
Воронеж
Саратов
Житомир
Киев
Кременчуг
Екатеринослав
Одесса
Мариуполь
Новочеркасск
Таганрог
Тифлис
Баку
Финляндия
Латвия
Литва
Вост. Прус.
Польша
Ботнический зал.
Балтийское море
Черное море
Каспийское море

